

# Октябрь

2 1999

1999

Октябрь



# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1999

ФЕВРАЛЬ

## В Н О М Е Р Е

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владислав ОТРОШЕНКО. <b>Приложение к фотоальбому.</b> Роман .....	3
Анатолий НАЙМАН. <b>Полет пчелы.</b> Стихи .....	45
Родион НАХАПЕТОВ. <b>Влюбленный</b> .....	51
Виктор ГОЛЯВКИН. <b>Три рассказа.</b> Предисловие Анатолия Наймана .....	109

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Андрей ПЛАТОНОВ. «Жить ласково здесь невозможно...» Публикация М. А. Платоновой. Вступительная статья Н. Корни- енко. Подготовка текста Е. Антоновой, М. Гах, О. Капельницкой, Н. Корниенко, Н. Малыгиной, Л. Суматохиной, Е. Шубиной, Е. Яблокова .....	119
---	-----

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир КАНТОР.

**Умирал ли дракон? От советского к постсоветскому  
насилию** ..... 154

**Год как век**

Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ ..... 166

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**«Это светлое имя — Пушкин»**

Эдуард ШУЛЬМАН.

**Весёлое имя** ..... 170

Кирилл КОБРИН.

**Волокита и завистник** ..... 184

**Мелочи жизни**

Павел БАСИНСКИЙ.

**Проплаченная культура** ..... 188

**В несколько строк**

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ ..... 191

**Главный редактор**

Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

**Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА

*отв. секретарь*

Алексей АНДРЕЕВ

*зав. отделом прозы*

Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

*зав. отделом критики*

Инна БРЯНСКАЯ

*публицистика*

Виталий ПУХАНОВ

*проза*

**Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов,  
Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин,  
Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман,  
Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine](http://www.infoart.ru/magazine)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

*Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России  
и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.*

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 29.12.98. Подписано к печати 25.01.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 9550 экз. Заказ № 3407. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Владислав ОТРОШЕНКО

---

# Приложение к фотоальбому

РОМАН

Посвящаю дорогим и неизгладимым лицам,  
которые не дают мне покоя и здесь

*Повествователь*

## Часть I

### АФРИКА

**К**огда у дядюшки Семена сгорели его бакенбарды, он объявил в доме траур, велел повесить черным сатином все зеркала и сам надел черный, с атласным воротничком костюм, провонявший нафталином до такой степени, что все комары и мухи, какие были в доме, тут же повывлетали вон.

К вечеру он разослал всем братьям телеграммы с одинаковым текстом:

**«НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙ, СЫНОК. АДСКИЙ ОГОНЬ ПОЖРАЛ МОИ БАКЕНБАРДЫ. СЕМЕН МАЛАХОВИЧ».**

Он был не самым старшим среди дядюшек, и бакенбарды у него были не самыми большими — у старшего дядюшки, у Порфирия Малаховича, бакенбарды были до плеч, и сам он был такой огромный, что в иные двери пролазил с трудом, но дядюшка Семен почему-то взял себе такую манеру называть *сынками* всех дядюшек: может быть, потому, что он жил и хозяйничал в доме, где они родились, а может быть, потому, что Аннушка, выродившая на свет всех дядюшек, любила его больше всех.

Дядюшка Семен утверждал, что она родила его втайне от Малаха и что отцом его был вовсе не этот безмозглый и одряхлевший идол, не способный произвести на свет ничего, кроме такого чудовища, как дядюшка Порфирий, или такого убожества, как дядюшка Иося, которого Аннушка то ли по забывчивости, то ли из сочувствия к его болезненной худосочности упорно называла своим «младшеньким», вкладывая в это невинное словечко крупницу снисходительной нежности. Дядюшку Семена это словечко раздражало до крайности. Стоило Аннушке произнести его, вспомнив о бедном дядюшке Иосе, как с дядюшкой Семеном делалось нечто вроде припадка. Он вдруг останавливался посреди комнаты и замирал в какой-нибудь страдальческой позе, точно ему на шею опустили бревно. Некоторое время он стоял, не двигаясь с места, и яростно вращал своими светло-голубыми, цвета январских сосулек, глазами, пока наконец возмущение, перехватившее ему горло, не обрело язык, отливаясь в немислимые выражения.

— О чудовищная старуха! — восклицал дядюшка Семен, вскидывая голову и потрясая в воздухе растопыренными пальцами. — О сладкозвучная стерва! — продолжал он после короткой паузы, подыскивая более эффектную интонацию для своей грандиозной тирады, готовой уже вырваться из его груди без всяких заминок и препятствий, расставленных на ее пути недремлющим актерским инстинктом. — О, сколько же раз я должен тебе повторять, безумная женщина,

кто, когда и в какой последовательности выскочил на горе Вселенной из твоего необузданного чрева!

О каком *горе* толковал дядюшка Семен, понять было невозможно. В том, что именно его из всех дядюшек в мире с нетерпением ожидала Вселенная, когда он, точно узник в темнице, томился во чреве Аннушки, водворенный туда не по прихоти случая, как все остальные дядюшки, а по воле самого Провидения, и что Вселенная возликовала, когда наконец в положенный срок перед дядюшкой Семеном распахнулись тайные врата плоти, и что мириады звезд воссияли радостным светом в бесконечном просторе космоса, когда дядюшка Семен огласил первым криком жилище Малаха,— в этом уже никто не сомневался. Но какое дело было Вселенной до остальных дядюшек и чем они огорчили ее, дядюшка Семен не объяснял.

Рождение дядюшки Семена было отмечено многими чудесами и знаменами. В тот год, когда он появился на свет, в огромном доме Малаха с северной стороны вдруг обрушилась посреди ночи стена и за ней обнаружилась дотоле неизвестная комната. Это был просторный шестиугольный зал, сверкающий начищенным паркетом и свежестеленными стенами; на потолок красовалась совершенно новенькая, не тронутая пылью люстра из позолоченной бронзы и цветного стекла, похожая на перевернутую корону. Впоследствии именно под этой люстрой дядюшка Семен и произносил все свои монологи и гневные речи, обращаясь при этом к тринадцати пухленьким ангелочкам, которых вылепил на потолке этой комнаты сам Малах: кудрявые младенцы с короткими крылышками изображали радостный хоровод вокруг люстры; они дружно держались за руки и летели в веселом порыве, образуя тот неразрывный круг, который, как пояснял своим бесчисленным зятям и невесткам мудрый дядюшка Серафим, лучше других понимавший тайный смысл изречений и поступков родителя, являлся «символом единства» всех тринадцати дядюшек.

Ангелочки были самыми преданными и самыми терпеливыми слушателями дядюшки Семена. Иногда он называл их вонючими чертями и кричал, что побьет молотком всю эту блядскую свору, если она не перестанет улыбаться идиотской улыбкой Малаха, которую он нарочно изобразил на их лицах, чтоб эти мерзавцы всегда могли потешаться над речами дядюшки Семена. Но бывали минуты, когда дядюшка Семен проникался нежностью к ангелочкам. Указывая на них, он говорил, что скоро наступит великий день — День Всеобщего Пробуждения. И тогда, говорил дядюшка Семен, глядя на ангелочков глазами, полными ласковых, сладостных слез, и тогда эти милые крошки, эти радостные малютки, эти чистейшие чада эфира оживут, встрепенутся и, расправив свои белоснежные крылья, сверкая ясными лицами, разлетятся по миру, чтоб возвестить ему обо всем, что они слышали от дядюшки Семена в этом мерзком углу, где никто и никогда не понимал его пламенных чувств, его благородных стремлений, его мыслей и речей о величии Братской Любви и ничтожестве дядюшек, которые только для того и явились на свет, чтоб жиреть на своих пасаках, как дядюшка Порфирий, или чахнуть на какой-то вонючей бензоколонке, как дядюшка Иоса. Нет, кричал дядюшка Семен, потрясенный собственным красноречием, никогда не возвысятся до Любви эти ходячие свидетельства отвратительной старческой похоти полуживого безумца, дерзнувшего поместить свое подлое семя туда, где было уготовлено место для одного только дядюшки Семена...

Под люстрой же дядюшка Семен изрек и то ужасное пророчество, которое стоило ему перелома ключицы и тазовой кости. Он не погиб по счастливой случайности, ибо в тот злополучный день ему почему-то вздумалось возвратиться домой из театра в картонных доспехах какого-то древнего витязя. Он расхаживал в них по дому весь вечер, не снимая накладной бороды и приклеенных на лоб больших кучерявых бровей, которые грозно торчали из-под деревянного шлема, густо выкрашенного серебрянкой. Этот шлем и спас дядюшку Семена, когда люстра обрушилась ему на голову тотчас же после того, как он объявил бедной Аннушке, перепуганной до смерти его видом, чтоб она немедленно оставила все дела и готовила доски для Малахова гроба.

— Ибо час кончины бесполезного истукана,— успел сказать еще дядюшка Семен,— час кончины его недалек!..

Бессмертного к тому времени и вправду уже одолевала немощь. Он до такой степени весь высох и уменьшился в размерах, что нужно было еще потрудиться, прежде чем отыскать его в маленьком темном чуланчике, где он беспрестанно спал, заваленный ветошью и всяческой рухлядью. В этом чуланчике Малах поселился сразу же после того, как сотворил последнего дядюшку. То был дядюшка Измаил, на редкость живой и подвижный дядюшка. Он был кругленький, плотный, румяный и коротенький, как матрешка. Коротеньким у него было все — и шея, и руки, и ноги, даже пальцы на пухлых ладошках, припорошенные седыми волосиками. Дядюшка Измаил, как и все в мире дядюшки, родился на свет с бакенбардами. Но этому факту в доме Малаха уже никто не придавал особого значения. И только дядюшка Порфирий, который все чаще и чаще стал поговаривать о своем одиночестве, о недугах и близкой старости, а за несколько дней до рождения Измаила обзавелся даже клюкой,— был возбужден чрезвычайно. Едва только дядюшку Измаила, барахтавшегося миллиарды веков в глухой, непроглядной бездне, вынесло животворной волною в светлые комнаты Малахова дома, как дядюшка Порфирий, весь год поджидавший его с нетерпением, подхватил его на руки и, внимательно осмотрев пришельца, завопил на весь дом:

— Да здравствует племя бакенбардорощенных!!!

Бакенбарды Порфирия, густо осыпанные серебряными искорками, уже кое-где сквозившие, но еще сохранившие форму столбов и живую упругость ветвистых колечек, выглядели в тот день особенно величаво. Говорили, что дядюшка Измаил, завидев бакенбарды старшего брата, из которых на радость младенцу — кувыркнувшись для пущей его забавы — вдруг вылетела пчела, ухватился за них, улыбнулся, и это до того растрогало старшего дядюшку, что он еще долго не мог успокоиться. Целый день он ходил вокруг Измаила — то пытался кормить его сотовым медом, то смотрел на него умиленно, а то вдруг склонялся над люлькой и, округляя мясистые щеки, сильно краснея от радостного усердия, дул что есть мочи в губную гармошку, издававшую сочные звуки и ярко блестящую у него под усами... Месяцев пять спустя он, по рассказам дядюшек, примчавшись без шапки, на быстрой двуколке, хмельной ни свет ни заря, увез Измаила в свою станицу — якобы прокатиться — и больше не возвращал его Аннушке. Воспитывал его там по собственному разумению. Многие в доме потом утверждали, что именно дядюшка Порфирий, приучивший младенца сначала к меду, а затем, потихоньку, и к медовухе, виноват был в том, что у младшего дядюшки, несмотря на всю его жизнерадостность и даже некоторую любознательность, так и не обнаружилось ни малейших признаков зрелого ума. До самой глубокой старости (впрочем, дядюшка Измаил никогда не выглядел старым) он жил на приусадебной пасеке дядюшки Порфирия и, ни о чем не ведая, всегда преисполненный бодрости, воевал там целыми днями с пауками, мухами, бабочками и еще с какими-то невообразимыми насекомыми, умевшими будто бы *замораживать мед*.

Утверждали также, что дядюшку Порфирия вполне устраивало слабоумие младшего брата, которого он-де, купив ему ружьишко и фетровую шляпу с пером, приспособил охранять свое обширное хозяйство. Но это уже были злые выдумки, ибо дядюшка Порфирий, хотя и ценил достаток, был не таким уж скрягой, чтоб препятствовать маленьким кражам миролюбивых соседей или степенных своих кумовьев, заходивших справиться о здоровье и уносивших тихонько кто петушка, кто тыпчоку. Что же касается снох и своячениц, наезжавших гостить к нему целыми полчищами и воровавших с большим размахом, то их не могли устрашить ни ружьишко (вероятно, ими же и придуманное), ни безумие Измаила, ни — тем более — шляпа с пером. Не боялись они и самого дядюшку Порфирия. К концу его долгой жизни, проведенной в трудах и заботах и исполненной сельского благочестия, они старательно его обобрали, оставив ему лишь

дюжину ульев да оттоманку с растрепанным валиком, сиротливо стоявшую в доме среди оголенных стен, которые долго еще тосковали, сверкая белыми пятнами, одна о могучем затылке буфета, другая о красочном коврике.

Примечательно было то, что дядюшка Порфирия, привыкшего жить в окружении прочных вещей и видеть изменчивость жизни сквозь дымку надежного изобилия, утрата былого уюта и явное оскудение хозяйства нисколько не огорчили. Напротив, он встретил свое разорение с какой-то гусарской бравадой, с каким-то восторженным изумлением. Попивая из кружечки медовуху, он выходил во двор в засаленном черном бешмете, в котором когда-то служил на Кавказе, и, весело озираясь вокруг, ударяя клюкою в землю, восклицал:

— Что, Измаил, растащили нас! А! Растащили!

И дядюшка Измаил, хотя и не понимал, о чем толкует Порфирий, радостно улыбался брату. Подмигивал ему в ответ. И тоже немножко гусарил: вдруг хлопал себя по ляжкам и, ухнув, пускался впрысядку — летел, подбоченясь, до самой калитки и дальше, на улицу, на простор...

Позднее, когда дядюшка Порфирий скончался — не так, как ему мечталось, не на пуховых подушках, а в пыли, на чердаке, куда он забрался чинить дымоход («Такой вот был хлопотун, — говорила Аннушка, — не мог сидеть без дела»), — появилось иное мнение относительно дядюшки Измаила и тех обстоятельств, которые, как уклончиво выражались в доме, послужили причиной его *удрученности*. Его живая натура, рассуждали дядюшки, его необычайная впечатлительность и беспокойный характер требовали к себе особого внимания со стороны родителя, чье мудрое сердце, сохранись в нем хоть искра родительской нежности, могло бы стать драгоценным источником животворящего света для темной души Измаила. Нежности, говорили дядюшки, как раз и не хватило Малаху. Она иссякла в нем еще до рождения Измаила, который был, по их мнению, не таким уж законченным *идиотом*, как иногда утверждали некоторые из дядюшек, точнее, всегда и один только дядюшка — дядюшка Семен, произносивший с большим удовольствием это скандальное слово. Дремлющий ум Измаила, погруженный в хаос ошибочных образов, мог бы вполне пробудиться, убеждали друг друга дядюшки, мог бы развиваться со временем, и даже, быть может, блестяще, если б Малах не оставил младенца, если бы он не исчез бесследно, как потом оказалось, на долгие годы, поселившись в далеком чуланчике. Или — в сердцах говорили иные из дядюшек — если бы он соизволил хотя бы предстать перед бедным малюткой в час, когда тот появился на свет!..

Но тогда его не было даже поблизости, и, где находился бессмертный, в доме никто не знал. В тот день, когда он в последний раз закинул свои древние снасти в пучину небытия, чтоб выудить оттуда дядюшку Измаила, он был, по свидетельству Аннушки, «печален, как старая обезьяна». Съежившись всем своим маленьким светло-коричневым телом, от которого пахло холодным воском, бессмертный долго сидел в ее спальне на кожаном диване с высокой выпуклой спинкой и, положив на узкую грудь длинный и, точно булыжник, твердый, свисающий чуть ли не до пупка подбородок, смотрел на портреты дядюшек, развешанные по стене в три ряда. Пожелтевшие белки его маленьких неподвижных глаз тускло светили янтарными огоньками из глубоких глазниц, обрамленных кольцами рыжеватых волос; эти кольца беспрестанно дрожали, то сужались, то расширялись, — бессмертный, казалось, вот-вот заплачет. Но, когда он оделся и вышел из спальни, на лице его вдруг появилась улыбка, сначала едва заметная, а потом все более явная. Он улыбался так (поглядывая в сторону), словно кто-то его щекотал за ухом, какой-нибудь озорник пушистым колоском весеннего злака. С этой улыбкою на лице он поплелся куда-то — очевидно, в южные комнаты, где любил бродить в одиночестве, — и там затерялся.

Аннушка тогда выразила слабую надежду, что бессмертный, быть может, заблудится окончательно в своем доме и уже никогда не отыщет дорогу к ней в спальню: рожать и вскармливать дядюшек ей надоело до боли в печенках. Она сказала это в присутствии дядюшки Семена, о чем потом сожалела, потому что



Семушка, только что возвратившийся домой с репетиции и еще находившийся во власти грозной и пылкой риторики какого-то желчного полководца, ужасно разволновался.

— Да-да,— поспешил он заверить ее,— ныне вздохнет с облегчением несчастная женщина! Ибо кончилось время Малаха производить народы из чресел своих!

К этому он добавил еще какие-то темные, непонятные Аннушке заклинания. Долго и вдохновенно говорил о каком-то бессовестном боге, пожирающем своих младенцев; о безумном драконе, обреченном вечно заглатывать свой собственный хвост; об ужасном чудовище, терзающем окровавленную пастью беззащитное женское лоно. И закончил свою тираду страшной пляской под люстрой и дикими криками:

— Уроборос, уроборос! Сгинь! Сгинь!

Малаха не видели в доме лет сорок. Никто о нем даже не вспоминал. И только дядюшка Семен иногда брезгливо втягивал воздух своим, как он сам выражался, «по-актерски чувствительным носом» и заявлял, что в доме ужасно смердит.

— О боги,— говорил он, размахивая платком,— Малах забился в какой-нибудь угол и издох, как хорек!

Разумеется, Аннушке было невыносимо слушать подобные речи. Стараясь не употреблять тех безжалостных слов, которые впрямую обозначают некоторые явления и предметы, отвратительные для всякой живой души, она настойчиво уверяла Семушку, что в доме «никаких таких запахов» нет. Но дядюшка Семен не унимался. Он запугивал Аннушку санитарями. Мамы святые! Он угрожал ей, что вызовет их нынче же, если она не прикажет дядюшкам, чтоб они собрались все разом и отыскивали вонючие останки своего родителя. Кто такие санитары, Аннушка точно не знала, но все же чувствовала душою, что их появление в доме — это «неслыханное позорище», допустить которого она не могла. Как бы там ни было, говорила она, подразумевая под этим «как бы там ни было» то прискорбное состояние человеческого тела, которому дядюшка Семен дал столь резкое и неблагоприятное определение, она не позволит ему выставлять на посмешище порядочный дом,— санитары ей представлялись то ли кладбищенскими чиновниками с немислимыми обязанностями и наклонностями, то ли — понять ее было трудно — особого рода могильщиками, из числа опустившихся докторов, бойкими и разнузданными да к тому же еще преисполненными чудовищной артистичности; словом, ей представлялось приблизительно вот что: что дядюшка Семен наведет домой каких-нибудь гадких шутов с погоста, и они будут корчить безобразные рожи, будут нахально рыскать по дому, делая вид, что ищут покойника или еще какую-нибудь пакость. Нет, повторяла Аннушка, этого она никогда не позволит. И если дядюшке Семену *что-то такое* чудится, обиженно говорила она, то это вовсе не потому, что *оно* есть на самом деле, а только потому, что дядюшка Семен всегда непочтительно относился к Малаху, а Малах, он какой-никакой, а все ж таки родитель всех дядюшек, и дядюшки Семена в том числе... Ей-ей, апостолы милосердные! Она так и сказала ему: «Малах твой родитель, Семушка»,— и это было великим чудом, что язык ее тотчас же не отсох и что молния не ударила в дом Малаха и не убила на месте несчастную женщину. Во всяком случае, сам дядюшка Семен в ожидании чего-то ужасного с минуту стоял согнувшись, с зажмуренными глазами и только потом уже начал хватать себя то за грудь, то за голову, совершая в обычном порядке те особые телодвижения, которые всегда предшествовали его монологам под люстрой.

Впрочем, то был один из тех редких случаев, когда дядюшка Семен раздражался речью не под люстрой, а в спальне Аннушки, где находились, так сказать, наглядные пособия — фотопортреты дядюшек...

— Во-от!..— хрипел он, задыхаясь и содрогаясь точно в горячке.— Вот эти... никчемные боровы!.. Вот истинные произведения Малаха!

Тут рука его, протянутая к портретам и нервно метавшаяся в воздухе, неожиданно застывала; другую руку он прятал за спину и, сделав три шага вперед (можно было подумать, что дядюшке вздумалось вдруг репетировать роль какого-то дерзкого дуэлянта), говорил с торжествующим, мстительным пылом:

— Боже! Все на одно лицо!

И он был, конечно же, прав. Физиономии дядюшек, смотревшие с портретов, при всем их несомненном различии, выражавшемся главным образом в длине и густоте бакенбардов, в наличии или отсутствии усов, — дядюшка Нестер, к примеру, усов никогда не носил, довольствуясь крепкой кольчужкой «сенаторских» бакенбардов, тогда как у дядюшки Павла, четвертого сына Аннушки, усы просто буйствовали на лице, «как у короля Виктора-Эммануила», говаривал он не без гордости, подсмеиваясь при этом над дядюшкой Серафимом, чьи тонкие, тоньше, чем хвост стрекозы, изящные усики-шевалье казались дядюшке Павлу едва ли не самой комической вещью на свете, — являли собою картину дружного однообразия. Все они были одинаково широки, с одинаково увесистыми подбородками и одинаково сросшимися бровями. Даже маленькая круглая рышка дядюшки Измаила, позже всех появившаяся на стене, вполне бы могла сойти за уменьшенную копию здоровенной физиономии старшего дядюшки, по которой, уже не таясь, по-хозяйски разгуливали муравьи, заглядывая в пыльные трещины снимка.

Что же касается дядюшки Иоси, то его портрет, висевший во втором ряду, между портретами дядюшки Никиты и дядюшки Мокея (на обоих были мундиры вахмистров, и оба весело улыбались чему-то), являлся предметом отдельного и более детального разговора. Дело в том, что дядюшка Иося по какой-то досадной случайности был совсем не похож на борова, и поэтому, прежде чем и его, смотревшего то ли с признательным любопытством, то ли, напротив, с большим отвращением на какой-то фигурный вазончик, поставленный перед ним расторопным фотографом, отнести к разряду «истинных произведений Малаха», нужно было еще разъяснить бедной Аннушке, что дядюшка Иося, к которому она относилась с излишней нежностью, вовсе не исключение из правила, а всего лишь особая разновидность убожества.

Именно с этой целью дядюшка Семен снимал его портрет со стены и выбежал с ним в шестиугольный зал, где ему, вероятно, было сподручнее разъяснять «вопрос о дядюшке Иосе», так как в этом огромном зале, шумно вздыхающем, ахающем и как бы слегка трепещущем (столь эффектна была его акустика), голос дядюшки Семена звучал гораздо торжественнее и убедительнее, чем в других, даже самых гулко-пустынных и необозримых комнатах, вроде тех, о которых рассказывал с ужасом дядюшка Павел, побывавший однажды на юге Малахова дома и видевший там такие трагические просторы, охваченные безжизненностью, и такую свирепую паутину, в которой висели ящерицы и будто бы даже стулья, что вернулся оттуда неунывающий весельчак с седым бакенбардом...

В шестиугольном зале дядюшка Семен говорил подолгу, не прерываясь ни на мгновение. Стены, таившие звучное дробное эхо, и зеркала в широких простенках, куда он поглядывал время от времени, отмечая сценические достоинства примененного жеста или выбранной позы, воодушевляли его, придавали уверенности. Дядюшке Семену казалось, что и на Аннушку шестиугольный зал действует благотворно, что здесь она слушает его осмысленно — не так беззаботно, не так рассеянно. Ему представлялось даже, что только в этом живом, и чудесном, и чудодейственном, зале озаряется светом Истины ее маленький праздный умишко, затуманенный ложными чувствами к дядюшке Иосе. Но это было уже заблуждение, и притом «капитальное», как заметил бы дядюшка Серафим, если б ему вдруг представился случай порассуждать о причинах и следствиях всех заблуждений на свете; он рассуждал бы неторопливо, задумчиво дергал бы тоненький усик во время длительных пауз (жест, доводивший дядюшку Павла до бурных припадков веселья) и наконец указал бы на то, что чрезмерная взволнованность... гм... гм... лишает проницательности всякого человека, в том числе и дядюшку Семена, которо-

му чрезмерная взволнованность мешала заметить, что Аннушке было совершенно безразлично, где слушать его разъяснения. Ни в спальне, ни в шестиугольном зале, куда она покорно перемещалась вслед за оратором, она их понять не могла. Ибо она вообще с трудом понимала тот замысловатый язык, на котором Семушка выражал свои чувства и мысли в минуты «скандально-го настроения».

Позабыв даже думать и о Малахе, и о страшной картине нашествия санитаров, живо нарисованной ее невежественным воображением, Аннушка смиренно сидела в углу на стуле и, погружаясь в сладкую дрему, старалась уловить угасающим слухом, который из дядюшек чаще других упоминается в монологе дядюшки Семена. И если в сплошном потоке каких-то невообразимых и неисполнимых угроз, чудовищных клятв, пророчеств и заклинаний, извергавшихся из груди дядюшки Семена вперемежку со стонами, вздохами и завыванием, ей наконец удавалось заметить яркую щепку (то есть имя дядюшки Иоси), то и дело всплывавшую на поверхность этой темной неукротимой стремнины, она открывала глаза и говорила как можно ласковей:

— Семушка, зачем ты ругаешь Иосю? Он жалкийкий..

— Жж-жалкийкий?! — вскрикивал дядюшка Семен. И, размахивая портретом, притопывая и подсакивая, кружился под люстрой, точно его ужалил тарантул.— Жалкийкий! — повторял он неистовым шепотом и, наклонившись вперед, медленно приближался к Аннушке, свирепо двигая скулами, на которых качались, отливая огненной синевой, его дивные бакенбарды, похожие на тугие, плотные гроздьи черного винограда.— Я вашего подлого Иосю съем!! — шипел он сквозь зубы и затихал, выжидая, что скажет на это Аннушка.

Аннушка, ерзая на высоком стуле и оживленно болтая в воздухе маленькими ножками, высохшими от беспрестанной беготни по дому, молча смотрела на дядюшку Семена, надеясь, что представление идет к концу. Но тут, бывало, дядюшке Семену нечаянно вспоминался какой-нибудь пылкий эпитет из песни, прочитанной им накануне, или вдруг приходило на ум какое-нибудь величественное сравнение, обещавшее стать началом нового монолога — *О бесчисленных подлостях дядюшки Иоси*,— и он снова возвращался под люстру.

— Слууушайте, ааангелы!..— затягивал он нараспев.— Нет, вы только послушайте! — настаивал он, будто ангелы слушать не соглашались.— Иосиф Малахович, пятый сын этой женщины, жаалкийкий!.. Да он же Иуда! Иуда!! Он продал все, что было святого в этом несчастном доме!

Что мог продать бедный дядюшка Иося, маленький, худенький, лупоглазый, похожий на удивленного индюшонка? Ничего, кроме горячего на своей крайности неопрятной и опасно доступной для зевак с зажженными папиросками бензоколонке «Криница Гефеста», которая торчала, наполняя воздух удушливыми испарениями у центральных ворот Экипажного рынка, он во всю свою жизнь не продавал. Но взгляд дядюшки Семена на вещи был не такой уж поверхностный, чтоб видеть в дядюшке Иосе безобидного продавца бензина. Нет, продал дядюшка Иося ни много ни мало, а самого дядюшку Семена. И если у Аннушки отшибло память до того, что она позабыла даже, кто был отцом дядюшки Семена, то, разумеется, вовсе не удивительно, что не помнит она и другого — не помнит, что именно дядюшка Иося выдал Малаху *священную тайну рождения дядюшки Семена*.

— Да-да! Ваш замечательный! Ваш кроткий! И ваш наиподлейший Иося!

Дядюшка Семен, конечно же, не допускал и мысли о том, что *тайну* мог выдать любой из дядюшек, а главное, что выдать ее мог и сам дядюшка Семен, поскольку он, невзирая ни на какие замечания Аннушки, на ее робкие возражения, а иногда и отчаянные протесты, утверждал при всяком удобном случае, и особенно в присутствии бессмертного — до того, как он удалился в чуланчик, и позднее, когда он там отыскался случайно среди батальных полотен, помятых тазов и сгнивших диванов, наваленных в кучу, — что будто бы отцом его был какой-то заезжий грек — бесподобный артист, баснословный богач, владелец трех

цирков где-то в Китае, да к тому же еще чародей и провидец. Ну и, конечно, красавец, каких свет не видывал, каким был и сам дядюшка Семен, тайный сын гениального грека.

Малах был на первой мировой войне, когда греку и Аннушке вздумалось сотворить дядюшку Семена. Аннушка, правда, не сразу решилась на это. Долгое время она бесплодно томилась, сгорая душою и телом в «буйном пламени страсти», и даже чуть было не лишилась рассудка от безграничной нежности к греку, с которым встречалась украдкой то под сенью столетних каштанов в Большом Атаманском саду, где стоял на ветру, весь в драконах и звездах, его цирк-шапито, то где-то в заброшенном скверике близ Войсковой канцелярии, где им до зари светило окошко дежурного сотника. «Да будет оно вовек благословенно!» — говаривал дядюшка Семен. «И да пребудут в раю все сотники, дежурившие в канцелярии!» — добавлял ехидно дядюшка Павел, который, впрочем, однажды клялся Пресвятой Богородицей, что именно он в те весенние ночи дежурил по канцелярии и что будто он помнит отлично и пылкого грека под липами (он видел его в окошко), и Аннушку в пестренькой шальке, приходившую в полночь к нему на свидания... Разумеется, Аннушке очень хотелось оставить на память о своей безумной любви что-нибудь «живое и трепетное», что-нибудь вроде дядюшки Семена, но она опасалась, что Малах не простит ей такую слабость и, вернувшись с войны, непременно разрубит ее пополам своей дьявольски острой шашкой, пожалованной ему за воинскую доблесть последним императором России.

Однако ж в какой-то счастливый для дядюшки Семена день случилось так, что в дом Малаха нежданно-негаданно, точно ангел с небес, явился некий израненный воин. Он был об одной ноге, весь в окровавленных бинтах, в мундире есаула лейб-гвардии Казачьего полка. Расхаживая по комнатам на костылях и беспреестанно сплевывая на паркет желтую от табачного дыма слюну, он поведал Аннушке сердитым и хриплым голосом историю ужасной гибели Малаха. О! это была чудовищная история. Они ведь были с Малахом друзьями, и это трудно, трудно рассказывать. Но израненный воин расскажет. Была атака! Кругом стреляли! И всех рубили! И все взрывалось к чертовой матери! Они бежали с Малахом бок о бок на вражеские окопы. Они кричали — ура! И Малах бежал молодцом: он кричал громче всех и размахивал саблей, как яростный бес, и очень метко во всех стрелял... А потом Малах приотстал маленько и бежал чуть-чуть позади, а израненный воин бежал впереди. И когда израненный воин обернулся, чтоб посмотреть на Малаха, то увидел, что его задушевный приятель бежит без головы, потому что голову ему давно уже отрубили. Но Малах все бежал и бежал молодцом. И геройски добежал до самых окопов. После боя израненный воин с трудом отыскал его голову: она лежала себе тихонько где-то в бурьяне, и рот у нее был широко открыт, потому что Малах ведь все время кричал — ура-а-а-а! Ну а кто отрубил ему голову — о! разве там разберешь! Кругом стреляют и рубят головы, к черту собачьему!

Аннушка не поверила воину. Она сказала ему что-то горькое и обидное; она сказала, что Малах никогда не бегал, а всегда воевал на коне. Но израненный воин не промолвил в ответ ни единого слова. Он молча выслушал все возражения Аннушки, а потом развязал заплечный мешок, вытащил оттуда голову Малаха, бережно положил ее на стол и ушел, постукивая костылями.

В тот же день примчался к Аннушке грек. Он был неотразим, ее очаровательный палач, ее возлюбленный маг. В этот день он предстал перед нею в своем полном великолепии. Дядюшка Семен говорил, что его незабвенный родитель подъехал к дому Малаха на ста двадцати цирковых лошадях, запряженных цугом в золоченую колесницу. Ой-ей, демоны ада, как же это было красиво! Он взбежал по высоким ступенькам к парадным дверям, распахнул обе створки и вошел — в белом фраке и синей чалме, украшенной алмазным пером; из ушей его изливались голубые струйки огня; сотни дивных жемчужин, точно крохотные планеты, вращались в его усах: они озаряли весь его лик едва уловимым си-

янием, нежно искрились, расточая свой перламутровый блеск, и при малейшем движении мага ярко вспыхивали разноцветными огоньками, мгновенно выстраиваясь в диковинные созвездия. Аннушка просто остолбенела от изумления, завидев своего красавца. Она хотела было рассказать ему обо всем, что приключилось с Малахом, но не успела промолвить двух слов, как он замахал руками и знаками ей показал, что ему уже все известно. В доказательство этого он взял свою голову, приподнял ее так, что она совсем отделилась от тела, тихонько встряхнул ее — представляете? — он встряхнул ее, как шкатулку, и она вдруг разинула рот и голосом самого Малаха протяжно закричала:

— Ура-а-а-а!..

А потом он приблизился к Аннушке, наклонился к ней и негромко сказал:

— Есаул совершенно прав, драгоценная Аннушка... Твой Малах не вернется с войны.

Он произнес эти горестные слова с таким любовным волнением и с такой изысканной нежностью, что Аннушка тут же и обомлела. Грек подхватил ее на руки, отнес ее в спальню. И они щебетали до полночи, точно небесные птички; они осыпали друг друга то страстными клятвами, то тихими поцелуями. А в полночь, когда звезды хрустально сверкали над городом, они наконец-то слились в объятиях и в полном согласии изумленных сердец зачали лучшего в мире дядюшку!

Каково же было удивление Аннушки, когда через восемь месяцев к ней явился другой есаул. Этот был при параде, с руками, с ногами, в белоснежных перчатках и в шапке с султаном. Он разговаривал с Аннушкой коротко и тоже сердито, как и тот есаул, что был до него. Недовольно поглядывая в окно, он сказал ей, что Малах ее жив и что он со дня на день вернется с войны... А что до той головы, которую принес ей израненный воин, так это скорее всего не Малахова голова, заключил есаул, а чья-то другая... или другого? или как тут еще сказать? Провались они пропадом, эти головы!.. Их там до черта. Ну просто до черта! Валяются страшными кучами по полям и окопам. И бес их там разберет — которая чья! Всяких, всяких голов хватает. Есть похожие на его, есаулову, голову, и на Малахову голову тоже, и даже на голову самого царя! Потому что война!! Война!!! — заорал есаул в сердцах.

И с этим ушел.

Грек не стал дожидаться возвращения Малаха. Он свернул свои балаганы, погрузил на телеги цирк-шапито, усадил в шарабаны китайских танцоров и спешно уехал в Африку.

В ночь перед самым отъездом он зашел попрощаться с Аннушкой. Сцена была печальная и в то же время исполненная глубокого смысла. Он, согнувшись, сидел у изголовья ее постели в дорожном плаще, с саквояжиком на коленях и, вытирая платком с ее щек горячие струйки слез, что-то отчаянно ей шептал по-гречески. Это были слова пророчества. И если бы Аннушка понимала по-гречески, то дядюшке Семену не пришлось бы теперь ей втолковывать, что сказал той памятной ночью грек. А сказал он ей вот что. Он сказал, что Малах с неделю назад сбежал из австрийского плена; что он собрал по лесам каких-то разбойников, дезертиров, калек и блудниц, побрил их всех наголо, посадил на коней и с этой ублюдочной армией, выдавая себя за бутанского короля, пробивается к дому через Юго-Западный фронт. Дней через десять, сказал грек, Малах достигнет Области войска Донского и лагерем станет в степи у западных стен своего дома. Ему останется совершить еще один переход — до парадных дверей. Но поутру, как только вся его свора погасит костры и усядется на коней, мрак падет на сарматские степи и начнется пурга на Дону. Да такая пурга, что аж не дай Бог! Гранитные Бабы будут срываться с курганов и, как щепки, летать по небу, куврякаясь в сверкающих вихрях. И Малах, он тоже поднимется в небо, и не только что в небо — а в звездную бездну улетит твой Малах, драгоценная Аннушка! И будет он долго носиться, свирепо махая шашкой, в безмолвных просторах

Вселенной. Будет вопить, ужасая весь космос, и таращить глаза в пустоту, пока они не станут стеклянными от холода и тоски! А потом, сказал грек, сатинские ветры закинут Малаха куда-нибудь далеко — куда-нибудь на восток, за Хвалыньское море, и дальше, за Каракумы, и аж на Гималайские горы! И пока он дойдет оттуда, осыпая проклятиями землю под своими подошвами, пока доберется, голодный, искусанный псами и змеями, до стен своего жилища, Аннушка здесь, в этой спальне, родит без мук и без боли сына их полуночной любви... Как и все ее сыновья, он родится на свет с бакенбардами. Только это будут особые бакенбарды (о том, что они загорятся нечаянно, когда дядюшка Семен вдруг возьмется от скуки чинить старый примус, грек не сказал ни слова) — бакенбарды царственной красоты. Как священные талисманы, они будут хранить ее сына от невзгод и ударов судьбы. Ему передадутся многие способности грека, многие его земные и неземные таланты. Но пусть он ими пользуется осмотрительно. Пусть бережет их до времени. Ибо таланты будут даны ему не для того, чтоб он вслед за родителем растранил их на потеху безумцам в балаганах и цирках этой скорбной планеты. Нет, ему Провидением предназначено больше, чем греку! Он научит людей любить друг друга. Потому что ему и только ему будут известны такие слова, которыми он растолкует всем людям, что нет на земле ничего прекраснее Братской Любви. Этих великих слов, раскрывающих смысл мироздания, будет не так уж много: может быть, три, а может, четыре, исключая предлоги и междометия. Он изречет их где-нибудь здесь, в северной части Малахова дома, недалеко от Аннушкиной спальни. И это случится неожиданно-негаданно, в какой-нибудь серый, невзрачный денек, который потом назовут Днем Всеобщего Пробуждения. Грек нарочно не станет теперь говорить, когда он наступит, этот радостный день, и сын его в этот день не даст никаких знамений. Нет уж, пусть его братья — все, от Порфирия до Измаила (грек и тогда уже знал, что последним у Аннушки будет дядюшка Измаил), — жадно внимают его речам. Потому что — кто его знает! — три-четыре великих слова могут в любое время слететь с его уст. И тогда... о! тогда уже горе! Горе тем, кто их не заметит! и проклятие тем, кто их не расслышит!

Так сказал грек по-гречески.

А по-русски он сказал, чтобы Аннушка назвала тайный плод их нежной любви дядюшкой Семеном и чтоб она, еще до прибытия Малаха, сдала его в сиротский приют. Грек в приюте обо всем уже договорился. И заплатил там всем, кому надо, очень большие золотые русские деньги!.. Словом, пусть он месяц-другой поживет в сиротском приюте. А когда вернется Малах, женское сердце подсказает Аннушке, как обвести вокруг пальца этого старого болвана!

На этом они распрощались. Грек припал губами к Аннушкиному плечу, запечатлел на нем свой последний поцелуй и вышел в ночное пространство. Кони заржали, сонно качнулись головки китайских танцоров. Шарабаны двинулись в Африку.

После отъезда грека до Аннушки доходили кое-какие сведения о его жизни. Стало известно, что в Африке грек очутился не скоро. Утраты и злоключения преследовали его в пути. На суровом Кавказском фронте у него отобрали казаки почти всех цирковых лошадей; в Иране германские десертиры отбили у него слона; в Месопотамии его обоз обстреляла шрапнелью чья-то свирепая артиллерия; в Сирии кто-то умело и подло зарезал его акробатов; в Египте его самого едва не зарубил турецкий кавалерист. Кое-как с бельгийскими войсками он добрался до экватора. Но и там его ожидали беды. В Конго, где он, между прочим, давал представления с величайшим триумфом, у него украли китайских танцоров. В Уганде он заболел лихорадкой. А через некоторое время какой-то алжирский фокусник, прилепившийся к нему еще на Кавказе, поджег его цирк.

В Европу он возвратился с одним саквояжиком. Три года скитался по разным странам, нищий, как бог, без копейки в кармане, пока не поступил на службу солдатом в сказочно маленькую армию Светлейшей республики Сан-Марино.

В армии грек служил молодцом. Он лучше всех шагал на парадах и имел отличную выправку. Его заметили капитаны-регенты и за такую исправную службу, а также за доблесть и мужество — «за искрометное сердце и гордую поступь», как говорилось в приказе, — назначили грека главным тамбурмажором всей санмаринской армии. О Дева Святая! С каким вдохновением, с какой восхитительной виртуозностью! — вспоминали потом санмаринские офицеры — он вращал и подбрасывал в воздух свой летучий, сверкающий жезл! Как ликовала вся армия и все жители Сан-Марино, когда грек, задорный и строгий, весь в огнях золотой канители, выступал на парадах торжественным шагом впереди барабанщиков и флейтистов!..

Должность тамбурмажора, рассказывал дядюшка Семен, принесла бескорыстно служившему греку небольшой капиталец, которого, впрочем, было достаточно, чтобы открыть, к примеру, винный завод или театрик. Но грек не спешил расставаться со своею крохотной армией, о которой он говорил, что только такая армия, чье мужество в блеске парадов, чья доблесть в изяществе шага, узрит беспечальный рассвет Дня Всеобщего Пробуждения. «Вы, солдаты моей души! И вы, офицеры сердца! — говорил вдохновенно грек. — Вы войдете парадным маршем, озаренные блеском немеркнущих горнов, в золоченые двери последнего дня!.. Да, солдаты, он будет последним, и он будет первым и вечным, потому что он будет Единым, светлым днем всего мироздания, пробужденного для любви! И потому я учу вас сегодня. Нет, я приказываю вам, мои дорогие. Выслушайте мой приказ. Соедините доблесть с любовью — и то, что возникнет из этого, да будет вашим оружием! Сплавьте в сердцах ваших нежность с отвагой — и этот сверкающий сплав да будет зерном вашей ярости, свинцом ваших блещущих пуль! Пусть будет любовь ваша выше отваги, а доблесть выше любви. Но пусть никогда не возвысится доблесть над всепоглощающей нежностью. Ибо она будет солнцем, и звездами, и небом, и светом, и сущностью света Дня Всеобщего Пробуждения. Вы войдете в него, солдаты! Но не я — Сам Создатель Вселенной будет вашим тамбурмажором! Он возглавит парадное шествие и поведет вас, отважных, на плац, где будут приветствовать вас Его белокрылые ангелы!..»

Так учил грек санмаринскую армию.

Прослужив еще некоторое время и получив Рыцарский орден за гражданские и военные заслуги, — какой именно степени, дядюшка Семен сказать теперь точно не может, — грек все ж таки вышел в отставку, ибо мечтал о задумчивом одиночестве, которого ему так не хватало всю жизнь. Сообразуясь с этой его мечтой, капитаны-регенты приказали построить для грека в тихой миртовой роще на склоне горы Титано маленький домик с резными пилястрами и окошком на юг. В этом домике отставной тамбурмажор, живя в полном уединении — два солдата гвардии нобили охраняли его покой, — написал книгу пророчеств о Дне Всеобщего Пробуждения. Рукопись книги он оставил на письменном столе и исчез. И больше о его судьбе ничего не знали ни гвардейцы, ни капитаны-регенты Светлейшей республики Сан-Марино. Его домик, как сообщил потом Аннушке один санмаринский патриций, был немедленно передан в собственность армии. Санмаринские офицеры, приятели грека, тотчас решили открыть в нем музей, который хотели назвать музеем Доблести и Любви. Были собраны экспонаты — барабаны, рожки и флейты, кое-какие афиши: одну купили в Китае, две — у султана Брунея, где грек гастролировал в давние годы, еще до знакомства с Аннушкой. На самом видном месте, прямо над письменным столом, где лежала накрытая стеклянным колпаком книга пророчеств грека, повесили тамбурмажорский мундир и жезл, которым грек добыл себе славу и всеобщее уважение в Светлейшей республике.

Среди прочих экспонатов, бережно собранных санмаринскими офицерами и размещенных в домике грека, была и фотография Аннушки, найденная в его саквояжке, в том самом, с которым он ездил в Африку и который был весь исцарапан ее дремучей растительностью. Снимок был сделан в июле 1914 года. Аннушка стояла, придерживая рукою плоскую шляпку, на троту-

аре Платовского проспекта возле здания войсковой гауптвахты, перечеркнутого наискось пыльным, мутным лучом полуденного солнца. Нога караульного, повисшая в воздухе, и задорная собачонка, охотно метнувшаяся к ней, попали случайно в этот дремотный луч и были видны в нем с той бессмысленной и назойливой отчетливостью, какую обретают на драгоценных снимках второстепенные образы. К таким же второстепенным образам относился и чей-то широкий затылок в белом штатском картузе, исчезающий (но так и не исчезающий) в темном проеме высоких дверей гауптвахты, куда Аннушка ходила в то лето почти ежедневно навещать дядюшку Никиту, сидевшего там под арестом за то, что он надерзил подхорунжему во время лагерных занятий Донской кавалерии. Подхорунжий был какой-то очень важный, из лейб-гвардии Атаманского полка, да к тому же еще кавалер Станислава. И хотя у дядюшки Никиты тоже был Станислав третьей степени с золотыми мечами и бантом, пожалованный ему за его бесшабашное мужество на русско-японской войне, это его не спасло от ареста, потому что он слишком уж резко ответил лейб-гвардии подхорунжему, когда тот, заметив оплошность, допущенную дядюшкой Никитой при построении конного арьергарда, взялся учить его в долгих и бесконечно учтивых словах, как правильно надо командовать кавалеристами.

— Надеюсь, вы все понимаете? — спросил подхорунжий, обеспокоенный тем, что дядюшка Никита рассеянно смотрит в сторону.

— Сморчок! — сказал тогда дядюшка Никита громко и внятно, словно очнувшись, и направился было к своему рысаку. Но тут же был взят под стражу по приказу случившегося рядом полковника...

Ничего этого, конечно, санмаринские офицеры не знали, как не знали они и того, что сфотографировал Аннушку возле гауптвахты фотокамерой «Ласкер и Штульман» репортер «Донского кавалерийского листка» Роман Ходецкий, которому грек был обязан знакомством с «очаровательной есаульшей» («Моя очаровательная есаулыша», — было написано рукою грека по-русски на плотном сиреневом паспорту с оттиском герба Области войска Донского). Ходецкий поместил снимок на четвертой странице «Листка», сочинив к нему вежливо-укоризненную подпись:

*«Мать вахмистра Никиты Малаховича Мандрыкина, наскандалившего на кавалерийских учениях, пришла навестить своего сына на гауптвахте, где он находится сейчас под арестом и будет выпущен на волю не иначе, как по распоряжению господина войскового атамана, лично вникающего во все обстоятельства сего происшествия. Мы уже писали о нем подробно на прошлой неделе. Напомним только, что названный вахмистр проявил неслыханное неуважение к вышестоящим чинам. Случай этот тем более прискорбен, что он бросает тень на почтеннейшего вахмистра родителя Малаха Григорьевича, произведенного недавно в есаулы лейб-гвардии Его Императорского Величества Казачьего полка, а также на братьев его — вахмистра же Мокея Малаховича и сотника Павла Малаховича, о которых войсковое начальство отзывалось в самых лучших выражениях. Что же касается матери арестованного, то она с осуждением относится к поступку сына, о чем и сказала нам, присовокупив, что Никита Малахович искренне раскаивается в необдуманности содеянного».*

Грек примчался в редакцию «Листка» на Комитетскую на следующий же день. Он заплатил репортеру за снимок аж три золотых империиала! И столько же за обещание привести Аннушку в цирк на вечернее представление.

Она пришла спустя две недели в сопровождении Ходецкого и дядюшки Павла, зачем-то закутанного в черный плащ и вооруженного револьвером: сам дядюшка Павел не объяснял — зачем; он ограничивался лишь тем, что подтверждал, и довольно охотно, слова дядюшки Семена. «Да-да, — говорил он, приосаниваясь, — именно так все и было, сынок. И револьвер был, и черный плащ, и палаш под плащом!»

В цирке, едва только зрители расселись по местам, на арену вышел степенно шпрыхсталмейстер в красном камзоле и объявил буквально следующее: «Да-



мы и господа! Почтеннейшая публика! Мы даем сегодняшнее представление в честь одной присутствующей здесь особы! Дабы не смущать ее, назовем только нежное имя ее: Аннушка... Аннушка! Пламень любви сжигает еще неведомое тебе сердце. Отныне оно навеки твое! Смотри, драгоценная. Для тебя будут плясать китайские танцоры! Для тебя — кувыркаться абиссинские акробаты! И тебе, несравненная, будут показаны чудные фокусы! О, Аннушка!..»

В цирке, рассказывал дядюшка Семен, поднялся страшный восторженный шум. Дядюшка Павел вскочил и выстрелил вверх из револьвера. Стреляли и другие офицеры. А какой-то заезжий ротмистр из Уланского Ее Величества полка выбежал на арену и, схватившись за голову, прокричал: «О, какая любовь! Какая любовь, господа!»

И этого тоже санмаринские офицеры не знали.

Единственное, о чем они могли бы догадаться — если б, конечно, не стерлась дата, написанная на обороте снимка карандашом, и если б каким-то чудесным образом им стало известно, что на гауптвахте сидит Аннушкин сын, — так это о том, что выпустили дядюшку Никиту очень скоро и без всяких разбирательств, потому что началась война — великая борьба народов, — столь великая и столь беспощадная, что даже маленькая и ничего не желавшая, кроме любви и покоя, Светлейшая республика Сан-Марино не смогла остаться в стороне — выставила, потрясенная размахом и яростью грянувших баталлий, пятнадцать воинов и аэроплан в подмогу могучим и беспокойным государствам Антанты...

Впрочем, если уж говорить откровенно, то вовсе и не стремились санмаринские офицеры, преисполненные деликатности, разведать о том сокровенном, незапечатленном, что омывало безмолвно, как омывают озерные темные воды песчаный островок, эту стародавнюю фотографию, изрядно потускневшую не то от времени, не то от зловредных испарений экваториальных болот. В пояснительной надписи к снимку санмаринские офицеры изложили без выдумок и затей только то, что им было известно доподлинно, ничего не добавляя от себя: «L' amica del greco»<sup>1</sup>, — написали они просто, и этого было довольно для музея в крохотном домике на склоне горы Титано, который хотели назвать музеем Доблести и Любви и который, к великому огорчению дядюшки Семена и всех жителей Сан-Марино, так и не открылся, потому что молния — будь она проклята! — ударила с апеннинских капризных небес в домик грека, и он моментально сгорел на глазах изумленных воинов. И ладно бы только домик — сгорела книга пророчеств...

Среди пепла и пыли на скорбном пожарище удалось отыскать лишь один обгоревший клочок бумаги. Он поразительно был похож на Африку! Упомянув об этом загадочном факте, дядюшка Семен всякий раз печально склонял на плечо свою красивую голову и говорил, что лично ему видится некий трагический смысл в том, что зверское пламя, пожирая в безумстве великую рукопись, поперхнулось этим несчастным клочком бумаги, в чертаниях которого с такой удивительной точностью, будто их выводила рука добросовестного картографа, отразились все выступы и изгибы безмерно ему родного и безмерно далекого от наших сарматских степей лучезарного континента, где его незабвенный родитель бурно странствовал в оные годы, расточая беспечно таланты, и деньги, и хрустальные дни своей огненной юности!

На африканообразном листочке сохранилась одна строка, написанная рукою грека. Кое-где исчезая в пропаленных насквозь дырах, она тянулась с севера на юг — от Ливийской пустыни через плато Эннеди, через реки Убанги и Конго; затем она шла вдоль течения Замбези, струилась к Драконовым горам и, резко свернув на запад, обрывалась на мысе Доброй Надежды.

В строке этой были такие слова:

*...и будет любовь вам... золотые мои... открывайте глаза и радуйтесь...*

<sup>1</sup> Подружка грека (итал.).

## Часть II

### СИМВОЛЫ

Родился дядюшка Семен, как и предсказывал грек, еще до возвращения Малаха. И рождение его было столь же торжественным и таинственным, как и зачатие.

Каким-то чудесным образом случилось так, что апрельской ветреной ночью, той самой ночью, когда у Аннушки обнаружались первые схватки, вдруг объявился — словно воскрес — дядюшка Павел, летавший всю зиму над Персией на шпионских аэропланах и угодивший, как сообщили Аннушке, вместе с английским асом-воздухоплавателем в турецкий плен под Керманшахом.

В три часа пополудни он подъехал к дому как ни в чем не бывало — как будто с ночного дежурства — на канцелярском беленьком «Дуксе» с бордовыми стегаными сиденьями, которым он управлял заливчатски, на ходу прикуривая папиросы и охотно пугая конных и пеших зычным клаксоном. Освеженный быстрой ездой и весенним летучим дождем, окропившим его фуражку и новый оливковый френч, над левым карманом которого висел, поблескивая алой финифтью, орден святого Владимира с бантом, пожалованный ему за отчаянные полеты над турецкими батареями, он выглядел бодро и весело, а действовал, как всегда, решительно.

Ни о чем не расспрашивая Аннушку, даже не узнав его в бреду (муки все-таки были: тут уж грек ошибался!), он быстро умчался куда-то на еще не успевшем остыть автомобиле и вскоре возвратился, привезя с собою дядюшку Иосю (будущего предателя), корзину цветов и подхорунжего семнадцатого казачьего генерала Бакланова полка. Этот подхорунжий, учившийся когда-то в военно-фельдшерской школе и согласившийся быть тайным повивальщиком, доводился дядюшке Павлу шурином, но был ему больше, чем шурин: многие фотографии, где подхорунжий обычно сидит очень чинно на венском стуле, а дядюшка Павел стоит, положив ему руку на плечо, подписаны нежно и многозначительно: «С Сашенькой — братом моей души». В силу горячей привязанности к дядюшке Павлу и восторженного преклонения перед ним подхорунжий старался походить на него даже внешне, хотя и был значительно моложе его, — носил такие же огромные, не совсем подходящие, впрочем, к его угловатому лицу а-ля Виктор-Эммануил усы и смеялся в точности, как дядюшка Павел, на «о» — хо-хо, — широко открывая рот и округляя глаза. То обстоятельство, что у подхорунжего Сашеньки не было с недавних пор правой руки по локоть, — которая, как он рассказывал с удивлением, вдруг кувыркнулась сама собою в густом, качнувшемся воздухе и, улетев саженей на двадцать вперед, еще продолжала катиться, подскакивая, вместе с чьими-то фуражками по примятой траве, когда оторвавший ее ненароком фугасный снаряд союзников уже завершил в германских окопах свой недолгий, но мощный полет, — несколько не смущало ни дядюшку Павла, ни самого подхорунжего, уверявшего, что если Павлуша ему прикажет, то он и без рук — хоть зубами! — извлечет на свет Божий младенца.

Однорукий повивальщик оказался и впрямь на редкость ловким и расторопным. Уверенно командуя дядюшкой Иосей, подносившим кувшины с водой, полотенца и простыни, он не только помог пробудившемуся узнику, окончательно растревоженному под утро токами грянувшей жизни, протиснуться влажной головкой в исполненный всяческих звуков, разнообразно благоухающий и внезапно просторный мир, — не только сумел перерезать и перевязать проворными пальцами мутно-лиловую пуповину, брызнувшую напоследок животворящими соками, но еще умудрился измерить аршинной тесьмой (вышло неполных двенадцать вершков) скользкое, в цвет печеного яблока тельце, держа его на весу за ноги.

Обычно все это делал бессмертный, любивший сам принимать у Аннушки роды и ощупывать своими руками всех дядюшек, являвшихся на свет. Некоторых он даже уносил на время куда-то в восточные комнаты дома, а потом возвращал их Аннушке, наряженных в мундирчики казачьих генералов от кавалерии. Маленьким дядюшкам в этих мундирчиках, щедро украшенных галунами, блестящими пряжками, красными выпушками и прочими яркими знаками доблестной самоотверженности, щеголять приходилось недолго. Едва только их родитель удалялся из Аннушкиной спальни, довольный всеобщим радушием, с которым встречали в доме новоиспеченных кавалеристов, как Аннушка тут же снимала с младенцев эти, как она выражалась, «суконные доспехи» и, не задумываясь, резала их на тряпки, оставляя дядюшкам для забавы лишь медные сабельки и эполеты с гранеными крупными звездами. «Вы не должны этого делать, мамаша!» — ругал ее дядюшка Серафим, усмотревший однажды в мундирчиках нечто очень трогательное и значительное. Старательно разглаживая на коленях кусочки уже засаленного на кухне сукна, он, бывало, часами сидел перед нею на стуле («Точно околоточный!» — говорила она) и время от времени спрашивал:

— Вы понимаете, что это такое, а?

Она отвечала с обидой — не самому дядюшке Серафиму, а его золотым очечкам, тонким, до крайности узким, излучавшим вечный прищур любознательности, что она понимает только одно: что дядюшке Серафиму, очевидно, пришлось по вкусу эта колючая пакость и что его в свое время, вероятно, не следовало бы одевать в коленкоровые распашонки.

— Нет, не пакость! Не пакость!! — вдруг вскрикивал он, багровея. — А трогательные знаки внимания, исходящие из тайных глубин немотствующего сердца! Вот что это такое, мамаша!.. Символы, символы, — добавлял он, уже успокаиваясь и мгновенно впадая в задумчивость при звуке этого излюбленного им словечка.

Для Аннушки оно было, и в самом деле, не больше, чем звук. Как и какая-нибудь риторическая фигура в тирадах дядюшки Семена — какой-нибудь вычурный оксюморон, преисполненный непостижимой двойственности («величавая низость» дядюшки Иоси или — его же — «благородная подлость»), — оно лишь смущало ее и иногда настораживало, если дядюшка Серафим повторял его слишком часто. Разглядеть же в нем то, что содержит в себе, по затее Создателя, всякое слово — нетленную душу смысла, она не могла. И как ни старался дядюшка Серафим, с какой бы мечтательностью и задумчивостью ни выговаривал бы он это слово — в его произношении гулко-протяжное, с торжествующим, царственным «о»: «симвОлы», — воображение Аннушки (а оно, разумеется, одно только и было в силах освоить эту звучную пустоту, наполнив ее случайными, но живыми картинками) не рисовало ей ничего определенного, ничего устойчивого, до тех пор, пока дядюшка Серафим не додумался объявить симвОлом, да притом еще вечным и многогранным, самого Малаха!

— Вот символ мудрости и любви, доблести и милосердия, и неизбежности жизни! — восклицал он всякий раз, когда Малаха, уже не только изрядно высохшего, но и основательно окостеневшего от длительности существования, извлекали, покрытого пылью и окутанного паутиной, из-под того чудовищного, гробоподобного корыта, которое Аннушка однажды — решительно и навсегда — обрекла на скитания по темным углам и чуланам, лишив его сана полезной утвари, потому что оно издавало отвратительное гудение и содрогалось омерзительным образом при малейшем передвижении, или из-под той грациозной, вдруг по какой-то неизвестной причине оказавшейся в немилости у дядюшки Семена французской ольховой кушетки «работы, быть может, Фурдинуа или даже, сынок, самого Жакоба!», которая долгое время красовалась на видном месте в его кабинете, гостила не раз сударыней-барыней вместе с огромным фаянсовым глухарем из спальни Аннушки в его грим-уборной и теперь разделяла участь

всех опальных и увечных обитателей Малахова чуланчика, где селились с большим удовольствием разжиревшие сколопендры, гигантские пауки, а по рассказам дядюшки Павла — так даже и змеи!

Выносили же Малаха из чуланчика (после того, как он там отыскался) для всеобщего обозрения в шестиугольный зал довольно часто: в дни рождения старших дядюшек, на Пасху и в Рождество. И если дядюшку Серафима приводили в состояние необычайного воодушевления эти праздничные выносы, неизменно сопровождавшиеся деловито-восторженной толкотней вокруг безучастного ко всему «симвОла» и оживленными, порой чересчур оживленными, но незлобивыми спорами, как и куда его поместить — лежа ли, полулежа, на широкое канапе, чтоб он, чего доброго, не свалился на пол, или все ж таки сидя, непременно сидя, — потому что Аннушка пригласила фотографа, этого чопорного Кикиани, и будет весьма перед ним неловко, — на приземистый, прочный гамбсовский стул с пухлой стеганой спинкой, на котором бессмертный сидел в прошлый раз и который теперь, как назло, куда-то запропастился, а венский совсем не подходит, потому что у венского шаткие ножки, и так далее, и так далее — вплоть до прихода коварного Кикиани, появившегося внезапно с двумя молчаливыми ассистентами и застававшего, разумеется, все семейство врасплох, — то дядюшку Семена повергали в такое уныние эти, как он выражался, «безумные выносы богомерзкого истукана», что он, несмотря на мучительную потребность излить свои чувства либо в грозных пророчествах, либо в пламенных инвективах, не в силах был вымолвить ни единого слова. Заложив руки за спину и наклонив голову, он быстрыми шагами удалялся в свой кабинет еще до прихода Кикиани, и потому его нет на тех многочисленных праздничных снимках, где все дядюшки — в белых смокингах с бутоньерками на атласных лацканах, где в шелковом платье с оборками и в жемчужных трехъярусных бусах — Аннушка, где престарелый Порфирий, преисполненный гордости и озабоченности, бережно держит на руках не подвластного старости Измаила (так и не согласившегося снять на минутку шляпу с пером, хоть ему и сулил за это щедрый дядюшка Павел подарить серебряный рубль и гусарскую шашку) и где на гамбсовском стуле — он, слава угодникам, все ж таки отыскался! — восседает в огромной мерлушковой папаше нетленный житель захламненнейшего из чуланчиков, внезапно извлеченный из его паутинного мрака и еще не успевший привыкнуть к неожиданно светлым просторам торжественной залы.

Дверь в кабинет дядюшка Семен нарочно не закрывал. Ему, вероятно, было необходимо, чтоб и Аннушка, и все дядюшки слышали, как он играет в печальном одиночестве на австрийской стеклянной гармонике, когда-то подаренной дядюшке Мокею за блистательный финиш на скачках в Белграде престолонаследником Сербии. Этим диковинным инструментом, совершенно ненужным «Войска Донского вахмистру Мокею Мандрыкину — победителю конных ристалищ в честь династии Карагеоргиевичей» (такова была надпись на крышке), дядюшка Семен владел безупречно. Умело нажимая на педали и касаясь кончиками смоченных пальцев мерно вращающихся стеклянных полушарий, он заставлял гармонику издавать необычайно певучие, грустные, прозрачно тающие звуки. Они разносились по всей северной части дома, а между тем Кикиани, угрюмый и молчаливый, как и его близнецы-ассистенты в одинаковых клюквенных рединготах и в золотистых усах, переставлял дядюшек с места на место, поправлял им с какой-то надменной деловитостью цепочки карманных часов или хрустящие, лунносияющие манишки, приглаживал тыльной стороной ладони чей-нибудь чересчур распушившийся бакенбард и даже пытался (что было совсем неучтиво) приподнять подбородок дядюшки Нестера, основательно съехавший набок и прилепившийся крепко-накрепко к левой ключице после осколочного ранения в «славной, огненной и веселой» («Это все, что я помню о ней, сынок!») Галицийской битве.

Приготовление к волшебному действию механизма, заключенного в фотокамере торгового дома «Фреланд», длились довольно долго. Кикиани, по-видимому, находил особое удовольствие в том, чтоб растягивать эти томительные для его послушных моделей и упоительные для него минуты, когда он еще был во власти переиначивать нечто, уже осененное вечностью, вносить по собственному усмотрению пусть незначительные, но сладостно своевольные изменения в ту единственную, незыблемую, предназначенную всецело лишь одному нерушимому мигу картину, где не двинется дальше заветной точки внезапно плененное время.

Во всяком случае, Кикиани в отличие от веселых, словоохотливых и не в меру прворных французских фотографов Жака и Клода, чьи настоятельные призывы в рекламном разделе «Южного телеграфа» «насладиться изысканной обходительностью наследников оптика Шевалье» иногда находили отклик в доверчивом сердце Аннушки, не торопился снимать с объектива массивную крышку, чтоб описать ею в воздухе (этим ли быстрым и удивительно плавным движением он брал в вечный плен изворотливое мгновение?) чудодейственный круг. И, быть может, благодаря медлительности Кикиани случилось однажды немислимое. В последний момент, когда своенравный фотограф, наконец-таки вдохновленный и удовлетворенный трепетной неподвижностью всего, что вмещала в себя огромная зала, включая капризный подбородок дядюшки Нестера, ценою больших усилий приподнятый на три пальца и как бы прижавший к плечу незримую скрипку, уже скрылся под черной накидкой, из кабинета вышел дядюшка Семен...

О, конечно, конечно, святые отшельники! он вышел вовсе не потому, что им овладел соблазн предстать перед оком камеры в новом бархатном вестоне и в щегольских полосатых брюках, а только затем, чтоб в ореховой горке поискать особую кисточку для удаления пыли со стеклянной гармоникой. И если он все ж таки согласился сфотографироваться в обществе дядюшек, а главное — в обществе истукана, то вовсе не сразу, не вдруг и не по собственной воле, а лишь после длительных уговоров и по настоянию Аннушки, заклинавшей его величием праздника Светлого Воскресения Христова воздержаться от мрачного уединения и изнурительного музицирования. И так уж случилось, что на этом пасхальном снимке — единственном в своем роде, ибо там, за его пределами, не слышатся звуки стеклянной гармоникой, оставленной музыкантом в бесконечном, незапечатленном пространстве, навсегда отделенном неодолимыми рубежами от торжественно ясной картины, как территория обширного государства от маленького, но непобедимого анклава, преисполненного невозмутимости, — на этом снимке дядюшка Семен стоит в самом центре. Он даже нашел в себе силы — и это, быть может, самое удивительное — подчиниться требованию Кикиани, которому вдруг захотелось, чтобы дядюшка Семен как бы в порыве сыновьей нежности касался плеча Малаха — не всей пятерней, как это делал дядюшка Павел, имевший обыкновение принимать покровительственные позы по отношению к тем, кого лучезарный миг фотосъемки заставлял рядом с ним в положении сидя, а только кончиком безымянного пальца... Да-да, вот так: изящно, непринужденно и вместе с тем взволнованно и почтительно должен был, по замыслу Кикиани, касаться плеча Малаха дядюшка Семен. Но Кикиани, по-видимому, что-то упустил. Озабоченный наведением порядка в изменчивом строе второстепенных деталей на флангах, он не заметил предательских неточностей, возникших украдкой в самом центре того многосложного и величественного иероглифа семейной сплоченности и непоколебимой сердечности, который он старательно создавал и в котором фигура дядюшки Семена являлась немаловажным знаком. Он не заметил, к примеру, что дядюшка Семен отступил на полшага от стула и слегка отклонился назад, что левую ногу он чересчур далеко и слишком небрежно выставил вперед, а правую руку при этом решительно положил на пояс, отчего его бархатный вестон как-то лихо и вызывающе оттопырился на боку. Словом, он не заметил главного — что прикосновение благодаря этим существенным и, несомненно, артистичным мелочам получилось вовсе не

задушевым и робким, а скорее холодным и требовательным: гордо глядя куда-то в сторону, дядюшка Семен держит левую руку, украшенную браслетом, над спинкой стула и раздраженно ждет, когда ж наконец догадаются (кто? — ассистенты ли Кикиани, расположившиеся с осветительными приборами у самых границ суверенной неподвижности; вечно нетрезвый Аннушкин ключник, вдруг заявившийся в залу с изрядно початым штофом и твердым намерением похристоваться с господином фотографом; или же сам фотограф) вынести вон тот возмутительный предмет, на который он давно уже указывает безымянным пальцем.

Впоследствии дядюшка Семен, разумеется, жестоко казнил себя за это вынужденное прикосновение. Он говорил о нем, как о чем-то самом греховном и самом невероятном в его жизни, и притом с такой безутешностью и с таким молитвенным жаром требовал для себя от архангелов и серафимов немедленной кары, что архангелы и серафимы, не будь они всевидящими, могли бы подумать, что дядюшка Семен по меньшей мере выплясывал с сатаной в аду на Святую Пасху. Однако же сам снимок, изготовленный Кикиани на следующий день и тотчас же доставленный с нарочным (от Жака и Клода пасхальные снимки приходили в лучшем случае лишь к исходу Фоминой недели), не только понравился дядюшке Семену, но даже стал со временем предметом его постоянных восторгов и мечтательного созерцания, что объяснялось двумя причинами. Во-первых, дядюшка Семен находил — и в общем-то не без основания, — что на этом снимке он ослепительно великолепен. А во-вторых, его не могло оставить равнодушным одно очень важное наблюдение, если не сказать, чрезвычайное открытие, сделанное в день рождения Серафима дядюшкой Павлом. Последний, листая за чашкой кофе увесистый фотоальбом, обтянутый темно-зеленым плюшем и почему-то украшенный рельефной фигуркою балерины (фотограф в усах и жилете и непременно канотье был бы гораздо уместней), заметил вслух, что на этом снимке дядюшка Семен необычайно похож на своего пламенного родителя.

Нет нужды говорить, что замечание это имело в глазах дядюшки Семена сугубую ценность и силу, так как оно было высказано в минуту семейного торжества, когда в кругу своих сыновей находился бессмертный, и так как дядюшка Павел был единственным, кроме Аннушки и одной сумасбродной невестки, кто воочию видел грека и кто, следовательно, мог подтвердить, что блистательный грек, вдохновенный грек, — ах, пора уж, пора! назвать его имя: Антипатрос, — что Антипатрос, «придуманый Семушкой от головы до пят», как уверяла всех дядюшек Аннушка, изводившая тайнорожденного сына своей лукавой забывчивостью, все же существовал. Нет нужды говорить и о том, что замечание это окрылило дядюшку Семена, взбудоражило его воображение и растрогало до того, что он готов был сию же минуту простить все обиды вероломному дядюшке Павлу, который не раз отрекался в присутствии Аннушки и Малаха от своих же пылких свидетельств — не раз утверждал, что с таинственным греком он никогда не встречался ни в трепещущем на ветру шапито, сплошь расшитом дивными звездами, ни в маленьком скверике у канцелярии, где кроны весенних лип озарялись искристым, рассыпчатым светом, источавшимся из окошка дежурного сотника до первых звуков проворной метлы и неспешной утренней конки, ни где бы то ни было. «Ибо грек, — клялся дядюшка Павел Пресвятой Богородицей, — есть лицо невозможное и в высшей степени фантастическое...»

Следует, однако же, особо сказать о том, что радость дядюшки Семена все ж таки омрачало одно досадное обстоятельство. Дело в том, что упоминание о греке уже не могло ни разгневать, ни растревожить, ни даже смутить бессмертного. То было время, когда он, еще не лишившись слуха, утратил способность отличать звуки речи от иных, не столь многозначных и не столь затейливых звуков (от жужжания мухи или скрипа дверей), а вслед за этим, увы, и способность вразумительно изъясняться. Из великого множества слов, когда-то ему известных и теперь безнадежно забытых, он сохранил в своей памяти только нежно журчащее слово «жираф» и никому не понятное «воти-воти». Впрочем, дядюшке Серафиму, кажется, не составляло особого труда понимать это стран-

ное «воти-воти». Случалось, к примеру, на Рождество, когда к приходу неизменно мрачного Кикиани или во всякое время шумно-приветливых Жака и Клода готовились с особенным возбуждением, возраставшим по мере того, как набирало силу, становилось все явственней и головокружительней то радостно-сложное рождественское благоухание, которое с утра наполняло дом и в котором солировали попеременно то разомлевшая в теплом жилище сочная хвоя, то жаркие яблочные пироги, то начищенный фисташковой мастикой паркет, то влажно-прохладные мандарины, Малах, торжественно извлеченный из чуланчика еще ранним утром и на некоторое время всеми забытый, вдруг хватал за рукав дядюшку Серафима, спешившего к месту фотосъемки (в западной части шестиугольного зала) с каким-нибудь «капитальным» распоряжением, и, указывая на высокую, с обвисшими плоскими лапами ель, восклицал:

— Воти-воти!!

И дядюшка Серафим, являя свою чудесную способность мгновенно понимать то задушевное, сложное и разнообразное, что исходило, закованное в одни и те же, быть может, случайные и неразумные, но почему-то полюбившиеся Малаху звуки, из «тайных глубин немотствующего сердца», тут же откликнулся безошибочными действиями на этот восторженный и вместе с тем требовательный возглас, в котором не столь изощренное ухо расслышало бы, пожалуй, лишь удивление и восхищение пышно наряженной елью или невольное извержение менее ясных чувств, но, разумеется, вовсе не то, что слышалось в нем многомудрому дядюшке Серафиму. Ни на минуту не задумываясь, как если бы Малах изъявил свое необычайное желание — а он в данном случае изъявлял, отцы благоречия, именно желание! — самыми обычными словами, дядюшка Серафим быстро и без разбора снимал с еловых веток все, что попадалось ему под руку — посеребренный шар, стеклярусные бусы, пучок золотистой плющеники, картонного ангелочка с трубой, какого-нибудь ватного пастушка, густо крапленного стеклянной крошкой, и так же быстро украшал этими невыразимо трогательными в своем мимолетном праздничном блеске предметами беспечного пленника дремучего долголетия, который кивал ему, приветствовал его благодарной улыбкой и надолго затихал в блаженном умиротворении...

На снимке того Рождества бессмертный так и сидит: смиренно-счастливый, сияющий, «убранный», по выражению Аннушки, «краше рождественской ели». Снимок этот, кстати сказать, в большей степени, чем другие, обнаруживает независимость своей внутренней, неистоимой жизни от расчетов и замыслов утонченного светописца, во всяком случае, от завораживающего воздействия того последнего, вырвавшегося уже из-под черной накидки, артиллерийского жеста, которым он тщетно пытается предотвратить возникновение в детально обдуманной им картине случайных поз, безотчетных движений, произвольной мимики. Подобным жестом — если уж тут упомянута артиллерия — дядюшка Нестер, командовавший батареей в Галицийском сражении и пресекавший с героической беспощадностью отчаянные контратаки австро-венгерской конницы, предварял суровое — «Пли!» или сердечное — «За сербов-братушек!», пока однажды фугасный осколок, вдруг прекративший визжать у него под шинелью, но еще не завершивший стремительного полета, не опрокинул его с высокого гласиса и не понес, как запомнилось дядюшке Нестеру, «прямо по воздуху», в сторону Луцка, над блиндажами, окопами, над остывающими воронками, над запрокинутыми головами молоденьких канониров, еще не вовлеченных в величественную баталию и потому взиравших на дядюшку Нестера с настороженным любопытством (кто-то из них — ах, провора! — успел ему даже отсалютовать, разглядев-таки звездочки на полевых погонах), над озерцом, оврагом, над поверженным аэропланом, над санитарным шатром, возле которого тучный доктор в уютной бекеше поверх халата и в одном, перепачканном глиною, сапоге азартно гонялся за контуженным фейерверкером, и, наконец, над безлюдной, мирно цветущей равниной, над которой он удивительно долго и уже совершенно беспечно — позабыв и о дружных пушках, весело рыкавших по его команде, и об австро-венгерской коннице, слепо топтавшейся в облаке пыли, и обо

всем на свете, — летел, блаженно переворачиваясь и свободно взмывая к солнечным небесам, вместе с планшеткой и щегольской тростью.

Теперь этой тростью из китового уса он с деликатной настойчивостью отодвигает в сторону, подальше от своего лакированного, парадно сверкающего штиблета ногу дядюшки Александра, не обращая ни малейшего внимания на решительный жест фотографа, как не обращает внимания на этот жест и дядюшка Александр, неожиданно повернувший голову, чтобы высказать дядюшке Нестеру как можно учтивей и дружелюбней свои резоны: во-первых, его теснит Порфирий, тяжело качающийся из стороны в сторону и невольно толкающий всех вокруг, поскольку у него на руках ерзает и капризно выгибается дядюшка Измаил, растревоженный тем, что у него отобрали хоть и затупленный, но все же опасный в руках слабоумного старца-младенца кирасирский тесак (кто его снял со стены и дал Измаилу, Аннушка так и не выяснила), во-вторых, у дядюшки Нестера достаточно места слева, чтоб отодвинуться от дядюшки Александра, если уж он не может позволить своему, несомненно, изящному и даже восхитительному штиблету соседствовать с грубым ботинком дядюшки Александра, а в-третьих, и это самое главное, дядюшка Нестер не должен воображать, что его героическое увечье, которого, впрочем, по мнению дядюшки Александра, можно было бы и избежать, если бы, скажем, дядюшка Нестер не находил бы особого удовольствия в том, чтобы ухарски красоваться в картинных позах на всевозможных насыпях, холмиках и прочих живописных возвышениях, — что это впечатляющее увечье дает ему право назойливо тыкать своей диковинной и — спору нет — необходимой ему тростью в ногу дядюшки Александра, да к тому же еще, как известно дядюшке Нестеру, в ногу вовсе не настоящую, а любовно и мастерски изготовленную Альфредом фон Винклером в Люксембурге взамен той проворной, легкой и радостно не ощущаемой, которую он «нечаянно истратил в пятнадцатом году на Кавказском театре», при в общем-то будничных обстоятельствах, наводя акведуки через ущелье для малозначительного маневра каких-то заносчивых егерей. Не замечают знака, поданного фотографом, и дядюшка Павел, решивший все ж таки вытянуть руку из кармана, но так и не успевший положить ее на плечо Серафиму, и дядюшка Иося, всецело отдавшийся единоборству со своим неотступным мучителем — упругим, как недозрелый лимон (и уже полураздавленным во рту), зевком. Словом, снимок получился настолько стихийный, что если бы на его обороте не фокусничал веселый фронт в полосатом костюме и штучной жилетке, развернувший над головой летучим веером семь изящно начертанных букв:

Кикиани,

то можно б было подумать, что он поспешно сработан Жаком и Клодом, не привыкшими грубо вмешиваться в «l'ordre naturel des choses»<sup>1</sup>, как они объясняли Аннушке, умело, хотя и чересчур театрально изображая оскорбленных в высоких чувствах художников и нарочно переходя на французский, когда она им указывала на явные промахи в их «improvisation eclatante»<sup>2</sup>, пытаясь ограничить плату за нее одним лишь задатком. Кикиани, придерживавшийся другого правила, справедливо полагавший, что «l'ordre naturel des choses» не всегда производит благоприятное впечатление на придирчивого заказчика, каким была Аннушка, менявшая семейных светописцев с необычайным увлечением, пока однажды не осталась на Кикиани, не мог опуститься в своем кропотливом искусстве до неряшливой торопливости, свойственной Жаку и Клоду. И если он все же так и до нее опустился, то, вероятно, от отчаяния, вызванного тем, что к стройной и в какой-то момент уже завершенной, на его прихотливый взгляд, картине примазывались, предусмотрительно запасаясь скамеечками, стульями, подставками, все новые и новые персонажи, неожиданно изъявлявшие желание увековечить

<sup>1</sup> Естественный порядок вещей (фр.).

<sup>2</sup> Блистательной импровизации (фр.).



свою праздничную наружность, ступив на территорию сказочного государства, светозарного острова, готового стать минуту спустя оплотом восхитительной неподвижности в океане изменчивых образов и текущего времени.

Остановить нагромождение этих второстепенных лиц Кикиани мог одним только способом — вскинуть руку и спешно снять крышку с объектива, улучив для этого, быть может, не самый подходящий момент. Такое решение, во всяком случае, избавляло его от необходимости пререкаться с Аннушкой, по распоряжению которой к рождественской фотосъемке допускались не только невестки и жены дядюшек, не только их забубенные шурины и мелкотравчатые зятья, но и те бесчисленные свойственники, что таскались повсюду за дядюшкой Порфирием, опрометчиво приваженные им еще в дни его бесшабашной юности, когда он охотно устраивал для них баснословные кутежи, блистающие разнообразием брашен, щедро одарял их — кого жеребенком, кого дербентским ковром, кого смушковой шапкой, не подозревая, что в старости, перед кончиной, тщательно обобранный ими, будет всерьез, а не в шутку, как раньше, подумывать о шарманке, то есть о том, чтоб пуститься, как он мечтательно говаривал во хмелю еще во времена упоительного изобилия, с сумою, шарманкою и плясуном Измаилом по дворам.

— Да-да, по дворам! По дворам! — твердил он, оглядывая свой непривычно гулкий, смиренно посветлевший дом; и твердил, разумеется, уже не с наигранной и неведомой ему сокрушенностью нищего, вызывавшей когда-то льстивое хихиканье у подгулявших на его именинах прижимистых кумовьев, но с искренней, бодрой, нервно-веселой решимостью разорившегося богача: — По дворам пойдем, Измаилушка! А?!

На что дядюшка Измаил, выражая восторженное согласие, мелодично гудел, раздувая румяные щеки, бурно жестикулировал или вдруг хватал тот единственный, с прожженным сиденьем стул, на который не позарились разборчивые снохи, и, держа его перед собою, откинувшись назад, потешно вышагивал по комнатам, изображая какого-то чересчур уж бравого и беспечного шарманщика.

Вообще же раздумьями о шарманке, которой у него, кстати сказать, никогда не было, дядюшка Порфирий тешил себя гораздо чаще, нежели мечтой соорудить на медовые капиталы мукомольный заводик в своей живописной станице, опутанной мелкими речками, или пышную — непременно с диванами и витражами — кондитерскую где-нибудь в городе, на Арсенальной, для господ офицеров. Тяга к трагической нищете, сопровождавшая его неспешное, но надежное благодаря неистощимым пасакам обогащение, овладевала им иногда с такою силой, что дядюшка Порфирий, хотя он и славился почтительным отношением к Аннушке и сельской обаятельной степенностью (приобретенной им, впрочем, вовсе не под воздействием благостно-длительного труда и душистого воздуха, как полагали иные из дядюшек, а вместе с доходными акциями какой-то таинственной Лесопильной компании Истрина, фантастически процветавшей на безлесных равнинах), не мог удержаться от тех театральных поступков, которые доводили бедную Аннушку до обмороков. Рассказывали, к примеру, что он вдруг являлся к ней среди ночи — будто бы из Офицерского собрания — в перепачканном мелом бешмете и с нарочно всклокоченными бакенбардами, валился на пол и, катаясь по нему, неестественным голосом кричал, что он нищий! нищий! — развеял нынешней ночью на бильярде («Ага! На бильярде, маменька!! Будь он трижды неладен!») не только все свои деньги, усадьбу и пасеки, но и Малахов дом, прости Господи.

— В прах, в прах разбили, шельмы! По миру пустили! Убили! — страстно восклицал он, упиваясь горестным смыслом этих облыжных слов. — Побираться пойду, маменька! Слышите ли? Завтра же! С шарманкой!..

Или, бывало, приезжал под вечер сильно нетрезвый и величественно-мрачный, вызывал ключника, еще более нетрезвого, но блаженно-веселого, и, не заходя в дом, поручал ему изложить госпоже драматически путаную историю своего «окончательного и колоссального» разорения, которую он усложнял всякий

раз и которая, если отбросить изменчивые подробности, состояла в следующем. Какой-то ловкий прохвост («Паршивый маклеришка! Блядодей!») злонамеренно скупил векселя, якобы выданные дядюшкой Порфирием в огромном количестве и на баснословную сумму, и, разумеется, тут же, с подлой внезапностью, представил их ко взысканию, тогда как другие векселя, скупленные, в свою очередь, дядюшкой Порфирием без всякого злого умысла, хотя и в расчете на скромную прибыль, оказались все сплошь подложными, так что жуиры и фаты, выдавшие их под мифические богатства, уже давно гремят кандалами, а так как дядюшка Порфирий надеялся погасить свои векселя за счет векселей жуиров и фатов и так как маклеришка-блядодей не желает слышать ни о какой отсрочке, то и дядюшка Порфирий не сегодня-завтра загремит кандалами.

— Так и передай,— наставлял он мгновенно трезвевшего и даже мрачневшего ему в угоду ключника,— в кандалы, мол, оденут Порфирия!.. По городу поведут!

Но самое нелепое и невероятное было то, что рассказывал дядюшка Павел. Он утверждал, что будто бы видел однажды Порфирия с протянутой шапкой на паперти Войскового собора и что будто бы дядюшка Порфирий был обряжен в такие жалкие обмотки и так сокрушенно вопил: «Подайте заради Христа!», широко открывая при этом страдальчески перекошенный рот и глядя куда-то в небо, что даже обступившие его со всех сторон калеки и нищие, среди которых он, впрочем, несмотря ни на какие обмотки, выделялся, по словам дядюшки Павла, точно Самсон среди филистимлянских полчищ, своей патриархально могучей фигурой и полнокровной лицевой растительностью, утешали его, подкладывая ему в шапку кто медяк, кто сдобную булочку.

Вполне возможно, что дядюшка Порфирий когда-нибудь и вкусил бы той истинной нищеты, к которой стремилась,— быть может, влекомая Промыслом Божьим,— его душа и от которой, увы (или к счастью?), его ограждала надежно в последние годы жизни дюжина уцелевших ульев — свирепое и безрассудное трудолюбие пчел. Возможно, что когда-нибудь он и решился бы в порыве неистребимой тоски по участи нищего продать за бесенок эти медообильные улья благоразумному скопидому-соседу или тому неотвязному винокуру с диковинно расчесанной бородой, что навещал его раз в неделю и торговал их то со сдержанной деловитостью, то со скряжнической неистовостью. Не исключено также, что на вырученные ассигнации — соседовы или винокуровы — дядюшка Порфирий наконец-таки приобрел бы исполненную светлых, хрустальных, безнадежно однообразных звуков («Непременно немецкой работы, дорогой Измаилушка!») покорно стрекочущую шарманку и таки пустился бы с ней по дворам, распевая трагическим баритоном застенчиво-страстные, лживо-горестные песенки о несчастной любви — колченогого ли фурьера к заносчивой маркитантке, тайной дочери графа и вертопрашке, горбатой ли маркитантки к спесивому фурьеру, красавцу и бонвивану,— о незавидной, рано отравленной доле всевозможных колодников и сирот, о чьей-то забубенной кручине и о прочем, прочем, язвительно проникновенном и назойливо печальном, о чем он пел бы с затаенным волнением, утоляя давнюю жажду сердца, и что, быть может, сопровождалось бы неуместной лихой присядкой дядюшки Измаила.

Разумеется, дядюшку Порфирия — решишь он на эти нищенские похождения, на это, как в приливе ораторского вдохновения воскликнул бы дядюшка Семен, «развратное попрошайничество!!» — не остановили бы ни слезы Аннушки, ни укоры дядюшки Серафима, хорошо осведомленного о стоимости станичной усадьбы («Пусть и средней руки, Порфиша! Пусть и запущенной!»), которую дядюшка Порфирий, пожалуй что, и спалил бы для окончательного освобождения от имущественных забот, а пуще — для горького вдохновения, столь необходимого смиренному, добросовестно несчастному шарманщику-побирушке. Едва ли его остановили бы и суровые предостережения дядюшки Павла, который грозился бы (впрочем, больше для красного словца), что он тотчас же и любыми средствами пресечет это неслыханное комедиантство, то есть не будет беспомощно разводить руками и сокрушенно качать головою, как дядюшка Иоса

или дядюшка Александр, а подкупит, если понадобится, какого-нибудь урядника, с тем чтобы тот изловил немедленно распоясавшийся дуэт и под саблей водворил его в дом Малаха, отобрав у неразлучных артистов и шарманку — будь она трижды неладна! — и котомку с подаянными пряниками. Нет, дядюшка Порфирий, всегда отличавшийся неистовым, жизнерадостным своеволием, которое набирало в нем силу по мере того, как в его крепеньких пихтовых ульях разрастались и умножались пчелиные семьи — уплотнялось живое, неутомимое вещество, безудержно извергавшееся в знойные майские полдни кипучей пеной из летков, и увеличивался — «тучнел», как он любил выражаться, — его ухоженный капиталец, прилежно нагуливавший бока где-то в тихом, добропорядочном банке, не утратил этого пылко-го своеволия и в дни безденежной, скудной старости. Напротив, напротив! По наблюдениям Аннушки, ее могучий и самовластный первенец, вдруг загадочно возлюбивший — то ли от преждевременного достатка, растерянно рассуждала она, то ли от чрезмерной задушевности союза с несчастным Измаилом — всяческую убогость, сделался в старости еще более порывистым, еще более непреклонным в тех сумасбродных решениях и поступках, которыми время от времени он повергал в изумление и благочинных своих кумовьев, и обходительных соседей, и выдавшее виды Офицерское собрание, и скромный Клуб всех сословий, куда он езживал каждую среду удовольствоваться патефоном и негромким «банчком по маленькой», и даже дядюшку Измаила, чей отрешенный от всяких земных печалей, неуязвимый для горестных размышлений ум наполнялся, судя по отчаянному выплясыванию, мучительным беспокойством, когда его опекун, к примеру, вдруг возвращался под утро из города с огромным, безобразно роскошным гробом, купленным им, между прочим, вовсе не в трезвом и мрачном расчете на скорбную неизбежность, а из ухарства, в шутовском порыве, на каком-то разгульном аукционе, бушевавшем всю ночь в ресторации под председательством пьяного мортуса. К слову сказать, мысль о том, что на дядюшку Порфирия оказывала пагубное влияние *удрученность* младшего брата, возникала не раз и не только у Аннушки. Те же снохи, свояченицы и охотно им подпевавшие во всем язвительные зятьки, которые когда-то так поспешно и бесцеремонно обвинили дядюшку Порфирия в том, что он — он, добрейший из дядюшек, о коварные чародеи! — «замutil» медовухой ясный разум младенца, преследуя злую цель превратить Измаила в чудовище, в безумного стража своих станичных владений, взялись твердить в один голос нечто, хотя и не совсем удобоваримое, но, в сущности, совершенно противоположное. Усердно изображая перед Аннушкой порывы нежнейшей обеспокоенности причудами ее старшего сына, они говорили, что дядюшка Порфирий под напором злосчастной судьбы, обрекшей его пережить и мирно состарившихся детей, и вкусивших долголетия внуков, и, разумеется, шатких здоровьем былиночек-жен (которые, однако ж, заметим мимоходом, успели-таки его осадить сплоченными когортами нетленных своячениц), взял на себя непосильное бремя воспитывать безумца, каковым Измаил, по их новому умозаключению, сделался еще до зачатия — да-да, небовидцы! — еще в тех таинственных сферах, в тех чертогах Предвечного, где создается всякий Образ и откуда безжалостно изгнаны, как из чинного царства стародавнего фотоснимка, и прошедшее и предстоящее. Под конец жизни, утверждали они, дядюшка Порфирий, хорошо научившийся понимать сумасшедшего брата, постоянно входивший своим светлым умом в темные лабиринты безумия, отчасти и сам лишился рассудка. И если это нечаянное помешательство, которое он схватил («Схватил!» — уверенно говорили они, буд-то речь шла о насморке или чесотке) от дядюшки Измаила, не довело его до полного расслабления ума, до идиотской присядки, — на самом деле дядюшка Порфирий, бывая в веселом расположении духа, весьма охотно пускался в присядку и даже переплясывал дядюшку Измаила, чем до слез огорчал последнего, — если этого не случилось, то только потому, что здоровое общество бдительных свойственников всегда одаряло Порфирия своим целебным присутствием.

И действительно, пока у дядюшки Порфирия было чем поживиться, пока его многочисленные кладовые — дворцы душистой прохлады, где в ожидании

бакалейных ярмарок и заезжих оптовиков томился в ольховых кадках светозарный, текучий товар, не превратились в оплоты зловония, в привычные обиталища для пауков и крыс, пока не зачахли его сады, необозримые огороды и обширные цветники и пока сиротливая ясность и дивная, благолепная неподвижность — несомненные признаки оскудения — не обнаружались в самом воздухе над его усадьбой, некогда мутно-янтарном, охваченном страстной, плодотворной вибрацией, — дядюшка Порфирий не знал одиночества. Возможность жить мирно, уединенно, как и возможность бесцельно бродить по усадьбе в неописуемо ветхом нижнем белье или в излюбленном, с уцелевшими газырями из серебра, еще довольно щеголеватом бешмете, надетом прямо на голое тело, он нашел лишь в числе тех немногих, но очень надежных душевных радостей, с которыми к нему пожаловало его разорение. Конечно, оно явилось к нему не так, как того требовало его сердце, то есть не разом, не вдруг, не с фатальной внезапностью ошеломляющего крушения. Нет, в отличие от «дьявольского», «чудовищного», «грандиозного» разорения, которое в его настоячивых грехах прямо-таки обрушивалось на него, его подлинное разорение явилось к нему с такой же благосклонной неторопливостью, с какой однажды пришел его арестовывать за дерзкую выходку в окружном суде («Что ж, куролес, велено взять тебя!») ласковый кум-исправник, не преминувший отпробовать между делом и молодого винца, и ароматных солений в подвалах задушевного сотрапезника. И все же то заурядное обстоятельство, что богатства его — частью растраченные, частью раздаренные, главным же образом разворованные — потихоньку уплыли, вовсе не мешало дядюшке Порфирию сокрушаться о них так, как если бы они исчезли мгновенно — в результате убийственного проигрыша на бильярде или же ловких действий коварного маклеришки. Прогуливаясь по дому, заглядывая без всякого дела в однообразно светлые комнаты, на опустошение которых благоразумным свойственникам, чуравшимся поначалу слишком уж ощутительных, бесцеремонных краж (это потом они обирали дядюшку с безоглядной и радостной увлеченностью, под конец обернувшейся злобным азартом), потребовались не месяцы и даже не годы, а целые десятилетия, дядюшка Порфирий вдруг топал ногой, валился на пол, как он это делал когда-то в спальне Аннушки, и горестно восклицал: «Беда, Измаилушка! Разор!! Шарманка!..»

Словом, мечту о шарманке — о вдохновенном попрошайничестве, которого он не мыслил без этого дивного, начиненного нерушимыми звуками, безучастно послушного инструмента, — он ему представлялся, конечно, символом истинной нищеты! — дядюшка Порфирий, похоже, осуществил бы во что бы то ни стало. Но кончина — кончина, заставшая его ранним утром на чердаке за починкою дымохода, — обрекла эту неистовую мечту на вечную несбыточность.

После смерти дядюшки Порфирия вся усадьба его окончательно одичала — заросла камышом и чаканом, глубокими травами, непроходимым кустарником. Позднее на ее территорию вторглись, устремляясь к смрадным болотцам и нарождающимся озерам, настырные ручейки; со временем они слились в широкую, густо усеянную островками, змеистую речку, которая поглотила и окутала тиной приземистый дядюшкин дом. Вслед за домом бесследно исчезли конюшня и флигель, куда-то пропал — вероятно, канул в прибрежных топях или скрылся под кронами растолстевших ив — каретный сарай. Других, быть может, и не столь обширных, но все же когда-то довольно заметных строений тоже нельзя было уже отыскать ни на болотистой пойме, ни на подвижных речных островах, то проступавших, то исчезающих в дремотно блестящих водах. Где-то на этих островах, среди непроглядной растительности затерялся и дядюшка Измаил. Нескончаемые баталии, которые он вел много лет, вооруженный хлестким вишневым прутиком (а иногда и албанской саблей из коллекции дядюшки Порфирия), со всевозможными насекомыми, в том числе и с теми таинственными, коварными, что изошренно вредили пчелам, замораживая и их самих, и их лучезарных мед, — эти отчаянные баталии приобрели, должно быть, какой-то особенный, исключительно хитроумный характер, требовавший от

противников, во всяком случае, от дядюшки Измаила, скрытных и осмрительных действий. Он уже не издавал воинственных возгласов и не пускался в присядку, торжествуя свои победы в быстротечных сражениях или затяжных кампаниях. И потому, вероятно, дядюшка Павел, которого Аннушка однажды, необычайно засушливым летом, отправила на розыски Измаила, не сумел обнаружить его, хотя и долго бродил, прислушиваясь к каждому шороху, по обмелевшей речке, по пересохшим болотам и разросшимся островам, — до того долго, что ему примерещились даже гигантские, видом похожие на шмелей, мохнатые птицы с прозрачными крыльями; ужасные и проворные, они, по его словам, совершенно беззвучно носились в воздухе, не раз сбивали картуз с его головы, неожиданно вылетая из высоких кустов, где беспрестанно звенели, усиливая обморочное воздействие зноя, потаенные цикады; кружились огромными стаями, замышляя что-то недоброе, над его каурой лошадкой. И, наверное, именно с ними («Именно с этими подлецами, маменька!» — настаивал дядюшка Павел) воевал всю жизнь Измаил.

Так или иначе, вернувшись из станицы, дядюшка Павел решительно заявил, что больше он туда никогда не поедет ни на лошадке верхом, ни с кучером в ландовете, ни — даже — на щегольском «Дуксе» с зычным клаксоном, на котором он с удовольствием ездил повсюду и который сыграл особую роль в судьбе дядюшки Семена, ибо на этом сверкающем бензомобиле — да не забудет Господь его аккуратных создателей! — дядюшка Павел апрельской ветреной ночью тайно привез в дом Малаха однорукого повивальщика, подхорунжего Сашеньку — «кроткого воина», «увечного ангела», как ласково называл его дядюшка Семен, — словом, привез посланца судьбы, по какой-то причине не упомянутого в пророчестве Антипатроса.

А между тем подхорунжий Сашенька с его светлыми веерными бровями, всегда высоко приподнятыми (отчего с лица его не сходило выражение приветливой удивленности), с его трогательной улыбкой, младенчески ясным взглядом и толстыми пепельными усами, старательно выращенными в подражание дядюшке Павлу, был первым, кого узрел в этом мире, едва появившись на свет, дядюшка Семен.

Подхорунжий предстал перед ним в своем обычном мундире — старшего унтер-офицера семнадцатого казачьего генерала Бакланова полка. Этот мундир, как и лицо повивальщика, новорожденный дядюшка разглядел, разумеется, во всех подробностях. Одна из них врезалась ему в память навеки. Это был полковой значок — скромный армейский символ, который всего лишь свидетельствовал о принадлежности подхорунжего к баклановскому полку. Но с этим «всего лишь» дядюшка Семен как раз-таки и не желал мириться.

— Потому что этот значок, о ангелы, — торжественно возглашал он, глядя на люстру, — красовался не где-нибудь, а на груди у того, кто встретил меня в час рассвета на пороге бушующей жизни!..

— И потому что посредством символов, — добавлял очень кстати дядюшка Серафим (выражая, впрочем, отвлеченную мысль), — с человеками изъясняется само Провидение.

Значок же этот, надо признаться, не в пример другим полковым значкам, на которых главенствовала цифирь, был довольно-таки своеобразным. На нем изображен был — помилуй Боже! — человеческий череп на костях, обрамленный такой вот надписью:

*Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь.*

### Часть III

#### ЧУЛАНЧИК

Через несколько дней после того, как Аннушка при помощи подхорунжего Сашеньки благополучно разрешилась, ей привиделся ужасающий сон — будто

Малах Григорьевич, преисполненный грозного пыла, скачет с пикой наперевес на огромном, забрызганном грязью коне. А на пику — свят-свят! — нанизаны дядюшки, все до единого — и те, которые на ту пору уже, несомненно, существовали, и те, которых не было и в помине, то есть дядюшка Петр и дядюшка Израил, чьи беспричинно веселые лица, возникшие перед Аннушкой с дивной отчетливостью, еще предстояло запечатлеть семейному светописцу.

Сновидение это, по толкованию дядюшки Серафима, предвещало скорое возвращение бессмертного, и потому младенца Семушку, сообразно с наставлением грека, решено было немедленно отвезти в сиротский приют.

Иося, Павел и подхорунжий Сашенька, озираясь по сторонам и негромко переговариваясь, вынесли его под покровом ночи, спрятанного в сундук, из Малахова дома, сели с тайной поклажей в автомобиль и быстро умчались, рассыпая по воздуху алые искорки из дружно закуренных папиросок, в сторону Троицкой площади, где у ворот приюта, находящегося на попечении князя Черкесова, их уже поджидала тучная дама — госпожа смотрительница, детально осведомленная о затеваемом обмане.

Помня о щедрости грека, одарившего ее золотыми имперIALами за обещание оказать услугу его возлюбленной в том щекотливом деле, которое Антипатрос обрисовал выражением «обвести вокруг пальца старого болвана», смотрительница встретила ночных гостей с необычайной приветливостью. При этом, однако ж, она ничуть не показала виду, что одного из них, а именно дядюшку Иосю, она давно и коротко знала. Более того, по утверждению дядюшки Семена, смотрительница, которой будто бы не давали покоя заметки городских репортеров, твердивших с завистливой укоризной, что количество самодвижущихся карет «возросло, на радость владельцу бензоколонки, до невозможности», уже и тогда лелеяла мысль сделаться полноправной хозяйкой «Криницы Гефеста». Во всяком случае, дядюшке Семену доподлинно известно, что тот толстозадый господин в кожаном шлеме, тужурке и крагах, который то и дело появлялся беззвучными вечерами, возбуждая любопытство приметливых дворников, у ворот Экипажного рынка, этот господин с неотлучно пребывавшей под мышкой жестянкой — якобы для горячего — и был смотрительницей. Переодевшись в доспехи шофера и даже наклеив себе под нос громадные смоляные усы, она в таком виде навещала дядюшку Иосю в его пропахшей бензином конторке, где в глухой, потаенной комнате, заставленной бочками из-под машинного масла, часами любезничала с ним, а заодно изучала его приходную книгу, лукаво затребовав ее к просмотру в ту волнительную минуту, когда их любезничанье (а быть может, и само уединение) принимало естественным образом гривуазный характер. Иными словами, настаивал дядюшка Семен, смотрительница уже состояла с Иосей в до крайности легкомысленных отношениях, вдвойне предосудительных, потому что, во-первых, супружница Иоси, «молоденькая, но болезненная, сынок», была в то время еще жива, то есть ее еще не постигла печальная участь, уготовленная ей продавцом горячего, — согласно версии дядюшки Семена, Иося коварно отравил ее, попользовав женушку керосином от несварения желудка, — и потому, во-вторых, что смотрительница, эта «неуемная жирная вертихвостка, Бог мой!» и «бесстыжая комедиантка, о ангелы!», пребывала не то что в полуденных, а уже в закатных летах... Да-да! и ужасней ее могла быть только утопленница, вроде той безобразно разбухшей, растрескавшейся, что взялась беспрестанно душить по ночам бедного дядюшку Александра после того, как однажды, году в пятнадцатом или в шестнадцатом, он едва не лишился жизни в каком-то безвестном притоке Тигра, нечаянно бултыхнувшись в его мутные струи с целым взводом отменнейших понтонёров, с которыми он там и расстался навеки, не объявляя дальнейших приказов («Водяной вам теперь команدير, братушки!») касательно спешного сооружения переправы.

Впрочем, на снимке, появившемся в семейном фотоальбоме спустя два года, когда дядюшка Иося, неожиданно овдовевший, женился на Фелиции Карповне — так звали смотрительницу, — она выглядит вопреки уверениям своего злоязычного деверя свеженькой дамой, едва лишь вступившей в пору расцвета, и

притом до того миловидной, что даже супруга дядюшки Павла, слышавшая дивной красавицей и потому не желавшая видеть себя на рождественских снимках рядом с «напыщенными дурнушками», каковыми ей представлялись, увы, почти все супружницы дядюшек, нашла для себя возможным присоединиться к Фелиции Карповне, хотя против этого, надо сказать, отчаянно возражал светописец: «Вы слишком стройны, голубушка! А Фелиция Карповна слишком просторны! И лучше бы вам, сударыня, расположиться вот здесь», — настаивал Кикиани, указывая туда, где теперь — в том светозарном, неиссякаемом и безмятежном *теперь*, что неподвластно всецарствующей, бессмысленно-вечной изменчивости, покорно называемой временем, — стоит рядом с тоненькой Аграфеной, «мамочкой» дядюшки Нестера, тоненькая же Лукерья, «заноза» дядюшки Александра — обе в донельзя маленьких шляпках с едва различимыми вуалетками, чуть окропленными бисером, и обе, как им объяснил фотограф, находятся в первом ряду для того, чтобы несколько скрадывать тяжеловесность левого фланга, составленного из дородных невесток Серафима Малаховича, среди которых частенько оказывалась по требованию Кикиани и Фелиция Карповна.

Подобных, быть может, и не затейливых, но все же обдуманных соответствий нельзя, разумеется, отыскать на снимках, сработанных Жаком и Клодом, ибо галантные братья Шевалье, «потомки великого оптика», были последовательны в своем стремлении награждать восхитительной неподвижностью только мгновения «*de la vie naturel!*»<sup>1</sup>, блистая при этом «изысканной обходительностью», о которой они неустанно твердили в рекламном разделе «Южного телеграфа». Каким бы образом ни расположились нарядные персонажи светописа перед новенькой камерой «Истмен», на покупку которой — да будет это известно доброй хозяйке — бедным французским артистам пришлось израсходовать целое состояние («Но это чудесная камбр обскюр, мадам!»), какие бы позы ни принимали, азартно меняясь местами, неугомонные жены дядюшек и что бы ни выделывали, назойливо куражась, уже порядком нетрезвые шурины в обсыпанных конфетти мундирах — садились ли по-турецки на пол, обнимались ли со свояченицами Порфирия, — Жаку и Клоду все было «*pas mal!*»<sup>2</sup> и даже «*tres bien!*»<sup>3</sup>. Любое комедианство, и особенно выходки Фелиции Карповны, которая иногда позволяла себе скоморошничать — тут уж был прав ее нелюбезный деверь — с необычайным бесстыдством, они не только не пресекали, но, кажется, охотно поощряли. И то, о чем нельзя было и помыслить в присутствии Кикиани, чья пасмурная деловитость служила неодолимым препятствием для безобидной раскованности и уж тем более для шутовства, часто и как-то само собою случалось, когда брались за дело ветреные художники. Однажды они допустили, к примеру, нечто совершенно невообразимое, если не сказать вызывающее. Они допустили, что Фелиция Карповна, стоявшая вместе с другими женами дядюшек на длинной скамейке в последнем ряду, вдруг выбежала вперед, кое-как нахлобучила поверх чепца откуда-то взявшийся у нее, вероятно, заранее приготовленный для фиглярства, огромный кивер с султаном и, подобрав до колена юбку, разыгрывая удальца-гусара — воображаемый ус накручен на палец, — поставила ногу на канане, на величественное канане, где среди шелковых водопадов (снисходительных Шевалье в отличие от Кикиани нисколько не раздражало то обстоятельство, что покрывала стекали на пол) и бархатных пагод, выстроенных из подушечек, торжественно восседал сам бессмертный...

В то время к нему относились с чувством особенного, трепетного почтения, к которому примешивались и радостное удивление, и настороженное любопытство, ибо совсем недавно, на Спиридона, то есть за несколько дней до этой рождественской съемки, бессмертный нечаянно отыскался в чуланчике, где он пролежал много лет под грудой тазов и батальных полотен, восславляющих подвиги всевозможных рубак.

<sup>1</sup> Естественной жизни (*фр.*).

<sup>2</sup> Недурно! (*фр.*)

<sup>3</sup> Очень хорошо! (*фр.*)

Его обнаружил дядюшка Серафим. И, быть может, этого не случилось, если б не выдумка дядюшки Павла. Именно он внушил Серафиму, что где-то на юге Малахова дома (куда дядюшка Павел однажды ходил, движимый страстью ко всяческому приключению) существует дивная комната со сводчатыми потолками и сочно сияющими витражами в высоких арочных окнах и что будто бы в этой комнате, восхитительно озаренной с утра до вечера разнообразно окрашенными лучами, слышатся голоса — слышатся странным образом речи Семена и Аннушки, Малаха и многих дядюшек, говоренные ими когда-то давно и совсем не там, «не на юге, Фима, а на севере дома, клянусь Богородицей!».

Эту-то комнату и отправился разыскивать дядюшка Серафим, преисполненный неуголимой любознательности. Накануне отбытия, пугая всех своим отрешенным видом, или, лучше сказать, той особенной мечтательно-грозной сосредоточенностью, которая год от года овладевала им все чаще и все сильнее, становилась все более беспричинной и беспредметной, пока однажды, увы, со всей очевидностью не обнаружилось, что мудрейший из дядюшек на забаву и радость зятюкма-пересмешникам безвозвратно и всем существом погрузился в эту необоримую сосредоточенность, превратившись, как с горечью говорила Аннушка, в «безмозглого петрушку», он долго и усердно изучал, вооружившись увесистой лупой, необычайно подробную, многоцветную и явно фантастическую карту южных окраин дома, составленную дядюшкой Павлом. Помимо буфетов, комодов, бюро, консольных столов, этажерок, зеркал, напольных часов, оттоманок и всевозможных кушеток, помимо лестничных маршей, печей, нескончаемых анфилад, колонн, галерей, глухих комнатушек и бесчисленных коридоров, на ней было отмечено нечто совершенно немыслимое: какие-то озера в гигантских залах с полуразрушенными пилястрами, провалами в стенах и глубокими нишами, сплошь заполненными кустарником, какие-то пески на огромных пространствах, давно поглотившие разнообразную мебель, какие-то заросли камышей вдоль истлевших ковровых дорожек и откуда-то взявшиеся валуны, какие-то коварные «двери-призраки», будто бы всякий раз исчезающие, как только к ним приближается путник, места обитания коршунов и варанов и даже курганные Бабы, Бог знает как очутившиеся на подоконниках и шкафах...

Неизвестно, видел ли все это дядюшка Серафим.

Рассказывали, что он отправился на юг ранним утром и очень скоро сбился с пути. К полудню, сверившись с картой дядюшки Павла, он, к немалой досаде своей, обнаружил, что находится где-то на юго-востоке, и притом весьма далеко от той загадочной комнаты, которая на карте была помечена излишне жирным крестом. Поразмыслив, дядюшка Серафим решил вернуться назад. Он долго шел на северо-запад через длинные коридоры, обширные залы, ошеломляюще светлые галереи и безнадежно сумрачные анфилады; открывал одну за другой высокие двери с медными ручками; переходил из комнаты в комнату, осторожный и тихий, как призрак; разглядывал мимоходом какие-то «редкостной красоты» жирандоли на облупившихся стенах — и только как вечеру заподозрил, что движется по кругу.

Вот тогда-то он и толкнул, говорили — распахнул в порыве отчаяния (или в приступе яростного любопытства?) заманчиво затаившуюся в узкой нише, в замшелом углу неказистого зала, ветхую дверцу на ржавых петлях, всю изъеденную жуками, ту самую дверцу — о праздник случая! — за которой и находился Малахов чуланчик.

В чуланчике, осветив его керосиновой лампой, дядюшка Серафим вдруг увидел суконную епанчу с полевыми погонами, в которой Малах когда-то, зимними вечерами, бродил по нетопленным южным комнатам, увидел его папаху из переливчатой тегеранской мерлушки, покорно примкнувшую к обществу пакостного тряпья, а некоторое время спустя, разбирая потрескавшиеся картины, на которых по большей части красовались сказочно пышноустье неуживимые всадники с грузными ляжками, истреблявшие пеших роскошными палашами — кто буйно и весело, кто с мрачной свирепостью, кто с озорной грациозностью, — наткнулся и на самого Малаха.



Бессмертный спал неотступным, глубоким, но, как показалось дядюшке Серафиму, далеко не бесчувственным сном. Он то хмурился, чем-то встревоженный или чем-то мучительно раздосадованный, то чему-то испуганно изумлялся. Летучие, но, должно быть, отчетливые сновидения неслись перед ним нескончаемой чередой, не оставляя просвета ни для внезапного пробуждения, ни для медленного вторжения величественной пустоты. Они настойчиво вовлекали Малаха в свои обманно-многозначительные, лукаво запутанные события; посулом счастливой развязки держали его в стремительном узком потоке, грозно стиснутом мощными берегами — владениями яви и смерти; обещали ему, быть может, щедро наполнить все его существо — где-нибудь там, за новой излучиной, — невыразимым блаженством, какого нельзя испытать ни на одном из двух берегов, каким чреваты только подвижные грезы. Но по всему было видно, что в этих изменчивых сновидениях нечто докучливое и безотрадное возникало гораздо решительней, чем то мимолетное, зыбкое, таинственно-восхитительное, что в первый миг заставляло вздрагивать беспомощного сновидца, а потом вызывало у него восторженную улыбку, которая неожиданно озаряла его покрытое немощной клокочавой растительностью лицо и исчезала бесследно, словно проворная рыба, полыхнувшая призрачным серебром в темных водах дремлого озера...

Только к утру дядюшке Серафиму удалось разбудить бессмертного. Малах не узнал его. Он даже как будто бы и не старался припомнить дядюшку, хотя и разглядывал его с угрюмой, недружелюбной пристальностью, сердито двигая бровью, безнаказанно изучаемой предприимчивым паучком. Этим враждебным взглядом он, казалось, хотел напугать или по крайней мере смутить Серафима. Тот же, напротив, смотрел на пробудившегося родителя с веселой, подчеркнуто благодушной приветливостью, «ничуть не выказывая конфуза», как он потом рассказывал Аннушке, даже тогда, когда мрачное беспокойство овладело Малахом настолько, что он, «поверите ли, мамаша!», взялся рычать — о лютые бесы!.. Он взялся рычать на дядюшку Серафима, а дядюшка Серафим между тем был не то чтобы совершенно спокоен — он по-своему был взволнован, и притом очень сильно взволнован, то есть он находился в том особенном состоянии, когда никакая сила — будь в ней хоть вся свирепость и всё неистовство ада — не могла лишить его равновесия, и уж тем более никакое рычание не могло его ужаснуть, встревожить или хотя бы вызвать в нем легкое замешательство. Словом, с дядюшкой Серафимом, к счастью, уже случился припадок дивной невозмутимости. В надежде, что родитель вот-вот заметит что-нибудь знакомое в его облике, он то поднимал на лоб, застенчиво и ласково шурясь, узкие, как бы тоже прищуренные, очки, то снова оседлывал ими раскрасневшийся нос, торпливо ерошил волосы, тербил свой тоненький ус, оживленно вертелся, показывая себя и так и эдак... но куда не исчезал, не растворялся, не изменялся, что, по-видимому, и пораживало бессмертного: образы яви, вдруг заслонившие от Малаха причудливый мир текучих видений, еще долгое время неприятно поражали его своей дерзкой устойчивостью и бесхитростной ясностью.

В доме, однако ж, объясняли иначе то обстоятельство, что Малах, которого дядюшка Серафим, чрезвычайно гордый своей находкой, принес незадолго до Рождества в шестиугольный зал, был преисполнен хмурой растерянности. Говорили, что взбалмошные невестки, всегда недостаточно трезвые шурины (чьи румяные лица в тот день не расставались с моноклями и выражением задорной деловитости), смертельно докучливые зятьки, двоюродные сестры зятьков, мужья и золовки этих сестер и прочие родственники, многих из которых, по верному замечанию Аннушки, бессмертный ни разу в жизни не видел, поскольку они появились у дядюшек уже после того, как ему случилось угодить в треклятый чуланчик, где он проспал... Боже правый! никто и не знает теперь, сколько лет... так вот, эти несчастные дуры невестки, эти ужасно бесцеремонные шурины и эти болваны зятьки устроили по недосмотру дядюшек слишком уж бойкую толкотню возле парадно стоявшей между двух настенных зеркал оттоманки, ку-

да Серафим усадил бессмертного, — слишком уж удивленно, назойливо и пытли-во, исхитряясь даже потрогать его украдкой, разглядывали они Малаха, чем и повергли его в смущение.

Таково было общее мнение, которого не разделял только дядюшка Семен.

Он утверждал, что Малах безвозвратно лишился памяти, а вместе с памятью, может быть, утратил и богодарованную способность отличать сон от бдения, день от ночи, год от мгновения и плоть от бесплотности. Все, говорил он, смешалось, все опрокинулось и перепуталось в одряхлевших мозгах истукана. И хорошо, если этот хаос не обернется безумием, мрачным безумием.

— О-о-о, погодите, мои дорогие! — сочувственно страшал он братьев, с удовольствием замечая, что их настораживает новая, совершенно несвойственная для подобных его пророчеств, нежно язвительная интонация. — Ваш драгоценный папенька будет не только рычать!.. Он искушает всех вас! Он будет рыскать по дому, как злобное привидение! И будет свирепо бросаться на всякого, кто попадется ему на глаза! О да!..

Ничего этого не случилось, конечно. Но и приветливая, созерцательная безмятежность не воцарилась в душе Малаха так скоро, как того ожидали многие дядюшки. Во всяком случае, на рождественском снимке, где Фелиция Карповна изображает гусара, бессмертный не выглядит умиротворенным. Он смотрит — на кого? на Жака ли, воскликнувшего: «Оп-ля!», или на Клода, добавившего: «Будьет волшебная пти-щика!»? — с таким же сердитым недоумением, с каким он смотрел в чуланчике на дядюшку Серафима.

Лишь через несколько месяцев, к началу Страстной недели, Малах, по выражению Аннушки, «приободрился сердцем». То есть он оставался по-прежнему неподвижным, по-прежнему целыми днями сидел, подпирая клюкой подбородок, на пухлой репсовой оттоманке, полюбившейся ему еще с Рождества, и по-прежнему никого из дядюшек — с какими бы задушевыми речами ни обращались они к родителю, поочередно подсаживаясь к нему, — не узнавал. Но способность взирать на всех и на всё с жизнерадостным, ласковым равнодушием вернулась к нему. И эта счастливая способность не покинула его, как свидетельствуют творения светописцев, ни на Пасху, когда вызванный Аннушкой по телефону («Ах, голубчик Викентий Самсонович, об этих шутах французах я и слышать теперь не хочу!») явился снимать Кикиани, ни позднее, в день похорон Глафиры, третьей супруги дядюшки Анастасия, когда по какой-то, так и невыясненной причине — одни говорили, что по настоянию Аннушки, накануне повздорившей с Кикиани, другие же утверждали, что по требованию самого вдовца, неугомонного греховодника, давно и страстно влюбленного в насмешливую Фелицию, которая обожала Жака и Клода, называя их «миленькими Шевалье-Дуралье», и которая будто бы и склонила ветреного селадона к такому кощунственному решению, — съемка траурной церемонии была доверена весельчакам и фатам.

Они же, легкомысленные французы, чудом вывернувшиеся из-под Аннушкиной опалы, снимали и год спустя в день помолвки дядюшки Анастасия с Иосиной падчерицей Полиной, старшей дочерью Фелиции Карповны. Но бессмертного уже нет на тех безупречно отчетливых (художники все ж таки иногда изменяли своей торопливой простушке — своей бойкой, неряшливой музе), напоенных какой-то холодной, непроницаемой ясностью снимках, где, увы, нельзя угадать ни предшествовавшего съемке, ни последовавшего за ней движения, — где дядюшка Иося, как бы скованный самим воздухом, сдавленный, как и все на этих сухо лоснящихся карточках, неким плотным пространством цвета слоновой кости, смотрит с грустным укором на дядюшку Анастасия, а дядюшка Анастасий тем временем деловито, без всякого удовольствия, но и без видимого отвращения целует... ах, нет, скорее обследует, словно он не жених, а бесстрастно учтивый, подслеповатый доктор, вялую руку долговязой Полины, вспоминая, быть может, как третьего дня в вечерней кондитерской Феокиста Присягина (которую, между прочим, облюбовал для шумных воскресных попок и дядюшка Порфирий, не раз грозившийся на нетрезвую голову подпалить — от избыт-

ка любви к нему — это «дьявольски чудное заведение») с наслаждением целовал другую, обольстительно маленькую и упругую, своевольную ручку — ту самую ручку в тяжелых перстнях поверх кружевной перчатки (Фелиция, говорили, обожала кружево не меньше, чем Жака и Клода), что держит теперь грушевидный бокал, искажающий влажным стеклом статуэтку косматого Пана и циферблат каминных часов... без четверти шесть пополуудни...

Малаха не было и на свадьбе дядюшки Анастасия. Просидев больше года на оттоманке, с которой он, как казалось, уже никогда не расстанется, бессмертный однажды утром поднялся, удивив всех своим решительным, воинственно-бодрым видом, и, напевая Егерский марш, чьи жизнерадостно злобные звуки — «тум-па-ба-бим! бим-па-ба-бам!» — быть может, и оживили его, нечаянно вспомнившись ему в полудреме, проворно вышел через южную дверь из шестиугольного зала. Никто из дядюшек не сомневался, что их своевольный родитель, вдруг ободравшийся не только сердцем, но и дремучим, свободным от беспокойного коловращения жизненных соков, выскохшим до воздушной легкости телом, двинулся («Чтоб его там проглотил сатана!» — в сердцах воскликнула Аннушка) прямо в чуланчик. Однако ж никто из них — ни дядюшка Серафим, нацелившийся было преградить путь родителю и даже уже раскинувший для этого руки в дверях, но тут же отступивший, ни дядюшка Павел, пообещавший Аннушке минуту спустя, что он сейчас же догонит папеньку, схватит его, принесет назад и усадит на оттоманку, ни дядюшка Нестер, вызвавшийся всячески подсобить в этом брату, «если, конечно, потребуется, Павлуша», — никто не осмелился остановить Малаха, потому что, во-первых, всем было ясно, что не каприз, не пустая прихоть, как думалось Аннушке, а какая-то властная, мстительная, неоторимая сила влечет Малаха в далекий чуланчик, пленивший его, быть может, своим беспросветным, надежным мраком — обманным подобием недостижимой смерти, и потому, во-вторых, что лицо родителя могло устроить в то утро любого из дядюшек. В то утро Малах Григорьевич выглядел таким же непримиримо-грозным, пылким и безжалостно-веселым, каким однажды запечатлел его неведомый светописец где-то в Галиции, на Юго-Западном фронте, возле груды колес, изогнутых рам и изрубленных тел (все, что осталось от опрометчивой австро-венгерской велосипедной роты, вступившей в баталию с казачьим разъездом) и каким он явился чуть позже Аннушке в том ужасающем сновидении, которое ее побудило исполнить немедленно последний завет Антипатроса, то есть сдать в проклятый сиротский приют малютку, оторвать, оторгнуть от сердца живую, теплую драгоценность, потому что не оторвалась, не покатилась с разинутым ртом в бурьян холодная голова чудовища!.. Потому что чудовище в полном здравии, вооруженное пикой, винтовкой и дьявольски острой шашкой, уже возвращалось с войны! Потому что оно уже двигалось к дому то ли с запада, то ли с востока! Потому что по пестрым сарматским или рыжим ногайским равнинам оно уже пробиралось, свирепое, пугая удофов и ящериц, к тем высоким парадным дверям, что в хрустально-звездную ночь распахнул для Любви вдохновенный грек!.. Потому что в конце концов, о белокудые баяны и смуглоликие риши, дядюшка Семен не такой уж степенный сказитель, чтоб, бряцая по самым заветным струнам своей уязвленной души, говорить без слез и обиды, без горестных жестов и вздохов о том, как в другую, беззвездную ночь его привезли, Боже правый, словно ненужную ветошь, в каком-то обшарпанном сундучке, гораздо более тесном и душном, чем тот провонявший гнилью чуланчик, что обернулся узилищем для истукана (скромное Ваше возмездие, о Силы Небесные, за муки младенца), в жалкий сиротский приют!..

Приют (ах, все ж таки надобно, надобно бедному дядюшке успокоиться — «хотя бы затем, сынок, чтоб озарить на миг светильником укрощенного сердца эти печально-дорогие подробности!») обретался в сумрачной глубине обнесенного низкой цепной оградой недужного сквера, в полуистлевшем деревянном строении, заросшем с фасада чахлой лозой и дерзким вьюнком. В этом-то сквере, примыкавшем с севера к Троицкой площади, неуютно сыром, запущенном,

начиненном цикадами и сверчками, заглушавшими вкрадчивое журчание каких-то невидимых смрадных вод, и поджидала, прячась в высокоом кустарнике возле дощатых ворот приюта, однорукого подхорунжего Сашеньку, предателя Иосю и сотника Павла Фелиция Карповна, не позабывшая, слава Богу, о щедрости грека.

Как только они вышли из автомобиля, оставленного с потушенными фарами у фонтана посреди каштановой, мощенной ракушечником аллеи, что вела от площади через сквер к приюту, Фелиция выбежала им навстречу, трижды взмахнула белым платком, как условился с нею в разговоре по телефону дядюшка Павел («Если все будет в порядке, барышня...»), а затем провела их во двор приюта, в небольшой, об одном окошке флигель, где спал на печи опоясанный саблей, смертельно нетрезвый приютский сторож. Улыбаясь лукаво, Фелиция сообщила, что это она прислала на ужин сторожу — якобы от князя Черкесова, в честь праздника Зосимы пчельника — два штофа злой медовухи и что сторож, по ее разумению, проснется не раньше, чем на рассвете. На рассвете — «Сундучок вы должны оставить здесь, господа!» — он нечаянно обнаружит младенца и, разумеется, тут же явится с ним, виновато моргая глазами, к Фелиции Карповне. А уж Фелиция Карповна, сударики вы мои, будет и ласково удивляться, разглядывая миленького подкидыша, и бранить на чем свет стоит безмозглого бражника сторожа за то, что ему — помилуйте, барыня, — по причине бедственной нечувствительности не удалось разведать, когда и какие такие злодеи избавились от дитяти, и за то, что дитя, быть может, томилось всю ночь в сторожке, рыдая от голода и тоски.

— Словом, всё обустроится наилучшим образом! — пообещала с пылкой приветливостью подкупленная смотрительница.

Приветливость эта, однако, вовсе не помешала дядюшке Павлу, возлагавшему, как он сам выражался, «больше надежд на грозное слово, чем на блазнящее золото», сурово заверить смотрительницу, что он задаст ей хорошего феферу, если она вдруг надумает оповестить достойнейшего господина попечителя, коротко знакомого с Малахом, или кого бы то ни было о происхождении младенца.

На этом все трое картинно откланялись несколько раздосадованной общнице, втайне настроенной еще почаевничать с обворожительными усачами, все трое поцеловали новоявленного сироту, поочередно наклонившись над распахнутым сундучком («От Иуды, сынок, страшно пахло бензином!»), и, более не задерживаясь — был уже близок рассвет, — уехали прочь — умчались, озаряя карбидными фарами пустынные улицы города, на приснопамятном «Дуксе».

Так, согласно легенде («Семеном Малаховичем же и придуманной!») — поклялась как-то раз перед Аннушкой, осенив себя трижды крестным знаменем, Фелиция Карповна), сын Антипатроса очутился в сиротском приюте... В ту же ночь и обрушилась в доме Малаха сплошная стена, за которой скрывалась неизвестная зала, а на дощатых воротах приюта проступили сами собою слова:

*Всякий сир и убог в этом мире.*

## Часть IV

### ЗОЛОТАЯ СОСНА

По прошествии некоторого времени, поздним вечером, как раз тем вечером, когда Аннушка в порыве мятежной обиды на безжалостную судьбу, разлучившую ее сначала с возлюбленным, а потом и с младенцем Семушкой, выкрасила револьвер у дядюшки Павла, чтобы выстрелить острой пулей в свое маленькое сердце, переполненное печалью, случилось еще одно чудо — в окно Малахова дома постучала тихонько чья-то опасливая рука. Это было одно из многочисленных окон обширного кабинета дядюшки Павла — четырнадцатое окно, если считать от глухой, густо увешанной саблями, пиками и протозанами

восточной стены, возле которой крепко спал на кушетке в сапогах и мундире дядюшка Павел.

Именно у этого окна и стояла в позе горестной храбрости, приставив к груди револьвер и запрокинув голову — «Вот так!» — показывал дядюшка Семен, — несчастная Аннушка, над которой уже распростер («Уже жадно раскинул, сынок!») свои черные крылья тысячеглазый Азраил.

Услышав стук, Аннушка отодвинула штору и распахнула окно. Взору ее предстал одинокий всадник. Лицо его закрывали длинные космы горской папахи; за спиной висела винтовка. Одет же он был в гвардейский, с серебряными галунами чекмень, из-под которого, однако, виднелись, жемчужно сияя в свете летучей луны, панталоны из белой саржи, в каких кувыркались в цирке у грека абиссинские акробаты.

Не говоря ни слова, всадник дождался того момента, когда Аннушка, долго его разглядывавшая с изумлением и растерянностью, наконец-таки выронила безотчетно направленный на него револьвер; в ее освободившуюся руку он осторожно вложил небольшой, запечатанный воском конверт, тут же развернул нетерпеливо вытанцовывающего под ним коня и, скакнув через ограду палисадника — через ближнюю — через дальнюю, — быстро умчался в непроглядную темноту — прочь от Малахова дома.

Аннушка распечатала конверт, вытащила оттуда тонкий лист почтовой бумаги и, взглянув на него при вспышке лунного света, разорвавшего косматую тучу, ахнула.

Это было письмо от грека.

— Вот оно! — вскрикивал дядюшка Семен, указывая на свою грудь. — Вот оно! Вот оно! — повторял он, перемещаясь под люстру. И только уже под люстрой, вдруг согнувшись всем телом, словно ему за пазуху кинули снега, он медленно запускал руку во внутренний карман пиджака и так же медленно, не меняя позы и не обращая внимания на Аннушку, наблюдавшую за ним с нарастающим беспокойством и даже порывавшуюся что-то ему возразить из своего угла, где усиливалось, превращаясь в тревожную музыку, скрипение венского стула, извлекал на свет это спасительное послание Антипатроса, которое доставил Аннушке страшной ночью, опередив проворного ангела смерти, таинственный всадник в горской папахе...

Выпрямившись во весь рост и глубоко вздохнув после этой сцены, дядюшка Семен долго встряхивал в воздухе драгоценный листок, долго расправлял его на ладони, шевеля бровями, губами, щеками, всеми частями лица, и, наконец, когда лицо его застывало, как бы нащупав в самом себе необходимое выражение — выражение грусти и окрыленности, — он приступал к чтению.

Он читал мягким, слегка дрожащим, взволнованно-нежным голосом, соединявшим в себе и юность и мужество, вобравшим в себя и восторг и печаль. Он читал так, как не читал ни одну свою роль, потому что — вы только представьте себе, Мельпомена и Талия! — он читал без всяких обдуманых интонаций, без всяких взвешенных пауз, отлаженных придыханий и заготовленных ударений, — как если бы он читал своим собственным голосом, но это был голос его родителя, это был голос самого Антипатроса, изливавшийся естественно и свободно — прямо из сердца дядюшки:

«Несравненная Аннушка! О, моя жизнь и судьба!

Помнишь ли ты Атаманский сад — кроны каштанов и лип, озаренные вспышками пестрых салютов, огни каруселей и балаганов, звуки летучей уланской мазурки, что разносились в весенние сумерки с высокой эстрады, расцвеченной флагами!

Помнишь ли ты, как степенный брандмейстер ласково дирижировал дружным оркестром, кланяясь дамам из-за плеча, как загорались украдкой над садом степные тихие звезды, а вслед за ними — широкие окна в приземистом атаманском дворце...

Едва лишь темнело, твой пламенный грек, твой смуглый волшебник, сжигаемый страстью, летел на бесшумной своей колеснице по дивной аллее

сквозь легкие арки к заветной ротонде, увитой лозою, где ты назначала ему свидания.

Там в упоительные минуты, когда замолкал утомленный оркестр, дав на прощание волю литаврам, и дворцовый огненноусый горнист в позументах, трижды исполнив «Развод караулов», замирал на гранитных ступенях портала, весь окруженный искристым сиянием, ты говорила: «О, Антипатрос! О, чародей мой! Ночь коротка — похитит заря созвездия небес, но ярче небесных созвездий будут гореть в моем сердце, возлюбленный, созвездия твоих поцелуев!» О, Аннушка!..»

Так писал грек по-гречески.

По-русски же грек писал, что он сожалеет о том, что в минуту прощания с Аннушкой, перед своим поспешным отъездом в Африку, он толком не объяснил ей, понадеявшись на лукавство ее женского сердца, как именно нужно обвести вокруг пальца старого болвана, когда тот вернется с войны. А вернется он уже очень скоро. «Не сегодня-завтра, бесценная Аннушка, вернется с войны твой Малах, не сегодня-завтра, моя единственная, сбудется твое свидение», — уверял ее грек. И уверял неспроста. Уже не только Аннушкино сновидение, о котором греку чудесным образом было известно, предвещало скорое возвращение бессмертного. Предвещала это уже сама достоверность, состоявшая в том, что баталии в разных местах планеты мало-помалу утрачивали свою былую величественность, кое-где совершенно сворачиваясь или принимая такой же невеселый, выжидательно-угрюмый характер, какой суждено было обрести во дни одичания Порфириевой усадьбы противоборству дядюшки Измаила с коварными легионами таинственных насекомых; что императору Францу Иосифу, простодушно мечтавшему в бессонные ночи высечь в Шенбруне добрыми розгами («Собственноручно и под оркестр!» — поддакивали ему задорные бесы) короля Петра I Карагеоргиевича, уже случилось скончаться, а император Вильгельм Гогенцоллерн уже не мог объяснить с подобающей вдохновенностью ни раздраженным союзникам, ни удивленным врагам, за каким таким хитроумным дьяволом и под чьим артистичным командованием кружат его эсминцы по Яванскому морю, покрывая загадочными узорами его нежно-блескучие воды и злобно обстреливая мысы Калимантана; что сан-маринские капитаны-регенты, всегда отличавшиеся дальновидностью, уже приказали всем солдатам Светлейшей республики, — которая, как искренне говорилось в приказе, «восторженно убедилась в своей героической мало-важности», — немедленно возвратиться в крохотное отечество, вручив любому из государств Антанты для дальнейших полетов и подвигов в безбрежном пространстве сражений чудом уцелевший аэроплан; что на лице светописца Фридриха Зойтера, чьи сказочные творения (Аннушка в пышном наряде султана среди стражников с ятаганами, опохальщиков и павлинов... одинокий гусяр Малах на опушке кудрявой дубравы) были с детства знакомы всем дядюшкам, вновь появились как ни в чем не бывало опальные кайзеровские усы, исчезнувшие из-под его могучего швабского носа, чуткого к ветрам «миропфой политик», еще в день похорон эрцгерцога Фердинанда; что вслед за Светлейшей республикой и некоторые просветленные гималайские королевства уже возводили в доблесть свою незначительность, позволявшую им выказывать небрежение к великой борьбе народов, которая все ж таки еще продолжалась, — во всяком случае, дядюшка Павел, пристрастившийся к шпионскому воздухоплаванию, еще увлеченно чертил мудреные схемы на огромной карте Центральной Африки, помышляя о неких секретных полетах («Зачем? Для чего, Павлуша?» — испуганно удивлялась Аннушка) над Гвинейским заливом и вулканами Камеруна, дядюшка Александр еще наводил и взрывал акведуки в коварно ущелистых Курдистанских горах, а дядюшка Нестер, оправившись от ранения, от того каверзного ранения, которое у него породило особый — и вечный — наклон головы играющего скрипача, еще выкрикивал грозное «Пли!» в Трансильвании, посылая осколочные фугасы в окопы и укрепления австро-венгерских войск...

Но как бы то ни было,— писал грек,— какие бы свойства ни проявляла теперь всемирная достоверность, Аннушке в эти тревожные дни нужно собраться с духом. То есть Аннушка не должна от страха терять себя той опасной фантазией, что будто ее Малах Григорьевич еще далеко от дома; что будто летит он себе потихоньку где-нибудь над барханами Эль-Хамада на расписном монгольском фьере, двигаясь в сторону Черного моря, сквозь безветренный воздух аравийских небес, опустошенных неистовым солнцем, или катится кое-как, направляясь к восходу, на измятом грохочущем «Руссо-Балте» по захолустному тракту через Подолье, кишашее татями и дезертирами, или в тесной скрипучей повозке, запряженной сонными яками, влечется с грехом пополам к закату по ухабистым горным тропинкам поднебесного царства Друк-Юла, нелюдимого королевства Бутан, блаженно затерянного в Гималаях... Нет уж, пусть лучше грезится Аннушке то, что ей грезилось нынче вечером, когда она приставляла к сердцу — о Боже! — холодный ствол револьвера... Пусть ей мнится, как мнилось минуту назад, что Малах теперь совсем уже близко, что он уже бродит в изорванной бурке где-нибудь в южных залах дома, выискивая удобный путь на север, к уютной Аннушкиной спальне,— уже крушит сверкающей шашкой трухлявые этажерки и проржавевшие короба, плутая в тех коридорах на западе, которые отличаются, по сведениям Павла Малаховича, злохитренной планировкой и чудовищной захламленностью,— уже ломает тяжелым копьём ту потаённую низкую дверь на востоке, что смотрит в ногайские степи и что к осени зарастает могучим бурьяном. Пусть!.. Но только вовсе не для того она должна рисовать себе эти картины, чтобы в сердце ее очутилась пуля, а для того, чтобы в нем очутилась решимость встретить Малаха в любую минуту,— чтобы Малах, с какой бы коварной внезапностью ни появился бы он перед нею, не застигнул ее врасплох.

Ей надобно встретить Малаха с улыбкой, безмятежно, приветливо, даже ласково — словно нет и не было никогда никакого такого грека, которого она сумасбродно любила; словно нет и не было никогда никакого такого младенца Семушки, с которым ее разлучила судьба. И если бесценная Аннушка сможет встретить Малаха именно так, как теперь ее учит грек, то тогда ее сердце будет готово к тому возвышенному обману, который ей предстоит совершить через какое-то время ради спасения Семушки!..

Через какое-то время пусть она скажет Малаху вот что — что ей было видение. Страшное, страшное было это видение! Ей явились во сне мертвецы. Их было великое множество. И все они были в погонах, в мундирах, в диковинных орденах и лентах. И все кружились, скакали, плясали, хоть не у всех были руки и ноги. И только один среди них не плясал. Он был высокого роста. И одет он был в штатское, в черный сюртук. Но стоял по-военному — эдак навывтяжку. И свою голову он тоже держал по-военному. Гордо и строго держал он голову — в согнутой левой руке, точно форменную фуражку. Когда же Аннушка у него спросила, отчего он не пляшет, как все, то он отвечал ей шепотом, устами своей головы, приблизив ее на ладони к Аннушкиному уху, что пляшут земные воины, которых Малах изрубил на войне. Он же — не воин Земли. Он — воин небесный. Он — ангел-хранитель, приставленный волей Небес к Малаху. «Таков я теперь! — вдруг воскликнул ангел.— Потому что слишком уж злобно рубил твой Малах этих доблестных воинов, слишком уж яростно размахивал он на войне своей шашкой. И однажды... это было в Галиции, на берегу одной маленькой смрадной речки, что носит название Золотая Сосна... Малах скакал на коне вдоль берега. Скакал он неспешно, английской рысью, легко догоняя виляющий во все стороны армейский велосипед, на котором ехал, спасаясь от шашки Малаха, австрийский солдат — юный механик той несчастной и дерзновенной велосипедной роты, что храбро выкатилась из прибрежного леса на хрупких своих, дребезжащих машинах и с ликованием, отвечавшим характеру майского дня,— солнце так и блестело, так и играло в стеклышках круглых очков худощавого командира! — устремилась по склону холма в атаку на конный отряд казаков... Ротный механик — слышишь ли,

Аннушка, — был единственным, кто уцелел после этой зазорной атаки. Но Малах его уже догонял. Малах уже был за его спиной. Я же был за спиной Малаха. И когда Малах с бездумной свирепостью махнул своей шашкой, занеся ее дальше за спину, чтоб срубить с одного удара беззащитную юную голову австрийского веломеханика, то вместе с этой маленькой стриженной головой он срубил и голову своего ангела-хранителя. Обе они — одна зримо, другая незримо — покатались в речку Золотая Сосна. В тот же час на другой реке, на реке, что зовется Мюрц, в городе Мюрццуслаг, высунулась на свет из чрева женщины мягкая влажная голова младенца, уже наполовину осиротевшего, потому что этот младенец был сыном веломеханика, чью голову скрыли от света весенние мутные воды реки Золотая Сосна. При родах скончалась и мать младенца, супруга веломеханика... Так вот, любезная Аннушка, возьми мою голову и подари ее Малаху в память об этой битве на Золотой Сосне!» — сказал ей ангел. Сказал и исчез. И Аннушка проснулась. Но в самый миг пробуждения, когда еще длилась, противоборствуя звукам и образам утренней яви, таинственная власть видения, Аннушка успела расслышать голос. И этот голос, наставительно ласковый и приветливо повелевающий, произнес такие слова: «Не надо брать тебе голову ангела, Аннушка! Она сама собою возвратится на место — на плечи небесного воина, хранящего душу твоего супруга. Но случится это только тогда, когда вы с Малахом Григорьевичем возьмете в свой дом из приюта на Троицкой площади какого-нибудь младенца, какого-нибудь несчастного сироту, такого же одинокого и пригожего, как и тот, что в недобрый час родился в городе Мюрццуслаг!..»

Пусть Аннушка все это расскажет Малаху, учил ее грек. А рассказав, пусть приступит к нему с мольбою — исполнить то, что повелел ей голос. Малах, конечно же, станет ей возражать. Он станет ей говорить, что ему безразлично, чьи головы высовывались на свет из женских чрев и чьи скрывались во тьме речных вод в то время, когда он воевал на Юго-Западном фронте. На войне, скажет он, не бывает живых и убитых, не бывает ярости и милосердия, не бывает мужества и малодушия — на войне существует только война. Малах же рожден для войны. Он — воин. И только война хранит его душу, только война в его душу вселяет светлый и прочный покой, потому что Малах на войне вершит свое дело. А дело его — сражаться, не испытывая к сраженному ни любви, ни презрения: их отсутствие в сердце воина и называется доблестью. Доблесть правит сердцем Малаха, доблестью оно озарено. И доблесть не позволяет Малаху раздумывать о печальных или счастливых судьбах всевозможных солдат и младенцев. А что до ангела-хранителя, явившегося Аннушке, то Малаху и вовсе мало заботы, с головою он или без головы. Так ей скажет Малах.

Но Аннушка пусть стоит на своем, пусть рыдает и умоляет Малаха пощадить ее душу, говоря ему, что мучительное видение взялось навещать ее во всякую ночь. Что с каждой ночью оно — все ужаснее и ужаснее! Что в пляску уже пустился и обезглавленный ангел! Что среди пляшущих уже видела Аннушка и самого Малаха. И что был он о двух головах: одна — его собственная, другая — ангела, та, которую ангел ему подарил!..

«И вот, когда Малах, моя драгоценная Аннушка, уступит твоим мольбам и слезам, возвысившись сердцем над доблестью — ибо выше доблести нежность, ты знаешь! — когда он явится вместе с тобою в сиротский приют, согласившись в угоду неведомой воле, терзающей твою душу тяжкими сновидениями, усыновить какого-нибудь сироту-младенца, выбранного наугад, за дело возьмется смотрительница Фелиция.

Она станет показывать вам разных младенцев. О каждом будет рассказывать понемногу. Покажет она среди прочих и нашего Семушку, затеяв о нем такой вот рассказ: нашли, мол, его как-то раз поутру на пороге приютской сторожки — и весь он дрожал от холода, потому что завернут-то был, горемыка, в одну лишь тоненькую пеленку, а на пеленке той было вышито золотом де-ревце — была вышита золотою ниткой сосна...



— Ах! — вскрикнешь ты, перебив Фелицию.— Вот он, знак нам, Малах Григорьевич... Золотая Сосна!..

Запомни же, Аннушка: Золотая Сосна. Дерево и река. Прощай.

*Прощай, моя незабвенная есаульша! Светлую рану любви будет вечно носить в своем сердце*

*твой Антипатрос».*

## Часть V

### ВРЕМЕНА

Малах вернулся с войны таким образом, что в доме никто не ведал, как и когда это случилось.

Говорили, что он, по всей видимости, вернулся гораздо раньше, нежели его заметил дядюшка Серафим в глубине Кавказской анфилады — в сквозном заостряющемся пространстве тех совершенно пустынных, тянувшихся в сторону Кавказа комнат, которые по какой-то, давно забытой, причине считались непроходимыми («Он эдак, знаете ли, мамаша, показался в далеких дверях и пропал!»); гораздо раньше, чем дядюшка Павел объявил, что в одной из буфетных («которая ближе к югу, маменька, — вы в ней никогда не бывали») он доподлинно видел родителя в толпе приживальщиков, азартно деливших между собою наливки, но из виду его, увы, потом упустил; и даже раньше, чем дядюшке Александру не то примерещилась от бессонных шатаний по дому, вызванных страхом перед утопленницей, мстившей ему по ночам за его отважных сынков-понтонёров, погубленных им опрометчиво в безвестном притоке далекого Тигра, не то повстречалась на самом деле в круговом коридоре, обрамляющем бильярдную комнату, некая проворнейшая фигура, «похожая складом на папенькину».

Предшествовало, говорили, всем этим видениям и наблюдениям сообщение ключника Елизара, который с некоторых пор, как бы в искупление своего непрерывного пьянства, самочинно завел порядок делать Аннушке под воздействием вдохновенной вечерней нетрезвости не в меру пространные и до крайности рассудительные доклады о домашнем хозяйстве, мучившие Аннушку, надо сказать, не меньше, чем его утренние покаянные речи, исполненные похмельного косноязычия.

Явившись однажды с таким докладом, ключник поведал Аннушке среди прочего, что по дому, где-то в восточных залах, бродит вот уж который день, нанося заметную порчу паркету, игреневои масти цибатая лошаденка под кавалерийским седлом; ключник уже испрашивал у Павла Малаховича, чье бедственное обыкновение пренебрегать конной привязью, сооруженной возле парадного входа родителем, известно, быть может, и матушке-есаульше, не ихняя ли это взошла по ступенькам и, направившись в дом, заплутала лошадка, но так как Павел Малахович разгневанно отвечали, что ихняя лошадь каурой масти и что цибатостью она никак не страдает, а, напротив, имеет крепкие ноги и весьма глубокую грудь, то ключник и размышляет теперь: не выпроводить ли ему вон из дома приплудную лошаденку, изловив ее завтра же при содействии кучера, и не объявит ли матушка-есаульша наперед своих приказаний касательно этой возможной поимки, которая, ежели к ней приступить безрассудно, произведет по восточным залам немало разрухи и шума.

О том, что на этой таинственной, неизвестно как очутившейся в доме лошади мог приехать с войны Малах, Аннушка поначалу даже и не подумала, и уж тем более никаких приказаний она не объявила ключнику Елизару, ибо подобные его донесения, неминуемо обретавшие в ее сердце, безразличном к замысловатым частностям, обобщенное и огорчительное заглавие — *О всякого рода хозяйственных неурядицах*, — вызывали в ней такое же пагубное для бойкого духа распорядительности и такое же сложное чувство протестующей уязвленности, растерянности и вины, какое она испытывала, слушая рассказы дядюшки

Павла об ужасающих пыльных бурях на юго-западе дома, будто бы начинающихся там во второй половине мая и ко дню святой Феодосии набирающих такую адскую силу, что вместе с пылью по иным галереям («Вы представляете, маменька!») несутся, подсакаивая и перекатываясь, словно кусты сухого кочина, уже не только воздушные этажерки, но даже грузные тумбы; или о другом, еще более страшном, хотя и не столь уж свирепом бедствии — о празднующихся приживальщиках, которые рассеяны по отдаленным залам и комнатам, внушал ей дядюшка Павел, в совершенно невообразимом, в совершенно дявольском множестве.

— Да вы развели их не меньше тысячи!.. Не меньше, не меньше, душа дорогая! — настаивал он, бывало, нисколько не уступая Аннушке, отвечавшей ему с обидой, что в таком безобразном количестве приживальщики не могут водиться в порядочном доме и что если ей и случилось приютить Христа ради десяток, ну пусть даже дюжину, жалких (она говорила просто *жалких* — ее излюбленное прилагательное лукаво не откликалось здесь на вопрос *каких*; оно удостоивало ответом, притворившись той частью речи, что несет на себе отпечаток некоторой божественной безучастности, только вопрос *кого*, но затрагивавший Аннушкиного отношения к этим прелюбопытным *жалким*... жалким и величавым, осанистым и щедушным, заносчивым и смиренным, неряшливым и опрятным, безропотным и капризным, забавно разнообразным и по-своему живописным существам, к которым она питала явную слабость), — если ей и случилось приютить их десяток-другой, то это вовсе не значит, что она повинна во всех безобразиях, какие творятся в доме; и уж тем более она не повинна в тех *особенных* безобразиях, какие заметны исключительно дядюшке Павлу, которому, может, и доводилось, гуляя по Малахову дому, встречать приживальщиков в удивительном множестве и самого разного вида... Да, но вот ей, — говорила она уже не с обидой, а с каким-то мечтательным сожалением, — ей-то всегда попадает на глаза один только Лавр Селантьевич — «Семушкин Лавруша», как она стала называть впоследствии этого жалкого, который, по ее строгому мнению (в нем выражалась, конечно же, и особого рода снисходительная ревность), «сделался чересчур уж душевным товарищем» дядюшки Семена.

И действительно, Лавр Селантьевич был единственным в доме, кому дядюшка Семен позволял переступать порог своего кабинета в те особенные часы, когда туда допускались («Опускались, сынок, на сверкающих крыльях с блаженных высот Геликона!») лишь дочери Зевса и Мнемозины, то есть тогда, когда дядюшка Семен, одетый в просторный бордовый халат, с листами бумаги в руках разучивал перед высоким наклонным трюмо новую роль, обращая ее слова — чужеродные, своевольные, еще не пойманные в силки его вдохновения — то к Kapoorным часам в углу, то к своему двойнику в мутно-серебряной глубине обветшалого зеркала. Случалось даже, что дядюшка Семен сам, заслышав поблизости голос Лавруши, распахивал дверь кабинета и возглашал:

— Ты здесь, о Лавр, старик убогий! Ты здесь, сорняк моей души! Так почему ж в мои чертоги взойти, несчастный, не спешишь? Иль за мое благоволенье ты спесью уж платить дерзаешь? Его в единое мгновение в опалу превращу — ты знаешь!

На что Лавр Селантьевич откуда-то из соседних залов незамедлительно отвечал:

— Еще настойкой я не вытравил терновой из сердца бесов неумный хор, а сердцу уж грозит бедою новой жестокий и напрасный твой укор!..

Но его ответа, пространного, нескончаемого (это был только зачин), дядюшка Семен уже не слушал. Та ядовито торжественная интонация, которую он тщетно пытался найти, «пробуя», как он выражался, «на зуб», свои монологи и реплики в новой пьесе, вдруг выискивалась сама собою в словах, обращенных к Лавруше, и дядюшка Семен очень быстро, но вместе с тем осторожно, на цыпочках, словно боясь расплескать на ходу эту нечаянно обретенную интонацию, устремлялся в глубь кабинета, к зеркалу. А Лавр Селантьевич тем временем, оставаясь на месте, объяснял с нарастающим воодушевлением, почему он не по-

спешил — и до сих пор еще не спешит — явиться к дядюшке Семену... О! потому что злобноголовые бесы, поселившиеся в его сердце, оказывается, не так чувствительны к настройке терновой, как к померанцевой светлой, и теперь он их травит померанцевой светлой; потому что его измучила трижды проклятая подагра — «ее страшнее лишь твой гнев, питомец гордый геликонских дев»; потому что Аннушка куда-то спрятала от него анисовую водку, которая разом спасла бы Лавра Селантьевича и от бесов, и от подагры, и даже, быть может, дала ему крылья, и тогда бы он полетел на крыльях к дядюшке Семену...

— Дойдете и так, — вставляла Аннушка.

Она проявляла к Лавру Селантьевичу, надо сказать, чересчур уж заметное недружелюбие с той поры, как взяла себе в голову, что именно он, Лавруша, старозаветный трагик с царственным басом, чинно попивавший весь век в буфетной и всегда говоривший стихами («О любых пустяках!» — вздыхала она), пристрастил к лицедейству Семушку. Порой она утверждала даже, что Лавруша и в доме-то как на грех появился, сделавшись жалким, как раз в то самое время, когда дядюшка Семен, только что научившийся ходить, жадно впитывал ликующим младенческим разумом всякий образ и всякий звук.

— Вот тогда-то Лавруша и прилепился к его нежному разуму, точно репей к бархоточке, — рассуждала она.

И напрасно иные из дядюшек пытались ей возразить, говоря, что Лавруша таким же манером мог прилепиться, пожалуй, и к младенческому разуму Никиты Малаховича, а заодно уж и Мокея Малаховича, родившегося тотчас же вслед за Никитой, или любого другого дядюшки, хоть и самого старшего. Да, напрасно дядюшка Павел указывал ей на снимок светлой работы Фридриха Зойтера, где пасутся в уютном ущелье под могучими кронами кряжистых вязов пышно-рунные овцы и бокастые козы, где свергаются слева и справа со скал струи блестящих водопадов, где блаженно танцуют, ступая по озеру, тонконогие девы наяды, где кудлатые фавны в лозовых венках возлежат на ветвях необхватного дуба, где, подпрыгнув, летит с запрокинутой головой над лохматым кустом тамарикса конехвостый довольный сатир, изловивший поблизости, в буковой роще, опрометчивую альсеиду, и где, наконец, Лавруша, сидящий на гипсовом валуне, живописно обряженный в шкуру, изображает Пана, а Аннушкин первенец — пастушка, играющего ему на дудочке, из чего, разумеется, следует, что Лавруша знал еще дядюшку Порфирия во дни его отрочества и что, стало быть, приживал этот жалкий в доме с неисследимых времен — с тех времен, которые сама Аннушка называла *зойтеровскими*.

Впрочем, к зойтеровским безначальным временам, откуда были родом Малах и Аннушка, старший их сын да приживальщик Лавруша, ну и, конечно же, светописец Зойтер, Аннушка силой, или, лучше сказать, торжествующей слабостью, своей памяти могла присоединить любое, наделенное собственным духом и собственной же природой время. Даже то время на исходе великой борьбы народов, когда бедный дядюшка Семен находился в сиротском приюте под присмотром лживой и грешной Фелиции, время, которое многим его обитателям, во всяком случае, старшим дядюшкам, запомнилось как время волнительное, тревожное, время отдельно взятое, со своей особенной, чрезмерной текучестью, — это время не обнаруживало ни малейших признаков болезненной обособленности в угасающей памяти Аннушки, примыкая там к неподвижным и необъятным, бездонным зойтеровским временам, столь же любезным Аннушкиному сердцу, сколь и сам светописец Зойтер, извечно снимающий стереоскопической камерой Людвиг Мозера в глубине этих волшебных времен, подобных, быть может, неистощимому свету, распространяющихся, словно свет, во все стороны от затерянного в бесконечности солнца — крохотного павильона со стеклянной купольной крышей на углу Песчаной и Комитетской, где окрыленный Зойтер, повинувшись своей привередливой музе, то и дело меняет ландшафты и виды, рисованные на экранах и ширмах из альбуминной бумаги, и где не меняется более ничего.

И все ж таки время, о котором идет теперь речь, какими бы свойствами оно ни обладало — неумной текучестью, буйной стремительностью или некой за-

вораживающей, безмятежной застылостью, родственной той, что за минуту до съемки вдруг поселялась, предвещая припадок лютого вдохновения, в ясных глазах светописца Зойтера, — следовало бы называть справедливо ради *временем заточения дядюшки Семена в сиротском приюте*, или же попросту *сиротским временем*, как и называл его дядюшка Семен, полагавший, что зойтеровские времена имели к сиротскому времени лишь то отношение, что Фридрих Карлович Зойтер, уже давно не снимавший (его фотографический павильон еще до русско-японской войны отсудило у него за долги Общество взаимных кредитов, куражливо учредившее там оранжерею, вскоре дотла сгоревшую), часто навещал в это время Аннушку, угощая ее беседами о том о сем, главным же образом о положении дел «на всемирный тьятор военный действий», и мало-помалу превращаясь в жалкого под воздействием Аннушкиного благорасположения и под влиянием своего старого знакомого Лавруши, который сначала привадил его к буфетной, приохотил к крепким настойкам, к водке, потом показал ему кое-какие пространства на юго-востоке Малахова дома («малообжитые, сынок, но очень покойные»), где Фридрих Карлович постепенно обосновался и где, собственно говоря, во все времена обитали, по уверениям дядюшки Павла, «исключительно немцы».

Ему-то, Зойтеру, и случилось — месяца полтора спустя после того, как Аннушка рассказала ему об удивительном наблюдении ключника, — ясно припомнить, что точно такую лошадь, какую ей описал в докладе Елизар Афанасьевич, подарил Малаху в четырнадцатом году на святки князь Черкесов, у которого Зойтер, разорившись «до самый-самый копейка», в тот год служил сторожем.

— Я думаю, Анна Андреевна, что ваш супруг уже возфрашайся!

Так сказал Аннушке — поразмыслив — в некую минуту сиротского времени обнищавший светописец ее души. И душа ее вздрогнула; припав к груди Фридриха Карловича, Аннушка зарыдала — от отчаяния, от страха, от жалости к себе и к Семушке. И с этой минуты сиротское время, которому зойтеровские времена поначалу, быть может, и в самом деле сообщали некоторую величественную замедленность, касаясь его своим лучезарным краем, потекло иначе.

Быстрее и тревожнее, словно оно только того и ждало, что светописец Зойтер разгадает тайну прибудной лошади, потекло сиротское время.

Не успела зародиться в сердце Аннушки утешительная надежда, что Фридрих Карлович ошибается, как бессмертный попался на глаза сначала дядюшке Александру неподалеку от бильярдной, потом дядюшке Павлу в малоизвестной буфетной, затем дядюшке Серафиму в Кавказской анфиладе непроходимых комнат.

А вскоре Малаха увидела и сама Аннушка.

Разыскивая Фридриха Карловича, который уже несколько недель не появлялся на севере дома и о котором среди приживальщиков ходили дурные слухи, будто он жестоко простудился и слег, Аннушка впервые в жизни и в полном одиночестве (Лавруша, сопровождавший ее, очень скоро отстал, громогласно проклиная подагру) удалилась на значительное расстояние от обжитых северных пространств. Она шла в южном направлении, по широкому, со сводчатым потолком коридору вдоль Кавказской анфилады, которая, как считалось, делила дом на две равные части — ногайскую и таврическую. Она шла по ногайской — восточной — половине дома, собираясь свернуть по совету Лавруши на восток там, где Кавказская анфилада делала вместе с этим примыкающим к ней коридором несколько излучин, совершенно необъяснимых, ибо точно такой же — широкий, со сводчатым потолком — параллельный коридор, тянувшийся по таврической стороне и имевший на всем своем протяжении, как и ногайский его близнец, общую с Кавказской анфиладой стену, ни малейших изгибов нигде не обнаруживал.

Дойдя до этого места, до этих призрачных нагайских излучин, Аннушка почувствовала сильное головокружение. Сколько времени оно длилось — минуту,

час или два,— Аннушка не в состоянии была понять. Ей помнилось только, что она ни на мгновение не останавливалась; она продолжала идти, но шла уже не по коридору, а через цепь небольших вытянутых залов с высокими распахнутыми дверями. В какой-то миг она подумала, что это, быть может, и есть Кавказская анфилада, в которую она нечаянно попала, свернув из коридора, где изредка и беспорядочно появлялись обширные арочные проемы и слева, и справа, не на восток, а на запад. Однако Кавказская анфилада всегда была пустынной. Эти же залы были далеко не пустынными. Мало того, они, казалось, только для того и существовали, чтоб приводить в растерянность или в ужас всякого очутившегося в них путника, хотя в каждом из них по отдельности не было ничего пугающего, ничего необычного и даже ничего такого, чего бы Аннушка не видела в других комнатах Малахова дома. Оружие на стенах, припорошенное, правда, ржавчиной, а то и совершенно истлевшее, каковым был огромный двуручный меч, осыпавшийся на оттоманку, но оставивший на запыленной стене свои очертания, рельефный глобус, приземистые бюро, высокие шкафы с резьбой — все это напоминало Аннушке кабинет дядюшки Павла. Но в каждом следующем зале было то же самое, что и в каждом предыдущем; на тех же самых местах. Та же оттоманка, тот же глобус, тот же осыпавшийся меч. Залы были не просто похожими друг на друга; они были абсолютно одинаковыми, столь одинаковыми, что Аннушка, переходя все быстрее и быстрее из зала в зал, только прочнее и безнадежнее ощущала собственную неподвижность. В отчаянии она разворачивалась и бежала назад, но от этого ничего не менялось: чувство, что она находится в одном и том же зале, не покидало ее, и она снова разворачивалась и, набравшись решимости, двигалась в первоначальном направлении. Она успела проделать это столько раз, что уже не знала, в каком именно направлении она движется, когда в окружающей ее обстановке начали происходить заметные изменения.

Не утрачивая своей вытянутой формы и анфиладного порядка, залы сделались гораздо просторнее. В них стало появляться все больше и больше раскошей мебели, растрескавшихся стен, неприхотливой, скудной растительности и той лютой, поднимающей на воздух этажерки и стулья, буйно клубящейся паутины, которая давала понять — и Аннушка это вскоре поняла, припомнив рассказы дядюшки Павла,— что близятся южные окраины дома. Через некоторое время ее взору открылся зал до того обширный, что Аннушке стало ясно — она никогда не достигнет не только его противоположной стены, но даже того увенчанного каменной Бабой кургана, который виднелся вдали. Во всяком случае, ей показалось, что арочный проем, который она заметила в стене по правую руку, значительно ближе. Добравшись до этого арочного проема и пройдя сквозь него, она обнаружила, что он вывел ее в коридор. И это был по всем приметам тот самый — прямой — Таврический коридор, который в отличие от Ногайского не таил в себе никаких коварств. Осмотревшись и успокоившись, она решила вернуться на север, сожалея, что ей не удалось отыскать Фридриха Карловича. Она уже сделала несколько шагов, как вдруг из арочного проема, что был в западной стене коридора, до нее донесся бой часов, невозможный в этих краях, ибо ключник даже на севере дома заводил далеко не всякие часы, а только те, которые, по его разумению, могли подвернуться Аннушке на глаза. Поборов страх, она свернула в эту арку, быстро миновала несколько небольших комнат и, распахнув полуприкрытые створки массивных дверей, очутилась в сумрачной, местами поросшей бурьяном и кустами колючего дрека диванной, где еще продолжали отбивать, перемежая бой шипением дряхлого механизма, напольные часы. Минуту-другую она, как ей помнилось, заворожено смотрела на их белесый циферблат, который, казался, висел прямо в воздухе, точно луна. Когда же из сумрака, разрушая это дивное и нестойкое зрелище, стал мало-помалу проступать высокий корпус часов с круглым маятником, качавшимся за треснувшим стеклом, Аннушка отвела взгляд в сторону и обмерла: в нескольких шагах от нее в покосившемся кресле сидел, смущая своим бесцельным присутствием выжидательно-неподвижных ящериц, бессмертный. Да! она не могла ошибиться — она

ясно видела его лицо, видела его застывшие, глубоко утопленные глаза, не выражавшие ничего — ни уныния, ни радости, ни любви, ни угрозы. И, прежде чем она выскочила в Таврический коридор, по которому, не помня себя, бежала и бежала на север, чтобы там, в своей спальне, забыться бесчувственным сном, она успела расслышать слова, произнесенные бессмертным.

— Я скоро приду к тебе, Анна Андреевна. И тогда ты расскажешь мне все свои сны... И об этой вот голове,— сказал Малах, поднимая с пола небольшую юную голову в австрийском военном картузе,— и о тех головах,— добавил он, поворачиваясь,— которые...

Впрочем, этого добавления Аннушка уже не слышала.

## ЭПИЛОГ

Через четыре месяца после этой памятной встречи все исполнилось так, как и замыслил грек.

Ценою обмана Семушку вызволили из сиротского приюта, и он стал сыном Малаха, оставаясь сыном вдохновенного грека. И более повествователю ничего не известно... О, конечно, конечно! ему хотелось бы знать очень многое; ему хотелось бы знать, апостолы милосердные, что означали слова Малаха, сказанные им в диванной на юге дома, и на самом ли деле Аннушка там побывала или ей привиделось ее путешествие... ах, как хотелось бы знать это повествователю! Но кто ему скажет теперь об этом? Кто перенесет его теперь отсюда, из затерянного царства Друк-Юла, из тесного королевства Бутан, с берегов быстроводной Чинчу в южнорусские степи и в те времена, что проплыли над ними? Ты ли, безжалостный Кронос, ты ли, неумолимый Кала? Или вы, светописцы, приручившие простодушно... время?.. Увы, не время — только призрак мгновения, тленный призрак некоего избранного мгновения, драгоценно сверкающего нерушимым бриллиантом в оправе богоустроенной вечности, или — как сказала бы ты, моя незабвенная Аннушка —

*в золоте зойтеровских времен.*



## Полет пчелы

\* \* \*

Пропой, синица, два колена  
про жизнь без плена, жизнь без плена,  
вспорхни и прозвени, артист,  
про царство семени и снега,  
в котором альфа и омега —  
полет и свист, полет и свист.

### *Земля*

*Эрколе Монти*

Это черное — это земля:  
это серое, это цветное,  
эта магма, истекшая для  
мышц Адама, и слякоть при Ное.  
Чтобы вырыть ее, и разгрызть  
сердце ей, и исторгнуть молитву  
из ядра, опускается кисть  
на пейзаж ее, как на палитру.

В миг, когда ее тяжесть и зной  
проступают, как сырость, на кисти,  
полнота обладанья на ноль  
замыкается властно в артисте:  
то есть зелень распада, и ржа  
созреванья, и платина клина  
ржи, и плужного ртути рубежа  
суть румяная в тюбике глина.

И тогда ей хватает пятна,  
чтоб для семени крышей, и чашей  
стать для влаги; и пластырем на  
кровь; и кровью и родиной нашей —  
на которую сеется с глаз  
невесомого зрения дождик —  
ровно в меру того, как для нас  
в холст ее же втирает художник.

\* \* \*

Из миниатюрной глыбы  
на полметра бьет струя.  
У фонтана, рот, как рыбы  
распуская, дремлет я.

Нежит чашу рыба стая  
шевеленьем плавников,  
дремлет рыба золотая  
в оперенье облаков.

Скоро два тысячелетья,  
как Юпитер милосерд  
к их идиллии — на третье  
ждет компанию десерт:

я, присевшему к фонтану, —  
залетейская уха,  
ускользнувшему сазану —  
я седого потроха,

а упертой в камень мшистый  
вопрошающей струе —  
восклицанье в форме чистой,  
в чистом виде бытие.

\* \* \*

*Елене*

Хочешь, можно и в Риме жить, как не в Риме,  
а, положим, в Крыму или в той же Риге —  
жарить рыбу, гнать за окно тоску.  
Надо для этого только быть нелюбимым  
целой планетой и особенно Римом.  
Ты-то любим? Я-то да — но рискну.

Первое — зрительному не поддамся зуду.  
Разморозю треску, перемою посуду;  
в лавке куплю батарейку к часам;  
в ларьке газетном взгляну, как там Рома — Парма,  
вничью? И даже если флюиды шарма  
вдохну — то по собственной воле, сам.

Шарм, я имею в виду, валянья на койке  
или езды в зоосад с вокзала на «тройке».  
А почему, вы спросите, в зоосад?  
Да просто там ни истории нет, ни римлян —  
а вокзал демонстрирует, что лишь искривлен,  
но не закрыт путь чужаку назад.

В принципе, и вздремнуть на скамейке в парке  
можно; и в церкви уставиться на огарки;  
можно и на себя в стеклах витрин —  
с тем, чтоб признать, что эти морщины, руины,  
хочешь не хочешь, в холмы посреди равнины  
встраиваются — и проступает Рим.



### *Ночная паника*

Да, да, да, да: то, на что ты так дико смотришь,—  
ночь, ночь, какая-то из мириад утроб,  
ты в ней не то зародыш, не то заморыш,  
и негатив твоей спальни — что делать! — гроб.

Помнишь: в черном-черном лесу черный-черный  
дом, в нем черная-черная комната, в ней  
черный стол, и на нем, в ночь облаченный,  
ты. Но тогда не ночей было больше, а дней.

И все же не думай, что дело непоправимо:  
дотянешь до света, и превратится в дым  
отстойник костной смолы и дневного грима.  
Ты не пропащий — ты просто лежишь один.

### *Общая теория пчелы*

Пчела садится на цветок,  
вонзает в завязь хоботок,  
целует пест. Цветок пылает.  
Пчела пускается в полет,  
античный срыгивает мед —  
и луг, меж делом, опыляет.

Полет пчелы не так уклюж,  
как ливня по зеркалу луж  
пробег, как клин пернатых странниц,  
как пламя, как эскадра туч,—  
он рван, он ровен. Но певуч.  
Он здесь — и нет его. Он — танец.

На север жало, лоб на юг,  
на запад и восток вертлюг  
нацелен крыльев: это компас  
и крест — как, скажем, Южный Крест,  
как Космос сам — откуда треск  
ее улавливает корпус.

Полет тяжел — как по шитью  
стежки, которые дитю  
доверили, чтобы дорогу  
нашло назад, пока в раструб  
цветка свой польй вводит круп  
пчела, как эмбрион в утробу.

Ее знобит. Слабеет зной.  
Цветок нисходит в перегной,  
в суглинок, в слякоть, в глину, в уголь.  
О, лимб растений — торф и пар!  
Пчела же, в брошку и футляр  
истлев, к нулю приводит убыль.

Итак, да здравствует пчела!  
Она, как барышня, мила —

из горничных, из бесприданниц.  
 В ее полете — трудный ритм:  
 им запечатан сот, как Рим;  
 им собран рой, как дым. Он — танец.

\* \* \*

Чтоб мотыльки ресниц, и просто мотыльки,  
 и стайка струн и флейт, ни весело, ни скорбно  
 вспорхнувших, и сирень,дохнувшая «не лги»  
 трепещущему рту и перехвату горла,

чтобы тебя, полип, чтоб, чувственная слизь,  
 они тебя, комок, замес слюны и пыли,  
 тебя, почти никто, тебя, почти не жизнь,  
 чтобы тебя, почти не вещество, любили,

попробуй сам любить — не просто не обидь,  
 а непонятно как, в немислимом усилье,  
 без радости, без слов, попробуй их любить,  
 бессмысленных, тебе чужих, сложивших крылья.

### *Красное лето*

*Ох, лето красное!  
 Пушкин*

Слушайте комиссара с хоботом микрофона,  
 в галифе махаона, в стрекозином пенсне  
 и не ругайтесь: «Вона крови-то попил! Вона  
 пузо отъел какое на народе, на мне!»

Верь не жуку, а звуку: насекомое «сирин»  
 низко гудит о Боге, а мотылек «плейбой»  
 виснет в зное, как что-то просто красное с синим,  
 но не пигмент, а дребезг, лом, фарфоровый бой.

Их граненные очи, крылышек соль и призма,  
 как камья прозрачных, как заря и луна,  
 предвозвещают краткость дней тоталитаризма,  
 пир заката, который от себя без ума.

Ночью они осыпят звездочки и полоски  
 на алтари советских огненноглазых сов —  
 и отольются наши гемоглобин и слезки  
 им, чью державу в вечность ветер снесет, как сор.

Дуй мне в уши, природа! Веки мне поднимите!  
 Сыгранный на гребенке воздух лишился жал,  
 сопровождавших музыку жженьем,— я не в обиде:  
 каждый, кто делал больно, прежде того жужжал.

Все отдам за звучанье, то есть звон и молчанье,  
 равные шуму крови, грандиознее слов  
 (уходящих речами в пустоту за плечами) —  
 пенье с хорами болей, но без оркестра злоб.

\* \* \*

Женско-мужской лубок —  
дух с грехом пополам:  
«голубь» — твердит Адам,  
Ева шепчет — «любовь».

Полное пустоты,  
слово находит вещь,  
лишь когда его ты,  
женщина, вводишь в речь.

Птицу стирает высь,  
но остается здесь  
дрожь на губах, и слизь  
зренья, и счастья резь.

Точки жадных зрачков,  
хрупких бровей тире —  
азбуки Морзе шов,  
зов в звуковой дыре.

То есть, даже шепча,  
даже когда молчишь:  
— «Вещь — это нежность чья?» —  
— «Наша». — «И сны?» — «А чьи ж!»

Ты, что внушила звать  
мне тебя, мою тень,  
«жизнью», — остынь, присядь:  
ищет само мишень,

голубем пронесено,  
то, что звалось людьми  
«песня» или «письмо»,  
сквозь молоко любви.

### *Софье четыре с половиной*

Давай пойдем погулять, а чтобы назад,  
не заблудившись, вернуться, точнее прицелься  
словами в вещи, но не спеши назвать  
бабочку золушкой — что как она принцесса?

Решай, то коза звенит или блеет комар, —  
имей в виду: то, что делается на пробу,  
это навеки. Я, например, захромал,  
потому что устал — а думал, ишу дорогу.

Давай, ты будешь журавль, я буду жираф —  
высокий, пока на лазурь ты не сменишь глину;  
или, давай, ты море, а я корабль,  
гонящий волну параллельно птичьему клину.

Короче, ты будешь что-то, что лишь бегом  
передвигалось в веках при рабынях и боннах, —  
что-то, чье имя, дающееся испокон  
времени, принадлежало и мне, Ребенок.

*Колыбельная*

Муха спит на потолке,  
рыба спит на плавнике,  
птица дремлет под крылом,  
пес под письменным столом.

В центре неба спит звезда,  
спит толпа туда-сюда,  
поезд спит на всем ходу,  
спит пчела в своем меду.

Спит овца с волчицей врозь —  
вместе плохо им спалось,  
спит зима белым-бела,  
вся земля в постель легла.

Всех на свете клонит в сон,  
спит на кафедре Джон Донн,  
спят в церквах колокола,  
спи, Джон Донн, твоя взяла.

Спи, Владимир Соловьев,  
на перине мудрых слов,  
больше их не тронь, не трать  
на Софию, дай ей спать.

Спи, София — Соня, спи.  
Перед сном сходи пипи,  
в теплоту и мякоть ляг,  
как лягушка и хомяк.

Слышит Бог твой сонный вздох,  
сосчитай теперь до трех,  
спи, как снег, трава и мышь —  
тихо, тихо. Вот и спишь.



## Влюбленный

**Е**ще ребенком, засыпая, я часто пытался уловить приход сна. И всегда граница между явью и сном как-то незаметно ускользала. Проснувшись, я не мог вспомнить, в какой именно момент щелкнул выключатель и погасил реальность. Мне вспоминалось стадо баранов, которых я нарочно пересчитывал вслух, но, на каком барашке меня сморил сон, оставалось тайной.

Именно в тот самый момент, который ты подстерегаешь, мысли расплываются, теряют форму, точно кто-то убирает внутренний магнит, удерживающий все в определенном порядке. Ты перестаешь думать о конкретном, последний баран в твоей голове превращается в бесформенное облако, и ты проваливаешься в небытие, в пустоту, в вечность. Утром кто-то невидимый взмахивает волшебной палочкой, магнит возвращается, мир из осколков собирается в целое. Ты открываешь глаза и радуешься новому дню.

А если волшебная палочка не разбудит тебя?

Я часто задумываюсь о смерти. И не потому, что боюсь или чувствую ее приближение. Я здоров и хотел бы «протянуть» по меньшей мере еще пару десятков лет. Мысли о смерти заботят меня в той же мере, как режиссера — кульминация его произведения.

По молодости человек придает непомерное значение мелочам, как будто смотрит на все через увеличительное стекло, но с годами реальные встряски и происшествия вынуждают его смотреть на вещи иначе. Появляется внутренняя масштабная линейка. Конечно, помимо смерти, в жизни есть еще одно равновеликое, ключевое событие — это рождение. Но сегодня я отдаю предпочтение не началу, а концу, смерти — последнему форпосту сознания, последней черте.

Моя бабушка, будучи сорокалетней, приготовила самый дорогой, самый красивый наряд, чтобы лечь в нем в гроб. Я знаю людей, которые тщательно составляют завещание, стараясь возыметь силу после смерти. Видел грешников, которые годами вымаливали у Господа прощения. Встречал жизнелюбцев, безраздельно увлеченных делами. Знал пьяниц, заливавших горе вином. Отношений к смерти великое множество. Люди примеряются к неизбежному концу — каждый по-своему.

Эта книга — освоение финала, мой подступ к нему.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

До пяти лет я жил у бабушки в Скалеватке, в небольшой хате-мазанке, имевшей три крохотных оконца. Маму видел очень редко, она учительствовала где-то очень далеко, так как в ближайших селах школ не было.

Первое впечатление детства: я вцепляюсь в кукурузный початок, повисаю на нем всем телом, пока он с хрустом не отваливается.

Как я узнал потом, это было в голодное время. Меня, четырехлетнего, от-

правляли приворовывать в колхозное поле. Единственного кормильца семьи, дедушку Антона, по наговору соседки посадили за решетку, так что в доме оставалась одна бабушка с детьми и внуком. Воровской технике меня обучила тетя Маруся, которой было тогда одиннадцать лет, она была моим лучшим другом, моей матерью и моим наставником.

Образ отца был окутан тайной.

Как-то мама сказала, что он был партизаном и погиб. Но сказала как-то мимоходом, вскользь. Когда я стал допытываться, что и как, она перевела разговор на другое.

Со временем интерес к памяти отца выветрился. Нет отца, ну и ладно. Не у меня одного...

Сколько я себя помню, у нас всегда были проблемы с деньгами. В Днепропетровске, куда мы переехали в 1949 году, мама устроилась в городском пионерском лагере пионервожатой и получала мизерную зарплату. Мы едва сводили концы с концами. Сняли угол у чужих людей. За небольшую сумму нам предоставили убогий ночлег. Не комнату, а кровать в дальнем углу.

— С десяти вечера до семи утра,— предупредили нас.— Не вздумайте приходить раньше. И чтобы после семи вас не было. Понятно?

— Конечно,— согласилась мама.— С десяти вечера до семи утра. Спасибо!

Не зажигая света, мы пробирались между спящими к своей скрипучей кровати, а утром чуть свет убирались вон.

К сентябрю 1950 года в районе Нижнего поселка была открыта средняя школа № 34. Трехэтажное, с огромными окнами здание школы было построено пленными немцами и расположено между автозаводом (так именовали секретный военный завод) и гигантским оврагом. Мама получила в новой школе постоянную работу. Она преподавала украинский язык и литературу, а также работала старшей пионервожатой. Это была самая счастливая пора ее жизни.

Однако счастье длилось недолго. В 1951 году в 29 лет у нее нашли туберкулез легких и категорически запретили общение с детьми. Она вынуждена была оставить дневную школу и устроиться в вечернюю, для взрослых. Большого удара, чем этот, она еще не получала. Ее любовь к детям была страстной, всепоглощающей. Но болезнь оказалась сильнее. Никогда больше мама не вернулась в класс, к детям. Призвание жизни так и осталось нереализованным.

Неожиданно у меня появился второй папа. Куда бы мы ни шли — в кино ли, в парк или в столовую,— нас сопровождал какой-то дядя, которого мама называла Петр Степанович. Он был учителем математики, всегда ходил с непокрытой головой и хромал на левую ногу. И еще у него были голубые глаза. Вначале он показался мне злым, но мама объяснила, что Петр Степанович из-за своей природной хромоты в детстве перенес много насмешек и несправедливости. И что добрее человека она еще не знала. Может быть, к маме он и был добр, но мне никогда не улыбался.

На какое-то время с помощью Петра Степановича мы улучшили свои жилищные условия: ночную коечку в чужом углу сменили на крохотный сарай. Это было уже что-то! Мы не знали, правда, как будем зимовать в этом сарае, но зато у него была настоящая дверь и она запиралась!

Туберкулез легких подтачивал здоровье мамы, она еще больше похудела и стала похожа на скелет. Теперь ей не разрешали преподавать даже в вечерней школе, боясь, что туберкулезная палочка может остаться на кусочке мела, или на тетрадке, или в воздухе. Между тем мало кого беспокоило здоровье сына, который постоянно находился рядом с ней.

И вот маму отвезли в больницу. Она оставалась там долго, нескончаемо долго. Петр Степанович куда-то уехал, и я остался в сарае один.

Впоследствии я узнал, что в дополнение к туберкулезу у мамы тогда была и внематочная беременность. Новый папа хотел ребенка. Но куда Петр Степанович уехал и почему — оставалось тайной. Может, он обиделся на маму? Может, разлюбил? Не знаю. Да это меня и не заботило. Даже лучше, что его нет: меньше придирок.

Меня определили в детский дом, расположенный в центре города Новомосковска, недалеко от реки Самары (приток Днепра). Когда-то до войны мама училась там в педагогическом училище.

Была зима.

В Новомосковск, находившийся в пяти часах езды от Днепропетровска, меня доставил посторонний человек, чей-то родитель. Сдал с рук на руки и удалился.

Ночная дежурная, снабдив меня кальсонами и маечкой, проводила в палату и показала кровать. Дети, а их в палате было около тридцати, притворились спящими и, как только дежурная ушла, закидали меня подушками, вырвали из моих рук фибровый чеходанчик, вытряхнули содержимое наружу.

Я не знал, что делать. Когда дети немного поостыли, я подобрал с пола свой скарб и лег с ним в кровать.

Неожиданно приехала мама.

Я вывернулся из ее объятий и убежал за кочегарку, чтобы ребята не видели.

— Сыночек,— сказала мама,— ты не рад, что я приехала?

Я промолчал.

Мама стала приглаживать мои растрепавшиеся волосы.

— Ты рад, сыночек, я знаю, ты рад,— говорила она.— Просто ты отвык от меня. Восемь месяцев — это большой срок.

Я никак не мог взять в толк: почему мама не умерла? Ведь у нее уже было серое, как земля, лицо. И все кругом говорили, что мама умрет, и жалели меня. А она взяла и не умерла.

— Я тебя скоро заберу,— вздохнув, сказала мама.— Ты знаешь, Надежда Гавриловна ходатайствует перед автозаводом, чтобы нам выделили комнату. Представляешь, сыночек, какое счастье, если у нас будет своя комната?!

Мама забрала меня из детского дома в конце 1954 года.

К концу десятого класса у меня не оставалось никаких сомнений относительно выбора профессии.

Единственным институтом, готовившим киноартистов, был Всесоюзный государственный институт кинематографии. В Москве находились еще и театральные учебные заведения, но они были *театральные*, так что меня больше тянуло во ВГИК, который заканчивали Бондарчук, Мордюкова, Рыбников...

Мама не оспаривала мое решение. Чтобы занять денег, ей пришлось обойти всех своих знакомых и друзей, и к июлю 1960 года она радостно протянула мне конверт:

— Двести рублей. Я думаю, хватит.

Не буду останавливаться на вступительных экзаменах, скажу лишь, что главным экзаменатором был Сергей Аполлинарьевич Герасимов, но курс он набирал не для себя, а для Юлия Райзмана, который летом был занят на съемках. К моему удивлению, я был принят.

Когда студентов первого курса собрали вместе, я обнаружил, что среди нас не было красавцев и красавиц. Наш курс состоял из семнадцати подростков провинциального вида, неброской наружности, невысокого роста и небогатого достатка. Возможно, престижному, элитарному институту, каким был ВГИК, партийные органы вменили в обязанность подбирать людей из народа, ничем не приметных, но и ничем не испорченных. Из Москвы была зачислена лишь скромная Наташа Величко, выделявшаяся своим музыкальным образованием. Я был самым молодым на курсе, самому «старому» же было 23 года.

Во ВГИКе той поры можно было четко выделить две категории студентов. Одна представляла собой элиту — туда входили дети известных деятелей культуры и науки. Другая категория была колхозно-пролетарская.

К элитарной группе тех лет относились Андрей Тарковский и Андрон Михалков-Кончаловский, ко второй — Василий Шукшин и Николай Губенко. Конечно, со временем все они стали гордостью нашего искусства и не разделялись на дворян и плебеев, но в те годы Василий Шукшин ходил на занятия в сапогах и военной гимнастерке, а Кончаловский — в американских джинсах. Шукшин пил горькую и хлебал пустые щи, а Кончаловский играл Брамса и освежал лицо французским одеколоном.

В 1961 году М. Хуциев пригласил меня сыграть студента в прологе фильма «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»). Съемки заняли всего один день, но Марлен Мартынович до сих пор уверен, что именно он «открыл» меня. Символично — да, это была моя первая киносъемка, но практически разглядеть на экране моего студента можно лишь при очень-очень большом желании. К тому же в титрах я значился, как «Р. Нагопятов», попробуй-ка разыщи такого.

На одном из наших актерских экзаменов присутствовал Василий Шукшин. На следующий день со студии Горького раздался звонок:

— Василий Макарович без проб утвердил вас на роль инженера Гены в фильме «Живет такой парень». Вам надо явиться на студию, познакомиться с группой, сделать фото, примерить костюм.

Фотографировал меня главный оператор фильма Валерий Гинзбург.

— Смотрите в камеру! — сказал он.

Я посмотрел. Щелк.

Гинзбург подвинул камеру еще ближе. Щелк.

— Так, еще разок! Смотрите, пожалуйста, на меня. Прекрасно!

Щелк. Щелк.

Через пару дней меня вызвал Шукшин:

— Ты что, косой, что ли?

Я смутился.

— Ну-ка посмотри сюда... — попросил Шукшин. — А теперь сюда.

Я заволновался, переводя взгляд из стороны в сторону.

— Так, позовите-ка Гинзбурга! — крикнул кому-то Шукшин.

Пока искали Гинзбурга, Шукшин протянул мне несколько фотографий с моей физиономией. Я не узнал себя. Я определенно страдал косоглазием.

Меня прошиб пот. Я понял, что сейчас меня забракуают.

Шукшин рассмеялся:

— Ну и напугал же меня Гинзбург! Прибегает и говорит: артист-то наш косит! И вручает мне эти снимки. А кто виноват? Наверное, камеру близко к носу поставил? Вот смотри сюда. — Шукшин начал приближать свой палец к моей переносице. — Ну, конечно же, ешь твою вошь! Тут любой закосит! Иди на примерку костюма, все в порядке.

Роль инженера Гены была моим первым и настоящим боевым крещением. Шел 1963 год. Мне было девятнадцать.

В те дни я знал о Шукшине немного. Видел в «Двух Федорах», прочитал написанный им сценарий «Живет такой парень» и слышал от моей сокурсницы Лиды Александровой, игравшей в фильме главную роль, что Шукшин влюблен в нее и замучил своей ревностью.

Лида была русская красавица. Статная, с большими голубыми глазами и очень своенравная. Несколько раз она пряталась от разбушевавшегося Васи в нашей комнате.

— Опять? — смеялись мы. — С ножом?



— Нет! — задыхаясь, отвечала Лида. — Но он и кулаком пришибить может. Отдышавшись, Лида делилась подробностями:

— Увидел меня с Джабаром (негром). Затолкал в комнату и давай распалтаться. Осточертело! Пьяный черт!

— Лида, — сказал я, — ты же сама его мучаешь.

— Интересно, кто кого мучает! Вы не знаете, а защищаете.

Когда Лида ушла, кто-то из ребят сказал, что Шукшин по пьянке так ее однажды отлупил, что она после этого никогда уже рожать не сможет.

— Вот она и мстит, играет на нервах.

— Да она сука. С неграми таскается. Я б ей тоже по морде съездил.

Не думаю, что все, что болтали ребята, правда. Но напряжение между Лидой Александровой и Шукшиным определено было.

— Это займет пару часов, не больше... — сказал ассистент.

— А что я должен буду делать?

— У вас будет проба грима. Донской хочет попробовать вас на роль Ленина.

— На роль кого? — У меня учащено забилось сердце. — Но ведь я совсем не похож на Ленина!

— Если честно, мы тоже так считаем, однако...

Однако актерские пробы прошли успешно, и я был утвержден на роль юного (16), молодого (25) и зрелого (47) Владимира Ильича Ленина в фильмах Марка Донского «Сердце матери» и «Верность матери». Кажется, мне помогла моя способность играть возраст. Мне было девятнадцать, но я легко мог прикинуться стариком. Это было явное преимущество перед теми, кто мог играть лишь самого себя.

Донской, как известно, художник эмоциональный, поэтому акцентировал свое внимание на трогательной судьбе Марии Николаевны — матери шестерых детей.

При такой концепции Ленин воспринимался под смягченным углом. Его политическая деятельность, его борьба, заблуждения и жестокость остались за пределами фильма.

Со свойственным мне упрямством я пытался усложнить образ, добавляя, где возможно, черты, редкие для киноленинианы, такие, как обидчивость, резкость, эгоизм Ленина, но монтажные ножницы отсекали сомнительные достоинства вождя и благополучно довели картину до Государственной премии. Хотя и не без сложностей.

Вспоминается одна история, едва не поставившая всю нашу работу под удар. Во время съемок на нашей площадке находилась еще одна съемочная группа, делавшая документальный фильм о Марке Донском «Здравствуйте, Марк Семенович!». Глазок их камеры заглядывал и в гримерную комнату, и в монтажную, и в павильон — всюду. Фильм затем показали по Центральному телевидению. Михаил Андреевич Сулов, тогдашний идеолог КПСС, включил телевизор посреди фильма и сначала не понял, что происходит, а когда понял, страшно разгневался.

— Что это вы показываете? — спросил он руководство Госкомитета по телевидению и радиовещанию. — Какой-то старый еврей похлопывает Ленина по плечу и указывает: «Пойдешь туда, скажешь сюда, а потом вернешься и сядешь!» Что это такое?

— Это без меня... Я даже не знаю, что это... Это по первой программе? — старался выкрутиться председатель Госкомитета.

— Куда вас занесло? — продолжал Михаил Андреевич. — Показывать, как Ленину наклеивают усы, бороду, как промокают лысину? Вы что думаете, вам сойдет? Это профанация! Это безобразие!

Фильм прервали на половине. В ту же ночь полетело все руководство ТВ, ответственное за выпуск «Марка Семеновича» в эфир. Новому начальству

впредь категорически запрещено было показывать на экране работу скульпторов, создающих образ Ильича (чтоб народ не видел, как сверлят ленинскую нос-здру), работу художников, малюющих щеки вождя, создавать сомнительные документальные фильмы, разглагольствовать о Ленине. Всесоюзное общество «Знание» вообще прекратило выступления артистов, игравших Ленина (чтобы они не толковали о гриме или, что еще хуже, о «неизвестном» Ленине).

Марк Семенович не ожидал такого поворота событий. Он был так напуган происходящим, что даже захворал. Но его не тронули. Обошлось. Хотя во времена не столь отдаленные он мог бы здорово поплатиться за столь «бесцеремонное» отношение к вождю...

Марк Донской был забавный человек. В первый же день знакомства он показал мне несколько монографий о себе.

— Они пишут, что я великий! — скромно произнес Донской. — Последний из оставшихся в живых!

Одна из монографий, французская, называлась «Маленький еврей из Одессы».

— Французы меня любят, — сказал Марк Семенович. — А американцы — так те вообще открыли второй фронт после «Радуги». Выходили из кинотеатра — и прямо на фронт. Ты знаешь, конечно, о моей переписке с Рузвельтом?

— Слышал... — кивнул я. Хотя знал, что никакой переписки не было, известна лишь короткая телеграмма, сообщающая, что «Радугу» Донского показывали американским солдатам.

— Когда будет время, я расскажу. Очень интересная переписка.

Донской легко отвлекался на разговор о себе. Но не любил задерживаться на других именах. Великим — после Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко — разумеется, был лишь он один.

Смело могу утверждать, что именно Донской заразил меня новой профессией. Работая с ним, я за два года открыл «кухню» режиссуры и увлекся ее возможностями.

— Режиссер должен не только видеть будущий фильм, но и слышать его, понимаешь, Каздалевский? — сказал как-то он.

К «Каздалевскому» я уже привык: Донской применял эту фамилию ко всем. Это было у него вместо «дуралей».

— Слышать фильм? — переспросил я. — Как это?

— Завтра мы снимаем обыск в квартире Ульяновых. Так вот, я придумал, что из комнаты все время доносятся диссонирующие звуки: трринь... боом... тум-тум... Весь эпизод эти звуки будут бить по нервам, пока не откроется, в чем дело: ведется тщательный досмотр пианино. Неприятный процесс обыска подчеркивается неприятным, раздражающим звуком. Понимаешь теперь?

— Да, понимаю... — сказал я. И вдруг вспомнил о другом. — Марк Семенович, а какой дубль вы взяли из вчерашней сцены?

— Третий.

— Почему третий? — расстроился я. — Я же лучше сыграл в первом!

— В первом? Сейчас посмотрим.

Я был уверен, что Донской сравнит дубли на экране. Но Донской сдернул одну из пленок и, растягивая ее на груди, стал отмерять метры, как мерили в старые времена мануфактуру.

— ...три, четыре. Четыре метра. Теперь посмотрим третий дубль. — Донской размашистым жестом дважды откинул руку с пленкой. — Два метра. Третий дубль вдвое короче, значит, лучше. Несомненно!

Я готов был треснуть Донского по его глупой башке: неужели достоинства кадра лишь в его длине?

Но со временем я понял, что, кроме игры артиста, в фильме есть такие важные вещи, как ритм, темп, что паузы могут утомлять, что в конце третьей четверти фильма нужны неожиданный поворот, сюрприз, встряска, иначе публика может уснуть. Талант артиста — это хорошо, но это далеко, далеко не все.

Донской относился ко мне, как к своему приемному сыну, и, когда узнал о смерти моей мамы, бросил все свои дела и приехал на ее похороны. Этого я не забуду никогда.

В двадцать два года я уже всерьез «заболел» режиссурой и вновь поступил во ВГИК, теперь на режиссерский факультет. В мастерскую Игоря Таланкина. Нужно было начинать все сначала.

Отучившись два года и сняв две учебных работы, я обрел уверенность, что могу снимать полнометражный фильм. Но какой? После года скитаний с повестью Радия Кушнеровича «Большак» и обиваний студийных порогов я зацепился на «Мосфильме».

Там мне предложили сценарий, который рассказывал о веселой девушке Стеше и одиноком хуторянце Федоре, об их необычной любви (Федор умыкнул девушку). Интимная история на фоне раскулачивания зажиточных хуторян.

Надо сказать, что именно любовный аспект истории привлек меня. Я давно уже задумывался над тем, что случается, когда любовь связывает различных людей: богатого с бедной, старого с молодой, уроды с красавицей и т. д.

Я был городской человек, и снимать чисто деревенскую историю мне было скучно. Поэтому я утвердил на главные роли «неподходящих» городских актеров Марину Неелову и Юозаса Будрайтиса. Если литовец Будрайтис, которого я знал по совместной работе в фильме «Это сладкое слово — свобода!», в какой-то мере мог проникнуться хуторской темой (в Литве много хуторов), то ленинградка Неелова была далека от нашей истории, как южная птичка колибри от северных березок. Но фокус именно в том и заключался, что с Нееловой и Будрайтисом мне стало интересно фантазировать фильм, он переставал для меня быть чисто социальной драмой о коллективизации, а становился чем-то иным, переходил в иную, более привлекательную для меня плоскость.

Хрупкая, небольшого роста Неелова в роли Стешки казалась мне более оригинальным решением, нежели краснощекие ядерные бабенки (по сценарию Стеша была сродни кустодиевским красавицам). Актерская манера молодой артистки была чрезвычайно современной («Монолог» Авербаха) и очень мне нравилась.

Юлий Райзман, бывший художественным руководителем объединения, увидев пробы с Нееловой, страшно возмутился.

— Послушайте,— сжав тонкие, как лезвия, губы, сказал Юлий Яковлевич,— эта ваша актриса плоха. Поверьте моему вкусу. Никто такую умыкать не станет. У актрисы должны быть изящные губы и маленький рот, а у этой Нееловой — губищи, неприятно смотреть.

— Я знаю, вы мастер подбирать актрис на главные роли,— сказал я,— но это мой фильм. И я настаиваю на кандидатуре, которая мне нравится.

— Она может вам нравиться в жизни, это ваше дело, но у экрана свои законы.

— Я настаиваю на Нееловой.

Впоследствии, когда фильм уже был снят, Райзман остановил меня в коридоре «Мосфильма» и извинился:

— Я был не прав с Нееловой. Она у вас хорошо играет.

Неелова и правда великолепно играла. Секрет ее успеха заключался в том, что она жила на экране. Ни фальши, ни равнодушия в ее игре не было.

Маленькая Неелова была намного ниже Будрайтиса (едва доходила ему до плеча), но, обладая огромной природной энергией и талантом, она «крутила» Будрайтисом, как хотела. Будрайтис же деликатно уступал ей, играя этакого застенчивого увальня. Прекрасный дуэт! Неелова находила литовского артиста забавным, и мне доставляло удовольствие провоцировать их обоих перед камерой.

Вот обозленный Будрайтис хватает вожжи и замахивается на жену. А я вместо команды «Бей!» говорю:

— Обними ее!

Это неожиданно. Мы так не договаривались. Я готовил Будрайтиса к тому, чтобы он хлестнул жену вожжами. Но обнять? Будрайтис замирает, замахнувшись. Я вижу, как внутри артиста что-то переворачивается, как будто он затормозил на полном ходу. Как раз то, что надо! Растерянный вид артиста соответствует состоянию героя, потерявшего разум, но вовремя спохватившегося.

Не успевает Будрайтис осмыслить ситуацию, как я даю команду Нееловой:  
— Убегай!

Неелова срывается с места и выбегает из кадра, хотя у нее еще был текст.

Я доволен. В недоигранности я вижу живость процесса. Ведь и в реальной жизни все текуче переливается из одного в другое. Нет ведь ни занавеса, ни аплодисментов. Не успеваешь порой и фразу-то договорить, глядь, а человека уже нет.

Другая сцена: Будрайтис, насильно утащивший Неелову на свой хутор, подступает к ней, готовясь признаться в любви.

— Влепи ему пощечину! — выкрикиваю. Этого не было в сценарии, не было и на репетиции.

Не задумываясь, как и следует артисту, Неелова смазывает Будрайтиса по щеке. Это для самой актрисы так неожиданно, что она в испуге прикрывает лицо рукой, потом, подняв глаза, смущенно улыбается. Интересный процесс, едва уловимые нюансы чувств. Будрайтис, справившись с шоком, приступает к своему любовному монологу.

Конечно, артисты репетируют до съемок, учат текст, но кое-какие сюрпризы я приберегаю. Мне всегда нравилось импровизировать. Импровизация хороша, но возможна она лишь тогда, когда актер полностью отдается роли, когда для него не существует команды «стоп» и он еще по инерции находится в образе. С такими актерами, как Будрайтис и Неелова, импровизация плодотворна, и я часто продлевал кадр с тем, чтобы выудить нечто неожиданное, незапрограммированное, свежее.

Фильм «С тобой и без тебя» был удостоен в Брюсселе престижной премии «Золотая Фемина». На всемирном кинофоруме в Белграде Неелова получила приз за женскую роль.

«С тобой и без тебя» — история несчастного счастливого человека — стала жить своей жизнью.

Я — своей.

Впервые я поцеловал девушку, когда учился на втором курсе института. Мне было семнадцать лет. По теперешним временам меня сочли бы сильно заторможенным. Я влюбился в эту девушку по уши. Ей было шестнадцать, и она казалась мне пределом совершенства. Я ничего не хотел, кроме поцелуев, и сделался глупым, как пень... Затем ее место заняла другая... Потом третья... Я быстро нагонял упущенное и обретал опыт.

Шли годы.

И вот после фильма «С тобой и без тебя» я приступил к новой работе. На моем столе появился сценарий под названием «На край света» (по пьесе Виктора Розова «В дороге»). Там рассказывалось об обозленном мальчишке, который бежал из дома и все ему было нипочем, пока он не встретил девушку. В общем, это был фильм о все той же преобразующей силе любви.

Образ девушки-сироты, бросившейся спасать своего сводного брата, был чрезвычайно важным, ключевым для фильма. Ассистенты, как положено, искали школьницу с наивными и чистыми глазами, я же мечтал о большем. Мне хотелось, чтобы героиня была наделена некой тайной. Но внятно объяснить, что же мне все-таки нужно, я был в затруднении.

— Вы лучше скажите, — говорили ассистенты, — какая девушка вам нужна: высокая или маленькая, полная или худая, блондинка или брюнетка, и мы вам такую найдем.

— Это трудно объяснить... — пожимал я плечами.

Но однажды сказал:

— Вот, к примеру, эта девушка. В ней что-то есть.

По коридору студии шла девушка в зеленом комбинезоне. Что-то французское было в ее прическе.

Ассистенты бросились вслед за девушкой.

— Хотите сниматься? — остановили они ее.

— Нет, — равнодушно ответила девушка.

— А что вы тогда на «Мосфильме» делаете?

— Подруга пригласила. На просмотр. А что?

— Зайдите к нам.

— Нет, — уверенно повторила девушка. — Я не хочу быть актрисой. Я мастер спорта по стрельбе из лука.

Мосфильмовские ассистенты народ настойчивый: им удалось-таки уговорить юную спортсменку прийти на фотопробы. Однако на фотографиях девушка выглядела иначе, чем в жизни.

— Нет, не то... — сказал я и забросил неудачные снимки в дальний ящик стола.

Тем временем шли кинопробы. На экране один артист сменялся другим, не доставляя мне радости. Но вот, наконец, появился серьезный кандидат на роль парнишки. Подобрали ему и партнершу. И вдруг осечка: накануне кинопроб партнерша заболела. Что делать?

— Может, вызвать вместо нее Глаголеву? — спросил меня второй режиссер.

— Кого-кого? — не понял я.

— Ну, помните — в зеленом комбинезончике? Она еще на просмотр к подруге приходила?

— А-а-а, — вздохнул я, — спортсменка?.. Ладно, пусть подыграет. Лучше, чем мне напрягаться.

В тот день я делал ставку на артиста, а не на артистку, и мне было все равно, кто будет подыгрывать главному герою, лишь бы не я.

Так Вера Глаголева впервые появилась перед камерой.

Я поставил ее спиной к объективу, вручил листочек с текстом и сказал:

— Просто читай вслух. Ты не в кадре.

Я во все глаза глядел на будущего героя, надеясь увидеть что-то интересное. Но по непонятной причине парнишка зажался. Движения его стали скованными, голос охрип. Я был в отчаянии. Между тем, пока я занимался героем, Вера выучила свой текст и стала «подбрасывать» его с такой естественностью и легкостью, как будто он был ее собственный. Я поощрил Веру и ввел ее в кадр — сначала бочком, затем — лицом к камере. Раскованность Веры была обусловлена тем, что она мечтала о спортивной карьере, а не о кинематографической. Ей было наплевать.

Я задержал на девушке взгляд. А ведь она интереснее, чем я вначале думал. Я попросил ее сыграть еще одну сцену. Она сыграла.

— Хорошо. А если еще одну?

— Пожалуйста, — согласилась она.

Я рассмеялся. Мне нравилась ее уверенность, но уверенность — еще не талант. Сцена была очень трудная. Я включил камеру, совершенно не рассчитывая на успех.

Но, как только отняли хлопущку от лица актрисы, я понял, что сцена получится. На глазах у Веры были слезы. Горькие детские слезы. Что было удивительно, так это то, что, плача, Вера старалась улыбаться. Станный и трогательный эффект.

«Какой момент! — подумал я.— Если эта девчонка будет и в фильме так же играть, мы в полном порядке».

На истории, которая называлась «На край света», лежал запрет. За десять лет до того, как я принялся за работу, режиссер Михаил Калатозов («Верные друзья», «Летят журавли», «Неотправленное письмо») попытался перевести розовскую пьесу на экран. Сценарий назывался тогда «А, б, в, г, д...», но Калатозову не дали его снять. Партийное руководство не могло допустить появление на экране дерзких и своевольных подростков, все подвергавших сомнению.

Но странным образом мне удалось пробить пьесу В. Розова. Видимо, сказались успех моей первой картины и относительное цензурное затишье после аксеновских «Звездных мальчиков», так раздражавших партийных идеологов. Тем не менее гроза надвигалась, а я — влюбленный и беспечный — не замечал этого. Творчески я был в прекрасной форме, фантазия работала великолепно. Я был убежден, что делаю свой лучший фильм.

Каждая сцена, которую играла Вера, доставляла мне наслаждение. Я смеялся, как будто это была комедия, а если наступал трогательный момент, готов был проливать слезы. Любовь к Вере обострила все органы чувств и сделала меня по-настоящему счастливым, пожалуй, впервые в жизни.

Меня умиляло в ней все: и мальчишеский азарт, когда она играла в футбол, и неумение врать, и забавные гримасы, и, конечно же, ее почтительное «вы» в разговоре со мной. Кстати, она избавилась от этого выканья лишь спустя год, когда, как у Пушкина, «пустое *вы* сердечным *ты* она, обмолвясь, заменила...».

Ее молодость заражала. Я был полон сил и бойцовских качеств.

Прошло три месяца.

Доверие ко мне со стороны «Мосфильма» дало возможность благополучно довести съемки до конца. Правда, директору студии Николаю Трофимовичу Сизову не понравился исполнитель роли Пальчикова Саша Феклистов, и пришлось заменить его более «положительным» Андреем Ростоцким, иначе мне не дали бы завершить и смонтировать фильм так, как я хотел.

И вот первый разряд грозы.

Посреди просмотра в зале Госкино зажегся свет и мрачный зам. Ермаша Борис Павленок вышел из зала. Наступила мертвая тишина. Комитетские чиновники, потупив головы, разбрелись по своим кабинетам, не проронив ни слова. Опытнейший редактор Нина Николаевна Глаголева (не имевшая, кстати, никакого отношения к Вере) пошла на разведку.

— Фильм не принимают, — сказала она, вернувшись. — Павленок рвет и мечет. Говорит, что такая молодежь, как у Нахапетова, нам не нужна. Один из редакторов заявил, что герой — фашист. Другая сказала, что боится за своего сына-подростка. Фильм направлен против родителей. Вся редактура в один голос говорит, что ты сделал что-то ужасное, недопустимое и вредное. — Глаголева перевела дух и закончила: — Надо подключать Сизова.

Сизов, в прошлом милицейский генерал, выслушав нас, тут же связался по телефону с председателем Госкино СССР.

— Филипп, — по-приятельски обратился он к Ермашу, — чем там твои недовольны? Фильм хороший...

На другом конце провода с Сизовым не согласились, более того, стали «выдавать» ему за крамольное произведение. Директор студии на наших глазах стал заметно скисать. Не возражая больше, он повесил трубку.

— Ермаш видел фильм, — глядя себе под ноги, буркнул Сизов. — Надо переделывать. Что-то они там видят...

Розов, находившийся в кабинете, вставил:

— Померещилось...

— Что? — исподлобья взглянул на драматурга Сизов.

— В журнале «Нива», — усмехнулся Виктор Сергеевич, — была когда-то

такая иллюстрация: бежит девочка по темному лесу, а к ней вместо веток тянутся когти, вместо корней — страшные паучьи лапы, всякие чудовища. Под картиной надпись: «Померещилось». Так и в Госкино. Они напуганы. Вот им и мерещится всякая чертовщина...

— Ладно, Виктор, — сказал Сизов. — Мы тебя уважаем, но шуткой тут не отделаешься. Фильм надо поправлять. Набросайте мне список поправок и сокращений, чтобы я мог утвердить их в Госкино. Понятно?

— Да... — вздохнул Розов. — Пустячок: просто срежьте все розы. Куст ведь останется.

Мы пошли на уступки, стараясь сделать их минимальными и малозаметными. Конечно, этого было недостаточно, и Госкомитет трижды возвращал фильм на студию. Сердце обливалось кровью, когда и без того урезанные кадры приходилось подрезать еще и еще. Тексты переозвучивались, сцены менялись местами, смещались акценты, добавлялась музыка, но фильм оставался таким же колючим и неприемлемым для руководства, как и вначале. Павленок был умолим.

В самый разгар переделок и поправок по фильму «На край света» Никита Михалков пригласил меня попробоваться на роль Потоцкого в его «Рабе любви».

Я был удивлен приглашению, так как фильм уже полным ходом снимался, и я знал, что режиссером там был не Никита, а Рустам Хамдамов. Нина Николаевна разъяснила, что фильм остановлен Сизовым по причине нарушения производственного графика и творческого непослушания Хамдамова. Режиссера заменили Михалковым. Мне довелось посмотреть несколько эпизодов недоснятой версии Хамдамова. Трудно сказать, какой получился бы фильм, но материал был интересный. И все же я не сомневался, что Михалков сделает «Рабу любви» лучше, чем его предшественник.

Незадолго до этого в одном из зарубежных интервью меня спросили, в ком я вижу надежду нового кино, и я, не задумываясь, назвал имя Михалкова, сделавшего тогда свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Меня подкупали в нем кипучая творческая энергия и умелое владение языком кино.

В Одессу — в киноэкспедицию — я поехал с Верой. Наши отношения тогда были в самом разгаре. Я не мог расстаться с ней не то что на день — на минуту.

Накануне съемок мы всегда репетировали. Я помню цирковую гостиницу напротив колхозного рынка, где мы жили, и большой номер режиссера в конце третьего этажа. Мы собирались там дружной актерской компанией: Лена Соловей, Саша Калягин, Олег Басилашвили и я. Мы репетировали будущие сцены — многократно и придирчиво. Тон всему задавал Никита. Он умел увлекать своими идеями и был на редкость изобретателен. Рядом с Никитой всегда находился его верный друг, художник Александр Адабашьян. Когда репетиция подходила к концу, Никита вызывал еще и оператора Павла Лебешева, чтобы показать ему готовую сцену. Договорившись, как будем снимать, мы расходились по своим номерам.

Мы гуляли с Верой по Одессе, бродили по тихим ночным улочкам, спускались по Потемкинской лестнице, выходили к морю. Иногда Вера готовила — благо в нашей гостинице была кухня. Сладкий и нежный вкус ее сырников я помню до сих пор.

Мы мечтали о нашей будущей жизни, о поступлении Веры во ВГИК.

Фильм «На край света», искромсанный до неузнаваемости, прежде плавно текущий, а теперь двигавшийся вперед рывками, наконец-то вышел на экран. Молодежи он понравился. Реакция на фильм, особенно в первой его части, была столь бурной, что половина слов, следовавших за какой-нибудь острой репликой, заглушалась смехом.

Фильм показывался широко. Мы с Верой не поленились объездить все мос-

ковские кинотеатры, где шел наш многострадальный фильм, и на фоне гигантских рисованных афиш я снял Веру — в память о ее дебюте.

На международном кинофестивале в польском городе Люблине фильм был удостоен премии «Гран-при». Об этом фестивале я никогда раньше не слышал, но большого, как известно, и доброе слово лечит. Поляки назвали наш фильм лучшим в 1975 году.

Советская критика на наш «шедевр» была резко отрицательной. Замечательный Лев Аннинский, который отнесся к фильму «С тобой и без тебя» с почтительным вниманием, на этот раз разразился сокрушительной статьей в «Советском экране». Другие критики, помельче, тоже принялись покусывать да пощипывать. Кстати, в это время вышла бездарная «Семья Ивановых», поощряемая Госкино, и статьи о ней были самые доброжелательные.

Но не все возмущались фильмом.

Добрые слова в адрес картины высказал прославленный киносценарист Евгений Габрилович. Он отметил высокий профессионализм режиссера, справившегося с неблагоприятной молодежной темой и открывшего новую звезду — актрису Веру Глаголеву. Большой мастер кино назвал мою будущую жену «без сомнения, талантливой» и предсказывал ей большое будущее. Что могло быть приятнее?

Готовясь к «Врагам» (по Горькому), я собрал прекрасную актерскую команду: Иннокентия Смоктуновского, Николая Гриценко, Николая Трофимова, Елену Соловей, Марину Неелову, пригласил также и своих любимых литовцев Юозаса Будraitиса и Регимантаса Адомайтиса.

Зачем мне это было надо? Горький да еще «Враги»! С одной устаревшей пьесы я перекинулся на другую. Сценариев, что ли, не было?

Были сценарии, и много. Да все не о том. А во «Врагах» затрагивалась тема самоубийства, которая меня волновала.

Кроме того, современная бытовая история вряд ли дала бы мне возможность собрать такое созвездие талантов. Пьеса Горького говорила сама за себя, и артисты охотно на нее шли. Вера, кстати, тоже.

И, наконец, я считал работу над Горьким своим профессиональным экзаменом. Надо было переложить сугубо театральную структуру повествования в визуальную, кинематографическую.

Это здорово — работать со звездами. Но это еще и головная боль. От режиссера, помимо его художественного таланта, требуются и дипломатические способности. Талант политика.

Когда-то Иннокентий Смоктуновский мечтал сыграть Каренина в «Анне Карениной», но утвердили не его, а Николая Гриценко. Смоктуновский тем не менее наведывался на съемочную площадку и поучал Гриценко, как надо играть. Гриценко выдворил Смоктуновского из павильона, и десять лет (с 1967 года) они не разговаривали. И вот «Враги».

Вызвали наших знаменитостей на съемку. Не смотрят друг на друга. Гриценко красный как рак. Смоктуновский в дурном расположении духа. А тут еще Саша (Александр Княжинский, главный оператор) заявляет мне, что сначала придется снимать Гриценко и лишь потом, не раньше чем через два-три часа, Смоктуновского. Я чуть не упал со стула. В кои-то веки бывшие враги получают реальный шанс к примирению, а мы, убрав одного с площадки, подливаем масла в огонь. Ведь Смоктуновский определенно разозлится.

— Сделаем небольшой перерыв! — решаю я. — Гримеры! Поправьте актерам грим.

Подхожу сначала к Гриценко и говорю:

— Николай Олимпиевич! Начнем с вас.

— Хорошо. Я готов.

— Вообще-то по свету надо бы начать со Смоктуновского, — вру я. — Но он



уступает первенство вам. Сказал, что вы великий артист и заслуживаете быть первым.

— Спасибо и на том,— бурчит Гриценко. Но вижу — взгляд потеплел.

Подхожу к Смоктуновскому.

— Иннокентий Михайлович,— говорю,— Гриценко вам отдает пальму первенства.

— Как это?

— По свету нам было бы выгодней начать с Гриценко, но он уступает вам. Говорит, что нехорошо заставлять такого артиста, как Смоктуновский, ждать.

— Да? А сам будет сидеть и ждать? Мне как-то неловко...

— Я понимаю...— говорю я, а сам думаю: «Ну, что ж, лед тронулся!»

Сговорившись с оператором, сажаю Смоктуновского и Гриценко друг подле друга и снимаю кусочек, которого в сценарии не было. Да и в фильме не будет. Просто я решил потратить пятнадцать минут и немного пленки, чтобы разрядить обстановку. Сняли никому не нужный кадр. Артисты улыбаются. Обменялись парой слов.

— Теперь перейдем к укрупнениям,— говорю я.— С кого начнем?

— Можете с него,— благодушно соглашается Гриценко.

— Нет. С него,— говорит Смоктуновский.

Я взглянул на Княжинского:

— Решай ты. Актерам все равно.

Конечно, все давно уже было решено. Но я разыграл целую шахматную комбинацию, чтобы не обидеть артистов и не задеть их самолюбие.

С тех пор Смоктуновский и Гриценко стали здороваться.

Вообще за Иннокентием Михайловичем водился такой грешок — советовать партнерам, как играть. Он это делал от чистого сердца, не имея в виду кого-либо обидеть. Да только сбивал артистов с толку.

Я говорю актрисе:

— Ты выбегаешь из дома — веселая и жизнерадостная. И вдруг видишь — лежит в траве твой дядя. Ты напугана: не умер ли?

Смоктуновский тут же подходит к актрисе и говорит:

— Идешь грустная, задумчивая. Увидишь дядю, начинай смеяться.

— Иннокентий Михайлович! — говорю я.

— Что? — по-детски простодушно спрашивает он.— Не то? Не так?

— Все так, но...— Я отвожу его в сторону и начинаю хитрить: — Вы думаете, все такие гениальные артисты, как вы? Любое ваше предложение уникально, но не все ведь Смоктуновские. Приходится упрощать...

— Ну, вам видней, Родион, вам видней...

Смоктуновский отходит легко, без обиды, даже с чувством некоторого удовлетворения.

А обижаются актеры часто.

Я помню, приступили мы к съемкам сцены суда. Сняли общие планы с массовой.

— А теперь снимаем крупный план Будрайтиса,— объявляю я.

— Какой из них? — спрашивает Будрайтис.

— Как какой? — не понимаю я.— Твой монолог. Один кадр.

Вижу, Будрайтис помрачнел. Подхожу, спрашиваю:

— В чем дело, Юозас?

— Ничего...

— Но я же вижу.

— В сценарии у меня целых *три* крупных плана.— Он протягивает мне страницу из режиссерского сценария, в котором его монолог перебивается планами слушающих.

— Да, три, но снимать-то надо на одном дыхании,— объясняю я,— одним кадром.

Будрайтис упрямится:

— А в сценарии написано «крупный», потом «крупнее», а потом «совсем крупно».

Я решаю уважить актера. Снимаю одним куском, как хотел. Затем снимаю то же самое, но более крупно. И — еще крупнее.

Будрайтис в высшей степени удовлетворен, играет с таким огромным подъемом, что мне становится смешно: какие актеры все же дети!

Вера стала моей женой.

В съемочной группе «Врагов» к ней относились дружелюбно. И не только по причине ее брачного статуса. Она стала украшением фильма, его сердечным, звонким камертоном. Великих она не боялась и не теряла естественности ни при каких обстоятельствах.

«Вот она, твоя актерская школа! — с удовлетворением думал я. — Где, в каком институте можно приобрести столь благодатный опыт?»

Вера расцветала на глазах.

14 октября 1978 года, в праздник Покрова Божьей Матери, у нас родилась дочь. Мы назвали ее Анной. Лицо у Анечки было такое славное и необычное, что, казалось, она ниспослана нам с небес.

Семейная жизнь набирала обороты.

Мы осваивали новую квартиру в доме в Большом Тишинском переулке. Из Кишинева, где мы с Верой снимались, привезли удобную мебель. Галина Наумовна (мать Веры) подарила нам немецкое пианино. Мой кабинет стал быстро набиваться книгами, магнитофонными лентами, пластинками.

Часто выбирались за город. Вера любила бродить по лесу и собирать грибы. Иногда, расположившись на лесной полянке, мы принимались играть в футбол. Вера носилась за мячом с озорством мальчишки. Она всегда была окружена друзьями и подругами, которых знала с детства. Но лучшим ее другом оставался брат Борис.

Незаметно росла наша Аня. Не успели мы отпраздновать ее первый день рождения, как Вера снова забеременела, и вот 28 июня 1980 года в окошке роддома я увидел новое чудо — Машеньку.

Кинокартина «Не стреляйте в белых лебедей» была снята, когда Анечке еще не было года, а Маша не родилась, то есть в 1979 году. Сценарий по одноименной повести Бориса Васильева был написан Кириллом Рапопортом и первоначально предназначался для Леонида Быкова. Но Леонид Быков умер, и передо мной встала очень нелегкая задача найти ему достойную замену.

После долгих и подчас безнадежных поисков среди как провинциальных, так и столичных артистов я пришел к Станиславу Любшину и Нине Руслановой — исполнителям главных ролей.

Между Славой и Ниной сразу же установились хорошие отношения. Они прекрасно дополняли друг друга, часто импровизировали и всячески оживляли текст. Оживляли — не в обиду сказано, просто таков актерский механизм, что без мелких, живых, узнаваемых подробностей актеру трудно играть.

Любшин и Русланова стали привносить в роли свое, свой жизненный опыт. Смысл истории это не меняло. Но фильм становился более грубым, более ершистым и шероховатым, чем роман.

Отснятый материал нас радовал, и мы, сидя в зале, частенько покатывались со смеху. Нравился материал и Борису Львовичу.

Но вот я вчерне смонтировал фильм и представил его на суд мосфильмовского телеобъединения.

Так как я был гастролером в телеобъединении, со мной разговаривали корректно:

— Попробуйте поработать над монтажом... Попробуйте сократить... Нельзя ли побольше светлой музыки?.. Красивых пейзажей...

Но потом им надоело любезничать, и слово взял директор объединения.

— Все это паллиативные предложения,— сказал он.— Все мы прекрасно понимаем, что фильм в таком виде не примут. Единственное, что можно сделать,— это изменить финал и закончить фильм не смертью Полушкина, а его выступлением на Всесоюзной конференции... Это единственное, что нас спасет! — заключил директор объединения.

— Да-да! — горячо поддержали его.— Закончим на радостной ноте.

Я не придал тогда особого значения словам «нас спасет» и бросился защищать фильм. Я закалился в борьбе с Госкино, поэтому знал, что надо драться до последнего.

— Нет! Ни за что! Финал не отдам! Я только из-за него и согласился снимать фильм. Почитайте роман!

Вера морально поддерживала меня (она играла в фильме роль учительницы), но все же мне было очень тяжело.

И вот окончательная приемка картины.

Приехала Стелла Ивановна Жданова. Она была первым заместителем Председателя Комитета по радио и телевидению. Важная особа. Царственная и холодная.

Во время просмотра директор кинообъединения Марьяхин все время порывался что-то сказать Ждановой, но она не реагировала, просидев три часа неподвижно, как изваяние.

Закончился просмотр. В зале тишина. В будке киномеханика кто-то кашлянул. Жданова встала с кресла.

— Обсуждайте без меня.

Я понял, что это конец. Жданова скрылась за дверью.

— Нет, Стелла Ивановна! — бросился я вдогонку. — Я прошу вас остаться!

— Зачем? — удивилась она.

— Я... просто я хочу, чтобы вы присутствовали на обсуждении. Тут непростая ситуация.

Жданова взглянула на часы:

— Ну что ж, я останусь. Но это не имеет смысла. Вы убедитесь в этом сами.

В присутствии столь высокого цензурного чина, каким являлась Жданова, редакторы объединения внутренне подтянулись и стали походить на солдат почетного караула.

— Это большое разочарование. Для всех нас. Роман Бориса Львовича увлек нас. Мы поверили Нахапетову. Однако фильм *не* получился. Это бывает, конечно, но это очень обидно.

— Знаете, когда фильм не складывается, сначала пытаешься его спасти, пробуешь и так, и по-другому, но потом руки опускаются. И ты сдаешься. Это большая неудача объединения, и нам... нам стыдно, Стелла Ивановна, что мы не оправдали ваше доверие.

— Фильм совершенно не трогает. Читая роман, я плакала, а здесь от начала до конца ни капельки. Сделан равнодушно, без души. Правда?

Все в один голос подтвердили это.

Жданова внимательно посмотрела на меня:

— Хотите что-то сказать?

— Что говорить? — сказал я.— Фильм так дружно похоронили. Я не понимаю такой реакции и не считаю фильм неудачей. Это моя лучшая картина...

— Может быть, вы, Стелла Ивановна,— робко вставил Марьяхин,— добавьте что-нибудь к сказанному?

Жданова обвела сидевших тяжелым взглядом:

— Пожалуй...

Я замер.

— Во-первых, я должна не согласиться с режиссером. Что значит «похоронили»? Никаких похорон здесь нет. Мы высказываем свое мнение. И все.

— Просто мы разочарованы,— подхватила та, что плакала над романом.— Мы же люди. Мы не машины, не роботы...

— Во-вторых,— перебила ее Жданова,— я не согласна и с моими коллегами...

Лица присутствующих напряглись.

— Фильм, который сделал Нахапетов, получился, и не просто получился, а получился хо-ро-шо!

Полный паралич студийного руководства. Удар под дых.

Жданова поднялась, подошла ко мне и протянула руку:

— Поздравляю. Единственная просьба...

— Да, Стелла Ивановна?

— Нельзя ли в конце еще раз дать название фильма?

— Конечно!

Что произошло дальше — не поддается описанию. Это достойно пера великого Гоголя. Всеобщее ликование, поворот на 180 градусов.

Первым подбежал Марьяхин:

— Поздравляю! От души! У вас есть еще какой-нибудь сценарий? Приносите...

— А вы, Родион, и правда подумали, что нам не нра... Мне лично фильм очень понравился.

— Поздравляю. Знаете, обидно, что вот говоришь искренно, а тебя неправильно понимают. Я сказала, что не плакала. Да, но я была... как бы это сказать, я была в шоке — от начала до конца. Непередаваемое, глубокое впечатление...

И так далее и тому подобное.

Шло время.

Я снял музыкальный фильм «О тебе» — об уникальной девочке, которая родилась поющей, фильм-воспоминание «Идущий следом» и «Зонтик для новобрачных» с Алексеем Баталовым в главной роли. Аня занималась балетом во Дворце пионеров, Маша ходила в художественную школу. Их будущее как будто тоже определялось. Жизнь входила в четкое русло с крепкими берегами. Казалось, что все будет так, как было год назад, и четыре, и десять... Однако на сердце было тревожно. Яркие некогда краски перестали меня радовать, дела — увлекать, а Вера — притягивать.

На фоне всех перемен мне удалось снять свой последний советский фильм «На исходе ночи». Критикой он был принят равнодушно, коллегами — пренебрежительно, а мной — серьезно. Сместилась система координат. Я терял ориентиры.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Летом 1988 года я получил приглашение от Димы Демидова, давнего моего приятеля, живущего в Сан-Франциско. Настроение у меня было превосходное: незадолго до этого крупнейшая кинокомпания «20th Century Fox» купила «На исходе ночи», и теперь я летел в Америку, втайне надеясь, что там со мной непременно случится какое-нибудь чудо.

Сан-Франциско! Мне всегда нравился этот холмистый город, с великолепным архитектурным центром, с туристическим трамваем, китайским городом и, конечно, рдеющим над заливом красавцем мостом Золотые Ворота.

Однако обзор города занимал лишь ничтожную часть дня, остальное же время мы проводили за выпивкой. День начинался с застолья и заканчивался тем же. В один голос пели дифирамбы Горбачеву. Дима пускал пьяную слезу, затем усаживался за пианино и пел Вертинского, веселые цыганские песни. Через не-

делю я уже не мог на себя смотреть в зеркало: опухшая физиономия, пороссячки глазки... А кино? Я ведь приехал как режиссер — с надеждой на удачу. Я взмолился Богу...

И вот в баре с оперным названием «Тоска», расположенном в самом центре Сан-Франциско, я познакомился с продюсером Томом Лади, который работал в кинокомпании Коппола. Том проводил меня на студию Джорджа Лукаса, создателя «Звездных войн». Более того, он даже обещал познакомить с Лукасом.

Я ходил по притихшим просмотровым залам, по тонстудиям, по безлюдным коридорам, сидел в удобных кожаных креслах, пил превосходный кофе, наблюдал за служащими, приветливыми и деловыми, и мысли мои раздваивались.

«Вот они, идеальные условия для работы! — думал я. И сам с собой не соглашался: — Не идеальные, а *тепличные!*»

На память приходили имена великих художников, писателей, композиторов, творивших в холоде и нищете. Вопреки удобствам и покою.

И все же я испытывал чувство зависти ко всем этим улыбочивым и деловым кинематографистам, проходившим мимо меня и скрывающимся за тяжелыми, красного дерева дверями различных офисов, — так завидует вечно голодный всегда сытому... С Джорджем Лукасом повидаться не удалось, так как его куда-то срочно вызвали, но я и так был переполнен впечатлениями.

Прощаясь, Том Лади протянул мне визитную карточку, однако не свою, а какого-то продюсера по имени Майкл Гамбург, который эмигрировал из СССР несколько лет назад и который, по его словам, полон всяких идей.

Майкл (Миша) Гамбург мне понравился. Скромный, серьезный, деловой. Наготове записная книжка, в папке — вырезки статей о кино. Так, наверное, и должен выглядеть настоящий продюсер, думал я. Да, Майкл — продюсер, но пока не снял ни одного фильма. По образованию он инженер и работает в компьютерной компании, однако мечтает делать свои фильмы. Мое имя ему известно еще по России, но последних моих работ он не видел. Пока мы разговаривали, мне пришло в голову, что в Америке легко можно назваться кем угодно, хоть президентом страны, достаточно заказать визитную карточку «Майкл Гамбург. Президент США».

— Знаете что? — вдруг предложил Миша. — Не хотите ли пойти со мной на семинар? Телевизионный, правда, но будет интересно.

Я согласился.

Семинар проводился в небольшом городке Мил-Валэй под Сан-Франциско. Миша без конца что-то записывал, я же сидел в первом ряду и с умным видом слушал бизнесменов от телевидения, почти ничего не понимая. Было очень скучно. Однако мое терпение было вознаграждено. В перерыве мы познакомились с элегантною дамой по имени Даяна, которая давно мечтала создать фильм, но не могла найти подходящей истории.

— Мне очень хочется работать с русскими! — горячо заявила она.

Миша шепнул мне, что дама знает, где деньги лежат, так как долгое время была распорядительным директором Детского фонда города Мил-Валэй.

Я не спал ночь: придумывал истории.

К утру один из сюжетов о борьбе группы американских и русских подростков со злодеем-ученым, готовым разрушить весь мир, показался мне перспективным.

Выслушав мой рассказ, Даяна пришла в восторг: это именно то, что она искала! Теперь надо изложить сюжет на бумаге, чтобы она могла начать искать деньги на сценарий. Первая сумма будет что-то около 25 тысяч долларов.

— Майкл, прикиньте бюджет! — велела она Мише.

Мы с ним переглянулись: не сон ли это?

Наша радость была так велика, что ее поспешил разделить Дэвид — млад-

ший брат Миши. О существовании брата Миша раньше помалкивал, но как только на горизонте замаячили 25 тысяч, на сцену тут же был вызван брат. Это был моторный малый с чувством юмора и... с дальним прицелом.

Поначалу я не придал Дэвиду особого значения. Хороший парень — и все. Но вскоре роль его стала проясняться.

— Дэвид мог бы помочь в написании сценария,— как бы между прочим предложил Миша.

— Да? — удивился я.— Дэвид пишет?

— Да.

— И он уже что-то написал?

— Пока ничего. Но он учил русскому произношению актера Робина Уильямса в фильме «Москва на Гудзоне». Вы не видели? Смешная картина.

Мне не хотелось иметь партнера, не имевшего писательского опыта, и я отказался.

Миша не спорил, заметив к слову, что Дэвид в общем-то ни на что и не претендует. Просто, если нужна будет помощь, он поможет. У него уже был некоторый опыт работы в театре у Товстоногова.

— Может, сделаем его ассистентом режиссера? — искренне предложил я.

— Конечно! — согласился Миша.

Я провел за пишущей машинкой две бессонных ночи, и требуемый Даяной синопсис был готов. Назывался он «Потерянные и найденные». Оставалось сделать хороший перевод и передать его Даяне. А мне предстояли поездка в Лос-Анджелес и возвращение в Москву.

Дима сделал несколько звонков, подготавливающих наше пребывание в Лос-Анджелесе: будущие застолья были расписаны поминутно. Но всего этот «Сутрапьян», как я в шутку его прозвал, предусмотреть не мог...

— Меня зовут Наташа,— представилась она. У нее большие зеленые глаза, на первый взгляд придиричиво-строгие.— Я видела ваш фильм, хочу поговорить.

— Я готов! Слушаю...

Не скрою, мне было очень приятно видеть привлекательную женщину, без устали рассуждающую о моем мастерстве. Кое-что она рассказала и о себе: родилась в Китае, в городе Харбине, переехала с родителями (русскими эмигрантами) в Чили, а потом в двенадцатилетнем возрасте — в США. В совершенстве владеет русским, испанским и английским языками. Сейчас работает в Ассоциации независимого телевидения США, знакома с телевизионным руководством многих ведущих студий.

— Я думаю, вам нужен *менеджер* в Америке,— сказала она на прощание.— Если вы не возражаете, я могла бы... Я многих знаю.

— Было бы здорово! — не раздумывая, согласился я.

Наташа ушла к мужу и пятилетней дочери. А мы с Димой пить. Как всегда.

На следующий день мы встретились с Наташей еще раз, и я спросил у нее совета по поводу контракта с Гамбургамми.

— Если вы сделаете фильм на таком «гамбургском» уровне, вас не пустят в Голливуд.

Мне не понравилось такое принижение Гамбургов, о чем я ей и сказал. Она молча пожала плечами: мол, хозяин — барин.

— Вообще-то я могла бы вас познакомить с президентом киностудии «Парамаунт». Не сейчас, но в следующий ваш приезд непременно...

Неужели в самом деле? С президентом «Парамаунта»?

Я тут же с радостью сообщил Диме, что в следующий приезд Наташа обещала познакомить меня с президентом «Парамаунта».

Мой друг состроил кислую гримасу:

— Это ничего не значит. Подумаешь, президент...

Наши отношения в последнее время стали очень натянутыми, но столь

враждебного тона я не ожидал. Он выпустил горькую каплю яда, желая, по-видимому, хоть как-то отыграться, непонятно только — за что?

Дима картинно отставил руку с сигаретой и прибавил:

— Но на меня больше не рассчитывай: вызова я тебе не пришлю.

— А я и не прошу, — невозмутимо ответил я. — Я найду, где остановиться.

Дима смерил меня презрительным взглядом.

— Мне жаль тебя, — усмехнулся он. — Без языка, без протекции? Не будь наивным! Ты здесь пропадешь.

И все же я возвращался в Москву в приподнятом настроении. Я знал, что Даяна влюблена в проект «Потерянных», и верил, что она непременно найдет деньги на сценарий. Я надеялся, что вскоре снова окажусь в Америке. И был убежден, что по приезду Наташа непременно познакомит меня с президентом студии «Парамаунт» и с другими большими людьми Голливуда.

В Москве сразу начались проблемы. Для производства фильма «Стена», который я давно хотел сделать, явно не хватало денег, а семейные отношения с Верой, хоть и носили характер дружеский и внешне благообразный, все же нуждались в серьезной переоценке. Последние четыре года я занимался фильмами, задачи которых были чужды моей жене. От нее повеяло холодом.

Возможно, я просто наскучил ей. Она общительна, жизнерадостна, я же люблю уединение, часто предаюсь грусти. День за днем таяли наши чувства, но мы были слишком заняты своими киноделами, чтобы бить тревогу. Мы не замечали, как разрушается здание нашей семьи. Правда, иной раз гремели семейные грозы и я даже порывался уйти из дома. Но разрыв казался чем-то нереальным. Возвращались из школы дочки — нужно покормить, помочь с уроками, поиграть. Боже, как здорово иметь детей! Именно они были тем якорем, который удерживал меня на Тишинке...

В Москве я написал литературную заявку под названием «Последний пожар», которую тут же отослал Наташе в Лос-Анджелес. Вскоре звонок!

— Я уверена, Барри это понравится! Приезжайте! — сказала она.

Барри — президент «Парамаунта», разве устоишь?

— Надо ехать! Нельзя пренебрегать шансом, — сказал я Вере. — Если пойду дела, девочки смогут учиться в Штатах.

По нашему уговору первым должен был ехать я, чтобы заработать деньги, и затем послать вызов девочкам и Вере. Возможность изменить жизнь к лучшему придала последним дням, проведенным в кругу семьи, некоторую приподнятость. Мечтаниям не было конца. На какое-то время показалось, что перемена места реставрирует и наши чувства. Во всяком случае, впервые за долгие годы я увидел Веру счастливой и уезжал с уверенностью, что все будет так, как мы придумали.

Как только я прилетел в Сан-Франциско — первый звонок Гамбургам.

— Вы уже здесь? — удивился Миша. — Так быстро? Но... Даяна еще не прочитала синопсис.

— А когда вы передали его Даяне?

— Давно...

В Мишином голосе я уловил смущение, замешательство. Я предложил ему встретиться — мне не терпелось взглянуть на перевод, сделанный в мое отсутствие, и прояснить ситуацию.

— Мы сделали перевод, но... — осторожно начал Миша. — Мой брат Дэвид поправил ваш синопсис на американский вкус.

То, что я прочел, лишь отдаленно напоминало «Потерянных». Какая-то размазня, без воображения и без действий.

— Знаете, Миша, это нехорошо.

Миша развел руками:

— Я сказал Дэвиду... Но он подумал, что надо на американский вкус...

И тут я заметил, что на титульном листе нет моей фамилии. Вообще нет фамилии автора.

— Мы... просто забыли напечатать,— пояснил Миша.— Но ведь Даяна знает, чья это история.

— Скажите честно,— мрачно поинтересовался я,— существует ли вообще перевод того, что я написал?

— Да, конечно! Мы завтра же пошлем Даяне ваш вариант,— выравнивал ситуацию Миша.

— Как вы думаете, почему она так долго не отвечает? — спросил я.— Может, позвонить ей и спросить?

— Тут так не принято — спрашивать в лоб...— деликатно заметил Миша.

— А что принято? Посылать вместо одного синопсиса другой?

Миша, вздохнув, пошел к телефону.

Даяна оказалась дома. Миша задал ей прямой вопрос и получил прямой ответ: синопсис ей не понравился. Она приняла решение больше не заниматься этим фильмом.

— Я понимаю... мы понимаем...— начал Миша.— Но, знаете, произошло недоразумение... Вы читали не тот синопсис.

— Не тот? — удивилась Даяна.— Как не тот? А где же тот?

— У меня. Я привезу вам его немедленно.

— Не понимаю...— недоумевала Даяна.— Но ведь название то же самое?

— М-м-м...— Миша взглянул на притихшего брата.— Знаете, когда перевели на английский, переводчик... м-м-м...

— Странно...— вздохнула она.— Ну ладно, привозите.

Мне стало ясно, почему на титульном листе «забыли» написать мою фамилию: если бы Даяне понравился новый сюжет, братья тут же открыли бы и авторство Дэвида.

Меня приютили одни мои хорошие знакомые — религиозные, добрые русские люди. В первый же вечер я позвонил Наташе. Она была удивлена, что я уже на месте.

— Только зачем вы полетели в Сан-Франциско? Лучше бы прямо сюда...

— Я обещал Гамбургам... Ждем ответа от Даяны.

— Не забывайте, Родион, кино делается в Лос-Анджелесе. Голливуд здесь, а не в Сан-Франциско...

Что я мог на это ответить? Конечно, мне хотелось поехать в Лос-Анджелес. Но что, если Даяна снова воспылет любовью к «Потерянным»? Это значит: работа! Реальная работа! Те самые 25 тысяч!

— Ну что ж,— вздохнула Наташа,— сидите в вашем Сан-Франциско... Кстати, как вы устроились?

— Нормально. У знакомых...

— Знаете что,— сказала она.— В Сан-Франциско живет мой отец. Переезжайте к нему. Большой дом. Вдвоем вам будет веселее.

Мне не хотелось быть слишком обязанным ей, и я отказался. Однако обстоятельства сложились так, что мне все-таки пришлось воспользоваться предложением Наташи. И я переехал к Алексею Шляпникову — почти на две недели.

С отцом Наташи мы быстро нашли общий язык. Он мне понравился сразу. Этаким Борис Андреев! Большой и добродушный.

Три года назад Алексей потерял жену Аллу, мать Наташи. Жуткая история, которую обсуждали в Сан-Франциско долгое время. Старик-китаец разворачивал автомобиль и нечаянно вместо тормоза нажал на газ. Автомобиль врезался в дом Шляпниковых, проломил дверь гаража и убил Аллу.

Алеша чуть с ума не сошел, ничто не могло его утешить. Он задибался со всеми китайцами. Наташа решила отправить отца в Россию не только потому, что там мало китайцев, но и чтобы новые впечатления отвлекли его. Это сработало. Впечатлений было столько, что он без конца ими делился.



Как-то раз Алеша заговорил о тяжелом характере Наташи. И тут у него как-то само собой вырвалось:

— Вы бы могли с ней справиться, вы сильный!

Это было вполне в его стиле — точно обухом по голове. При чем тут я?

— Наташа — серьезная и толковая женщина, — уклончиво сказал я.

Алеша кивнул, вздыхая:

— Да, в работе она зверь. Всего добьется.

Я был удовлетворен. Раз «всего добьется», значит, Наташа именно тот менеджер, который мне нужен. Думать о Наташе как о женщине я не решался: у нее есть муж, у меня — жена.

Мои надежды оправдались. Даяне *очень* понравился синопсис. Прочитав мой вариант «Потерянных», она тут же позвонила Мише и, воодушевленная, предложила поехать в Иосемити, где предполагались съемки.

— Я заказала отель, — сказала она.

Поехали вчетвером: Даяна, Миша, Дэвид и я.

— Мы сделаем прекрасную картину! — то и дело повторяла Даяна. — Я так рада!

Мы бродили по горам, любуясь могучими вековыми деревьями, прикидывали, где и что будем снимать, говорили с руководством парка, обсуждали будущие эпизоды...

— Даяна, простите, а сколько может понадобиться времени, чтобы достать первые деньги? — осторожно поинтересовался Миша.

— Я буду стараться... — улыбаясь, ответила она. — А не найдем инвесторов, я и сама смогу...

Мы знали, что Даяна не бедная, ее муж — хозяин большого мебельного салона. Поэтому ее слова звучали не только сладко, но и надежно.

«Значит, пока суд да дело, — подумал я, — можно слетать в Лос-Анджелес».

Туда я полетел вместе с Алешей. Он давно рвался повидать свою внучку — дочь Наташи, кроме того, у него там был дом, который он сдавал квартирантам, так что ему надо было проверить состояние дел.

Мы остановились в доме у Наташи, на голливудских холмах, вблизи гигантских белых букв HOLLYWOOD, которые так много для меня значили. Улица называлась Васанта-Уэй.

Наташиного мужа, как и ее отца, звали Алешей. Наташа вышла за него замуж всего три месяца назад, хотя знала с детства (по скаутскому лагерю). По профессии он был электрик.

Познакомился с пятилетней Катей, дочерью Наташи от первого брака, застенчивой и милой. И с рыженьким песиком по имени Лаки, что значит «счастливчик».

С утра мы с Наташей уезжали в офис — заканчивали перевод «Пожара», звонили по делам, разбирали и упорядочивали некоторые материалы обо мне. Мы готовились к ответственной встрече с президентом крупнейшей голливудской киностудии, и Наташа хотела представить меня достойным образом.

Алеша-старший весь день отсутствовал: квартиранты — беспокойное хозяйство. Алеша-младший отсутствовал тоже: у него был отпуск по болезни, и он между делом посещал какие-то курсы в колледже.

Иногда все собирались за ужином. Общие разговоры то и дело соскальзывали на то, что только нам с Наташей и было интересно: сценарий, актеры, бюджет... Алеша-отец без стеснения зевал, затем отправлялся спать. Другой Алеша стойко держался до конца. Как ни старался я перевести разговор на то, что интересует всех, Наташа упрямо возвращалась к кино.

Я открывал для себя нового и интересного человека. Узнал, к примеру, что Наташа состояла в организации, которая помогала бездомным людям. Она жертвовала свои деньги, отдавала свободное время. Это звучало для меня, со-

ветского человека, странно, ведь никто от нее ничего не требовал. Она добровольно выписывала чеки.

И еще меня занимало ее отношение к религии. После трагической смерти матери Наташа нашла в молитве утешение, а смысл жизни — в христианском учении. Их современный дом был полон икон, по-деревенски украшенных сухими цветочками.

Наконец свершилось то, о чем я мечтал! Мы побывали на студии «Парамаунт».

Раньше я не знал, что президентов на студии несколько и что Барри Лондон — один из них. Он не имел отношения к производству фильмов, но был, разумеется, не последний человек на студии, занимаясь кинопрокатом внутри Америки.

Лондон дружески обнял Наташу, поздоровался со мной и тут же предложил:

— Хотите посмотреть мой новый дом? Приглашаю на ужин.

— Конечно, Барри! С удовольствием!

— Тогда позвоните через пару недель.

Оказалось, что Наташу связывали с Барри не только деловые отношения. В свое время она организовывала для киностудии «Парамаунт» праздничный вечер. В подчинении у нее работала девушка по имени Алисон, и холостой Барри, что называется, «положил на нее глаз». Он подарил Алисон бриллиантовое кольцо, предлагая выйти за него замуж, но она отвергла предложение, сославшись на то, что не хочет обременять его обязательствами. Разумеется, такое бесхитростно-детское поведение двадцатилетней девушки окончательно сразило бедного Барри. Может, Наташа ее уговорит? Поэтому он и пригласил нас на ужин.

В Лос-Анджелесе по-летнему тепло весь год. Изменений в одежде практически нет. Брюки сменишь на шорты — вот и вся разница. И все же в русских людях сезонное чувство не так-то легко заглушить. Было начало марта, и у меня было весеннее настроение. Как бывает после долгой зимы: сбрасываешь надоевшее пальто, и тебя обдает свежестью. Ты смотришь на повеселевших прохожих с чувством понимания: «Как хорошо! Как радостно!»

Мы были пьяны без вина. Все складывалось как нельзя лучше. Готовясь к ужину с президентом «Парамаунта», я придумал еще несколько сюжетов, мозг кипел от возбуждения. Наташа радовалась вместе со мной. По контракту она как менеджер должна была получить десять процентов от моих будущих миллионов, так что интересы совпадали и сердца наши бились в унисон.

А может, мы уже были влюблены?

Время от времени я звонил в Москву и делился своим энтузиазмом с Верой. Девочки что-то щебетали о скучающем попугайчике Кеше, о новых рисунках Машульки, о балетных успехах Анечки. Там, на Тишинке, своим чередом шла моя прошлая жизнь. Здесь же, на Васанта-Уэй, у подножия прославленных букв, притягивающих киномечтателей со всего мира, я ждал чуда.

Дом Барри Лондона располагался на вершине одного из холмов — так что весь Лос-Анджелес был отсюда виден как на ладони. Поднебесье да и только! Барри и Алисон были одеты по-домашнему: хозяйка — в серых спортивных шароварах, хозяин в рубашке с короткими рукавами. Они с гордостью провели нас по дому. Алисон вела себя с Барри уверенно, даже слегка пренебрежительно.

Барри сам приготовил ужин.

На столе были огромная миска салатных листьев, вареная картошка и мячайшие куски мяса. Больше ничего. Очень скупо, но безумно вкусно. Я уже знал, что американцы принимают гостей не так, как это делаем мы, когда стол ломится от еды и все тебе подкладывают, да наливают, да обхаживают.

Выпили по бокалу вина и сели за стол. Я упорно ждал, когда наконец разговор зайдет о кино. Но разговор так и не зашел — ни о кино, ни о творчестве. Что в общем-то было нормально. В выходной день — о чем угодно, только не о работе!

Расстались мы как друзья. Барри даже попросил Наташу взять Алисон в партнеры по работе. При этом он сказал, что Наташа очень хорошо влияет на Алисон. Из всего этого я сделал заключение, что Алисон, обработанная Наташей, за время ужина созрела, чтобы выйти замуж.

Звоните, заезжайте...

Вскоре Наташа открыла мне тайну, почему Алисон так долго не давала согласия Лондону. Девушка поделилась с Наташей своим секретом. Да, она любила Барри, но Барри имел одну проблему: то ли почечный камень, то ли что-то еще, словом, Барри хочет, но...

Наташа порекомендовала Лондону знакомого психоаналитика.

Это была ошибка. Она дала понять Барри, что осведомлена о его беде, и он стал чувствовать себя с нами неловко.

Когда мы передали Лондону тритмент «Последнего пожара», он обещал содействовать. Однако в его голосе прозвучали новые нотки. Перед нами стоял не милый Барри, так заботливо сервировавший для нас стол, а президент крупнейшей киностудии в Голливуде.

Вслед за этим раздался звонок от Алисон. Она торопилась поделиться с Наташей своей радостью: у Барри все вошло в норму. Он теперь великолепный мужчина, и она ужасно рада, что выходит за него замуж. Наташа поздравила ее, но почувствовала в тоне Алисон некоторую нарочитость. Вряд ли «почечный камень» Барри так быстро растворился, просто Алисон давала задний ход, спасая престиж не столько будущего мужа, сколько президента студии.

Лондон стал избегать встреч с нами. Правда, он все так же любезно отвечал на Наташины звонки, но разговоры становились все короче и суше. Месяц спустя он вернул нам тритмент «Последнего пожара» со словами, что ему это показалось интересным, но остальные на студии эту историю снимать не рекомендуют.

В конце любезное: звоните, увидимся...

Мы расставались с Наташей только с наступлением ночи. Она уходила к себе в спальню, я же — в свою тихую комнатенку. Днем мы не думали друг о друге, не было времени, мы были слишком заняты. Но вот наступала ночь, и меня начинали терзать воображаемые сцены, происходящие в соседней комнате под непомерно высоким потолком. Я все еще не хотел признаться самому себе, что интересуюсь Наташей всерьез. Бессонницу объяснял духотой, впечатлениями дня. Однако ухо настороженно улавливало терзающие душу шорохи, и я со злостью закрывал голову подушкой.

Меня раздражала тихая скромность Алеши. За что она его любит? За какие достоинства? Измучив себя размышлениями, я всегда мысленно возвращался на Тишинку — туда, где меня любят и ждут.

Однако время неумолимо склоняло нас к ломке устоявшегося порядка вещей. Плотное каждодневное общение с Наташей постепенно переплывало деловые отношения в интимные. Все шло так, как мы того втайне хотели, но, когда это случилось, мы растерялись, словно среди ясного неба грянул гром. Всякий раз мы уговаривали себя, что надо немедленно прекратить подобного рода отношения, мы понимали, что это большой грех, но переспорить чувства не могли. Нас затягивало в омут.

Вскоре Наташа попросила Алешу спать отдельно. Любовный треугольник обрел четкие геометрические формы: я спал в своей комнате, Наташа — в спальне, Алеша перебрался в гостиную.

Его упорное игнорирование реальности, его слабование и материальная зависимость от жены привели к тому, что он покорно принял роль отринутого супруга. Конечно, он знал, что происходит, но о разводе с Наташей даже думать боялся.

У Наташи росло раздражение. Почему он не сражается за нее?

Алеша драться не соизволил. Таким образом, за неявкой соперника на ринг я и выиграл бой.

Наташа подала на развод.

Когда речь зашла о разделе имущества, со дна поднялись муть, неприятные сварливые подсчеты, мелкие придирки и уточнения. Но у всего бывает конец. Семья, просуществовав полгода, распалась.

Мы с Наташей горячо бросились друг другу в объятия.

Не задумываясь, что у одного из любовников жена в Москве и две родные дочери.

В один из весенних дней 1989 года на студии «XX век Фокс» был устроен просмотр моего фильма «На исходе ночи».

Кто же был в зале?

Экзальтированная киноактриса Лая Раки, некогда блиставшая жгучей цыганской красотой, но доживающая свой век в полной неизвестности.

Ее муж — известный в прошлом артист театра и кино Рон Ранделл.

Взад-вперед по залу с переносным телефоном под мышкой носился молодой артист английского телесериала Крис Квинтен.

Любезности ради на просмотр заглянул редактор популярной телепередачи «Развлечение ночью».

Терпеливо ждал начала фильма миловидный Роналд Паркер — сценарист и продюсер.

И, наконец, в самом конце зала, в уголке, примостились Барри Лондон и Алисон.

К несчастью, на просмотр мы приехали с опозданием.

Во время показа я ерзал в кресле, косясь то в одну, то в другую сторону. Но вскоре моя тревога улеглась. Я увидел, что фильм нравится. Американцы вообще очень благодарные зрители.

По окончании фильма в зале раздался восторженный возглас Лаи: «Великолепно!» И публика разразилась аплодисментами. Я, улыбаясь, оглядел зал. Все смотрели на меня с почтением и признательностью.

Но президента «Парамаунта» и его жены в зале почему-то не было. Кто-то заметил, что они ушли, как только на экране появились заключительные титры. Наташа шепнула, чтоб я не переживал: у человека могут быть дела!

Покидая зал, каждый старался найти слова благодарности и восторга. Я был доволен, но и смущен: почему Лондоны ушли? Трудно поверить, что дела не позволили им задержаться и сказать хотя бы пару слов.

Я попросил Наташу позвонить Барри.

Тот признался, что фильм сделан странно.

— Он начался с каких-то второстепенных персонажей и сбил меня с толку, я долго не мог понять, за кем надо следить. Это не по-американски. Зритель с первого крупного плана должен угадать, кто герой. Так что... — Барри вздохнул, давая понять, что говорить больше не о чем.

Но вслед за огорчением — радость.

Позвонил продюсер Рон Паркер, который был на просмотре. Он еще раз поблагодарил за картину и предложил конкретное дело. Он преподает в университете как сценарист, и у него есть студентка, пишущая о своем пребывании в Киеве. Не хотел бы я приложить к этому руку и знания? Он верит, что этот сценарий может заинтересовать большую студию.

По всему городу в это время были развешаны афиши, анонсирующие новый фильм этого продюсера «Моя мачеха — инопланетянка» с Ким Бессинджер и Даном Акройдом в главных ролях.

Понятное дело, я отнесся к предложению Рона Паркера с большим интересом. Он прислал мне сценарий.

Я пришел в ужас от того, что прочитал. Речь там шла о богатом циничном

американском парне. О том, как он с группой туристов попал в Киев и тут же был обласкан простой украинской семьей. Ему было так хорошо, что он обещал прислать им банку орехового масла — на пробу. Парень выполнил свое обещание. Вот и весь сюжет.

Я вежливо отказался. Рон согласился с моими доводами, но продолжал настаивать, что потенциал этой истории достаточно велик. Я отказывался, но настойчивость продюсера мне льстила.

— Давайте попробуем,— предложил Рон.— Дженифер — покладистая женщина, она сделает так, как надо.

— От ее истории останутся только рожки да ножки. Только то, что американец едет в СССР и... и все.

— Достаточно! — сказал Рон.— Хорошее начало.

Я улыбнулся. Такой на вид застенчивый и деликатный, Рон в моих глазах обретал силу.

Мы встретились с Дженифер. Это была внушительных размеров женщина, настоящий гренадер. Примерно одних с Роном лет — около сорока. По-видимому, Рон подготовил ее к нашей встрече, потому что мою критику она пережила мужественно.

— В Киеве такие чудесные люди! — то и дело вставляла она. Но этот возглас ровным счетом ничего не значил — ни для понимания структуры будущего сценария, ни для разработки характеров. Надо было начинать с нуля.

Шаг за шагом, ступень за ступенью мы начали продвигать историю вперед. Я придумывал эпизод за эпизодом, лепил характеры, насыщал деталями эту довольно хилую историю, с трудом скрывая собственное неудовлетворение.

Пока шла работа, наши отношения с Наташей перешли в новую стадию. Все чаще возникал вопрос о моем разводе с Верой. Ведь Наташа порвала со своим мужем, освободилась. Или я мечтаю вернуться в Москву?

Скандалы разгорались как будто ни с того ни с сего. Но очень скоро я понял, что угли тлеют в одном и том же месте. В моем прошлом.

Что я мог поделаться? Оставить Веру и девочек с той же легкостью, как Наташа оставила Алешу? Но это неравная жертва. Нас с Верой связывали не полгода, а четырнадцать лет совместной жизни, общие интересы. Мы имели общих детей. Кроме того, уезжая, я много всего наобещал, и не выполнить это мне казалось позорным. Я должен был обеспечить моим девочкам благополучное будущее.

Подобные разговоры всегда заканчивались разрывом. Я звонил знакомым, просил у них ночлега. Но страх потерять друг друга всегда брал верх. Все оставалось на прежних местах. До следующего скандала.

Конец апреля 1989 года.

Даяна устроила в Мил-Валэй премьеру «На исходе ночи». Публика была интеллигентная (о такой только мечтать), реакция восторженная, победа — полная.

Даяна была удовлетворена произведенным эффектом. Все ее друзья — тоже.

— Теперь я найду деньги на «Потерянных»! — убежденно говорила она.— Завтра же позвоню вот этой... и той. Я уверена, они не откажут.

Она рассчитывала на своих подруг-миллионерш, каждой из которых ничего не стоило дать на сценарий пять — десять тысяч. Но подруги не дали...

Сколько людей вращалось вокруг нас с Наташей! Не счастье. К нам тянулись и от нас отшатывались. Впрочем, американцы встречают тебя, улыбаясь, и, улыбаясь, расстаются. Что там у них на сердце — поди разберись.

Вот несколько примеров.

Мы позвонили одному из богатейших людей Америки, хозяину киностудии

«Метро-Голдвин-Майер» (коротко — МГМ) Керку Керкоряну. Буквально на следующий день он назначил нам встречу. Сам приветствовал нас в дверях.

— Как дела? — спросил меня как старого знакомого. — Рад встрече!

— Я... я тоже. Я много слышал о вас еще в России.

Керкорян рассмеялся:

— Неужели? Я всего лишь владелец студии, не более того.

За спиной его стоял целый ряд «Оскаров». Я указал на это золото:

— Вы столько сделали!

— Это студия. Я тут совершенно ни при чем. Признаться, я особенно-то и не лезу в творческие вопросы.

Это прозвучало искренне.

— Меня больше интересует, — продолжал Керкорян улыбаясь, — как бы выгоднее эту студию продать. И купить солидную авиакомпанию. А вы говорите по-армянски?

— Нет, не говорю. Отец был армянин, но я рос с мамой, она украинка.

— Ах, вот как! — сказал Керкорян.

Мы с Наташей коснулись последних фильмов МГМ. Керкорян не поддерживал разговор. Тогда мы стали говорить об уникальной музыкальной фильмотеке МГМ — лучшей в мире. Тоже никакой реакции.

— Вы приехали в гости или по работе? — неожиданно спросил Керкорян.

— У меня есть несколько сценариев... — сказал я.

Керкорян улыбнулся:

— Понятно. Что ж, желаю удачи!

И протянул на прощание руку.

Мы ушли. До сих пор не могу понять, зачем ему нужна была эта пустая встреча? Любезность? Трудно поверить. Может, армянское родство? Да, но этих армян в Калифорнии, как песчинок на пляже. Что же тогда?

Другой пример, другая встреча. Герберт Росс. Известный кинорежиссер. Вспомнили общих знакомых из Сан-Франциско, поделились своими впечатлениями о русском балете, конечно, не обошли Барышникова, с которым Росс работал на фильме «Белые ночи». Тон разговора был уважительный, на равных. Росс спросил, какие фильмы мне нравятся, каких режиссеров почитаю. К слову заметил, что европейским фильмам в Америке не везет, но есть любители, которым надоели голливудские стандарты, они хотят видеть искусство.

— Родион — заслуженный человек в России, — вставила Наташа, протягивая Россу мой буклет.

— Хорошо! — сказал Росс, перелистывая страницу за страницей. — О! — неожиданно воскликнул он. — Я вспомнил! «Раба любви»! Я видел этот фильм.

Когда мы прощались, Росс слегка задержал мою руку в своей и сказал:

— Надеюсь, вас ждет успех!

Как мне хотелось в это верить!

Кстати, когда мне понадобилась рекомендация в иммиграционную службу, чтобы продлить пребывание в США, Герберт Росс не задержал с письмом ни минуты.

Новое знакомство. Популярный в Лос-Анджелесе художник Юроз. На одной из вечеринок мы оказались с ним за одним столом. Он пять лет назад эмигрировал из Армении. Услышав, что я прибыл из Москвы, он шепнул своей подруге Дэби, что я сотрудник КГБ и подослан, чтобы следить за ним. Он даже пересел от меня подальше.

Наташа представила меня как знаменитого в Союзе кинодеятеля.

— Его фильмы в России даже дети знают! — сказала она.

Юроз не выдержал.

— Интересно... — язвительно сказал он. — Какие же это фильмы?

Наташа бойко перечислила. Как только Юроз услышал название «Не стреляйте в белых лебедей», его лицо преобразилось.

— Это *вы* сделали «Лебедей»?

Я кивнул. Юроз с облегчением вздохнул и дружелюбно протянул мне руку.

Еще знакомство. Некий Анатолий Давыдов. Лет десять назад, будучи советским тележурналистом (возможно, и сотрудником КГБ), он в первой же зарубежной командировке вырвался на волю.

Он написал сценарий документального фильма о русских эмигрантах. И сам должен был его режиссировать. Ведущим на этот фильм он пригласил артиста-эмигранта Олега Видова. Но что-то у них там не вышло.

— Не вышло у Видова меня сбросить, — сказал Давыдов.

И предложил роль ведущего мне. В фильме намечались интервью с Нуриевым, Солженицыным, Ростроповичем. Предполагалась поездка в Париж. Роль ведущего показалась мне заманчивой, и я согласился.

Тем временем работа над сценарием о поездке богатого американца в Москву завершилась. Мы назвали его «Небольшой дождь в четверг».

Появился первый в моей жизни агент — Уордлоу. От «Дождика» он пришел в полный восторг. И заявил, что продаст этот «глубокий и трогательный сценарий» в течение двух-трех недель.

Мне нравятся люди, предсказывающие что-то хорошее. Понравился и Уордлоу.

А тут еще Рон предложил сотрудничество, уже без Дженифер.

— Давайте вместе напишем сценарий. В стиле Хичкока, — сказал он.

Это было лето 1989-го.

Вот уже полгода я не видел Анютку и Машу. Мучимый совестью, я думал о них постоянно. Разумеется, дети не чувствовали, что назревает крутой перелом в их жизни. Но я-то знал...

Они прилетели вместе с Верой. Никогда раньше я не испытывал такого смятения чувств. Безмерная нежность и теплота к детям переплеталась со стыдом. Формально-спокойные отношения с Верой готовы были взорваться всей накопившей и жестокой правдой.

Мы устроились в мотеле на улице Фэйерфакс.

Между мной и Верой с первой же минуты ее пребывания в Америке пролегла холодная тень, которую Вера старалась не замечать. Я был вежлив с нею, но держал дистанцию, не оставляя сомнений, что у меня есть другой человек. Ситуация позорная, низкая, с какой стороны ни посмотри. Мне было жаль Наташу, вынужденную терпеть мое раздвоение, жаль было и Веру, прилетевшую к остывшему мужу, но более всего жаль было девочек. Как им сказать, как выразить все то, что я чувствовал? Отрубить — и кончено? Много раз я мысленно говорил девочкам: «Анютка... Машуленька... Мы с мамой больше не любим друг друга и решили расстаться». «А как же мы? — непременно раздавалось в ответ. — Ты нас тоже бросаешь?»

Я рос, не задаваясь вопросом, почему мама одинока. По легенде, внушаемой мне с детства, отец геройски погиб. Но с годами до меня дошло другое: отец не только жив, но и имеет другую семью.

Как это произошло?

Во время войны мама, беременная мной, находилась в немецком концлагере. Отец, не дождавшись ее освобождения, женился на другой женщине. Когда мама вернулась, отец, уваливая от алиментов, потерялся где-то в Татарии. Всю нашу жизнь мы никогда всерьез не говорили об отце: мама, по-видимому, не хотела говорить о нем плохо, я же не хотел слышать о нем хорошее. Он был сволочью. Туберкулез мамы, вечные скитания по чужим углам, наше с ней нищенство — вот что определило мое отношение к отцу. И не важно, был ли он хороший инженер, любил ли собак, писал ли стихи.

*Я был ему не нужен!*

Теперь я сам выступал в роли подлеца-отца.

Два сказочных дня. В Диснейленде и на студии «Юниверсал». Перебежки от одного аттракциона к следующему. Хот-доги, кока-кола, поп-корн — и безмерное счастье. Видеть их такими и примериваться к словам прощания было настоящей пыткой.

У моих женщин — прямо противоположные характеры. По гороскопу Вера — Водолей, а Наташа — Близнец. Одна избегает конфликтов, другая их провоцирует. С Водолеем легко, с Близнецами трудно. Наташу носит из стороны в сторону, Веру тянет к стабильности. У каждой есть свои плюсы и минусы. Нет, Близнецы отнюдь не мой любимый знак, но что же тогда стряслось? Что заставляет меня сносить Наташин мятущийся характер? Может, то, что мама тоже была Близнец? Неужели это ее призрак влечет меня?

В это время начались съемки документальной картины. Несколько интервью с эмигрантами мы сделали в Лос-Анджелесе, затем отправились в Нью-Йорк. Съемки на Брайтон-Бич, в Центральном парке. Потом намечалась поездка в Париж, где нас ждал наследник Российского престола великий князь Владимир Кириллович. Там же, в Париже, предполагалось взять интервью и у Рудольфа Нуриева. Но прежде Нью-Йорк.

В Нью-Йорк мы полетели с Верой и девочками. Побыв там со мной четыре дня, они должны были возвращаться в Москву.

В эти последние четыре дня и я, и Вера понимали, что случилось что-то непоправимое. Напряжение росло. Вера с трудом прятала от девочек слезы, а я изо всех сил старался занять себя работой. Лишь девочки, не догадываясь о беде, были по-настоящему счастливы. Наконец-то мама и папа вместе!

Съемки фильма шли полным ходом. Один интересный эмигрант сменялся другим. У всех интервью был единый остов: *свобода!* Эта тема была инициирована самим Давыдовым, поэтому приходилось обсасывать это слово и так и этак и с таким усердием, что порой становилось скучно.

Однако то, что не было подчинено режиссуре Давыдова, а возникало спонтанно, мне очень нравилось и давало надежду, что фильм может вырваться на широкий простор.

— Кого ждем?

— Писателя Сергея Довлатова, — отвечает Давыдов и нетерпеливо смотрит на часы.

Наконец в кафе появляется высокий, привлекательной наружности писатель-эмигрант. Ему под пятьдесят.

— Извините за опоздание. О! У вас уже все готово? Ну что ж, начнем...

Из-за недостатка времени режиссер забывает представить меня Довлатову. Зажигается сигнальный огонек камеры, и я с места в карьер задаю первый вопрос:

— Вы были свободны в России?

Вдруг Довлатов «берет меня в фокус».

— Простите... А вы не... Нахапетов?

Камера работает, мне следует реагировать.

— Да.

— Бога ради извините, что не признал вас сразу. Вижу знакомое лицо, но... Как вы оказались здесь? Как устроились?

Вместо того чтобы отвечать ведущему, Довлатов сам начинает задавать вопросы. Мне приходится отвечать. Получается смешно, естественно, *документально*. Жаль, что это непринужденное начало беседы Давыдов впоследствии выбросил.



Один эпизод хочу выделить особо, он сыграет роковую роль впоследствии. Нью-Йорк. Мы снимаем в Центральном парке. На почтительном расстоянии от нас Аня и Маша беззаботно резвятся на ярко-зеленой полянке. Оператор, закончив снимать очередного эмигранта, переводит камеру на девочек и снимает их для монтажной перебивки. Не предполагая, что через полгода эти невинные кадры будут как мина замедленного действия в наших с Наташей и без того трудных отношениях.

Мне платили сто долларов «суточных». Несколько дней съемок и часть горнора дали мне возможность купить компьютер, который Вера взяла с собой. Продав его, она могла бы получить приличную сумму. Это все, что я мог для них сделать.

И вот — Париж.

Великий князь Владимир Кириллович, наследник Российского престола, встретил нас чрезвычайно любезно. Мы расположились для интервью в его квартире, в самом центре Парижа (неподалеку от американского посольства). Он был в элегантном темно-синем костюме, умело причесан — волосок к волоску. Голубая кровь, белая кость — царская порода. Вся семья была в сборе: жена, дочь и внук.

— Я переносил трудности, — говорил великий князь. — Судьба бросала меня с места на место, но я, являясь единственным наследником Российского престола, всегда был готов выполнить свой долг...

Давыдов остановил съемку и подсел к великому князю поближе.

— Не могли бы вы рассказать о другом? Что вы понимаете под словом «свобода»?

— Минуточку... — Владимир Кириллович повернулся к супруге. — Как было?

— Скванно. Повтори еще раз, — сказала великая княгиня Леонидия и, понизив голос, уточнила: — *Вся* наша семья перенесла огромные трудности...

— Да-да, ты права... Позвольте мне еще раз? Я был недостаточно четок.

Анатолий, вздохнув, согласился.

— Пожалуйста, не забудьте о свободе.

Великий князь кивнул и начал свое интервью, подчеркнув на этот раз, что не один он переносил трудности, а...

— ...вся наша семья. Мы скитались по разным странам, знали нужду. Но никогда не забывали о своем священном долге...

Я видел, что Анатолий ерзает на стуле явно недовольный. Он планировал услышать размышления наследника престола о свободе, а не о долге. Я отвел Давыдова в сторону.

— Пусть говорит что хочет. Это интервью — для него возможность заявить о себе в полный голос. Поверь, это всем будет интересно. Даже то, *как* он говорит, — уникально и неповторимо.

Сюжет для триллера (в стиле Хичкока) обрел четкие формы в моем сознании, так что по приезде в Лос-Анджелес мы с Роном Паркером начали активно работать. Встречались чуть ли не каждый день. Наташа была рядом и всегда приходила на помощь, когда мой словарный запас истощался. Я вслух воображал, описывал будущий фильм, сцену за сценой, Рон подробно все записывал. Затем мы расставались, и через два-три дня то, что мы придумывали и обговаривали, можно было увидеть на бумаге. Мне нравился стиль Рона (не сравнить с Дженифер) — деликатный, умный, в чем-то похожий на него самого.

В Калифорнию пришла зима. Смешно сказать — зима. По-летнему сияет солнце над головой, и даже в пасмурную погоду можно ходить налегке. Мои московские теплые вещи висят нетронутыми уже вторую зиму. Быстро бежит время. Убегает...

Как там Анютка? Она в Вагановском училище, в Ленинграде. Там сейчас, наверное, сыро, мерзко. Что они с бабушкой делают долгими вечерами? В Москве тоже сыкотно, и Машулька, наверное, с ангиной или с насморком. Как обычно...

Я часто думаю о них.

Анютка... Мне кажется, ей будет тяжело в жизни. Замкнутая, упрямая. К ее сердечку пробиться нелегко.

А Маша? При ее оптимистичном, задорном нраве так ли уж все безоблачно?

Разумеется, живя с Наташей, я помалкивал о своих беспокойствах, чтобы не сталкивать лбами две силы — любовь к ней и любовь к девочкам. Моя любовь к детям значила для Наташи кровную, а значит, и неразрывную связь с *Верой*.

— Ты говоришь о детях, а думаешь о ней! — вспыхивает Наташа.

Расстроенный, я сел за пианино...

Мы с Роном наконец закончили наш триллер и назвали его (с Наташиной подсказки) «Психушка». Я работал над этим сценарием с особым подъемом. Не только потому, что был творчески удовлетворен и надеялся на успех, а еще и потому, что основа истории документальна. Излагая ее, я избавлялся от давней боли, связанной с воспоминанием о матери, которую за инакомыслие однажды упекли в психиатрическую больницу.

Это было во времена Хрущева. Мама решила, что Никита Сергеевич сможет навести порядок и выпустить из застенков ГУЛАГа политических заключенных. Она тогда работала воспитателем в лагере для политических заключенных. Имея постоянный пропуск, она передавала на свободу письма и информацию о нарушении прав человека как в лагере, так и за его пределами. Вскоре у нее на руках был список невинно осужденных, и он рос не по дням, а по часам.

На мамино письмо Хрущеву ответа не последовало. Мне было тогда 16 лет, и кино, которым я увлекался, было интересней реальности. Уехав учиться, я и вовсе отделился от маминых политических интересов. С утра до ночи репетировал в актерской мастерской ВГИКа и материнские письма читал мельком, не углубляясь в днепропетровскую жизнь.

Однако в письмах мамы я все чаще находил тревожные сигналы. Сначала у нее были какие-то нелады на работе, которые закончились увольнением. Потом (в ее отсутствие) в комнате, где она жила, произвели обыск. Затем появились подозрительные типы, следующие за ней по пятам. И, наконец, ее вызвали на беседу в психдиспансер. Так она познакомилась с Гендиным, врачом-психиатром, который «захотел ей помочь». Гендин был вежлив, но сказал твердо, чтобы она тут же прекратила болтать глупости о политзаключенных в СССР и тем более писать письма в ЦК КПСС.

— Галина Антоновна, — предупредил он маму, — ваши возмущенные письма легко расценить как одну из форм шизофрении. Будьте осторожны.

— Письма были адресованы правительству, а не медикам. Откуда вы о них знаете?

Гендин вздохнул:

— Я просто предупреждаю. Взываю к вашему здравому смыслу.

Маму не так легко было сбить с пути, тем более напугать. Она ушла из кабинета Гендина, не сказав ни слова, и с еще большим рвением стала продолжать делать то, что считала нужным и честным.

Весной 1962 года в пять часов утра за мамой приехали два милиционера и три санитаря. Соседи рассказывали, что ее вывели из дома в ночной рубашке. Она кричала, вырывалась из рук дюжих мужиков, и тогда один из санитаров ударил ее ногой в пах, так что мама рухнула на асфальт, а двое других навалились на нее и, связав полотенцами, затащили в милицейскую машину.

Никогда не забуду небольшой городок Игрень, неподалеку от Днепропетровска, куда я приехал, чтобы увидеться с мамой.

Мама была спокойна и готова к борьбе.

— Свяжись с журналом «Советская женщина», у них когда-то была статья обо мне (мама во время войны была партизанкой), попроси, чтобы они прислали сюда официальный запрос о моем здоровье и назначили консилиум врачей. Если не выйдет, сошлись на закон, по которому ты как ближайший и совершеннолетний родственник можешь взять меня под свою опеку. — И добавила совсем по-домашнему, мирно: — Не беспокойся, здесь кормят неплохо.

Я приезжал в Игрень практически ежедневно. Однажды, когда я гулял по саду психбольницы (был «мертвый час», и мама отдыхала), ко мне, озираясь по сторонам, тихонько подошла врач отделения. На глазах у нее были слезы.

— Спасайте ее, — шепнула она. — Вашу маму собираются отправить в закрытое отделение. Для буйнопомешанных.

— Что?

— Это конец. Никаких родственников, никаких консилиумов. Вы никогда ее больше не увидите.

— Что мне... что надо сделать?

— Я не знаю... Кричите, топайте ногами. Вы сын.

Я тут же отправился к главному врачу больницы. Прямо с порога заявил, что врачи совершают преступление, держа взаперти здорового человека. На каком основании? Просто потому, что кому-то наверху не по душе мамины письма?.. Я был так агрессивен, что на меня самого можно было накинуть смирительную рубашку.

— Послушайте... — Главврач был ошарашен моим напором.

— Нет, *вы* послушайте! — продолжал я. — Что, мама бьет стекла? Кусает врачей? Почему вы не отдаете ее мне? Я совершеннолетний, мне восемнадцать...

— Она опасна *социально*...

— Кто это сказал? Вы или Гендин? По закону я могу взять ее под свою опеку. Вот так! Я знаю закон!..

Главврач прервал меня, поднимаясь из-за стола:

— Молодой человек, вы мне надоели...

— Думаете, я не знаю, что это связано с ее письмами в ЦК? Так вот и не лезьте, пусть ЦК с этим и разбирается. Мама — Герой Советского Союза! (Она не была «героем», но мне было наплевать, мне нужны были аргументы.) Против вас пойдет весь Комитет ветеранов войны! «Советская женщина» — тоже! Журнал такой! Кстати, вы получили запрос от них на проведение медицинского обследования?

Главврач, не сказав больше ни слова, вышел из кабинета. Я за ним. Но его и след простыл.

На следующий день маме начали делать какие-то уколы. Ассистент главврача колот сам. Мамина лечащий врач, та, которая обратилась ко мне в саду, была в недоумении.

Через пару недель, ранним утром, перед мамой открыли дверь и сказали: «Иди». И она пошла. И села на автобусной остановке — ждать меня. Там я ее и увидел — она держала на коленях желтую головку подсолнуха и вылущивала семечки.

Очень скоро после выхода мамы из больницы под левой грудью у нее стала расти раковая опухоль. Мне до сих пор кажется, что это — следствие тех уколов, которые назначил ей главврач после моего выступления перед ним.

Сценарий «Психушки» не был буквальным повторением маминой истории, но во многом был навеян ею. Стержнем кинорассказа стала месть.

Пришло время рассказать об одном словечке, без которого Голливуд понять невозможно. Это «булшит». Буквально переводится, как «бычье дерьмо». Но точнее — «вешать лапшу на уши».

«Тэрнер в восторге от моего сценария», — врет какой-нибудь неудачник-сценарист другому, такому же.

Сценарист теряет квартиру, жену, становится бездомным беззубым стариком, но продолжает держаться на плаву за счет булшита, лжи, поднимающей его престиж, его цену.

Булшит пропитал голливудскую почву основательно. Человеку со стороны может показаться, что все в Лос-Анджелесе так или иначе связаны с кинобизнесом. Массажист приглашен играть главную роль, ждет вызова на съемку. Официантка завтра идет на пробу и без пяти минут звезда. Почтальон пишет сценарий. Автомеханик готов бросить дело и пойти в режиссуру. В любом месте, во всякой компании сыплются имена знаменитостей, с которыми вчера виделись, выпивали...

Я познакомился с режиссером из Чехословакии — неким Жановским. Его офис располагался в престижном районе Лос-Анджелеса, в многоэтажном здании. На столе у него лежал популярный в Америке киножурнал с цветной страницей-вкладышем. На этой странице был изображен пейзаж с восходящим солнцем и названием его будущего фильма «Восходящее солнце». К съемкам этого фильма Жановский намерен был приступить не сегодня-завтра. Задержка, как он объяснил, возникла из-за того, что главную роль хочет играть актер Энтони Куин («Вот его восторженное письмо!»), но Жановский его не хочет, а хочет Шона О'Коннери.

— Ждем ответа от Шона, — булшитит он.

Между делом Жановский спрашивает меня: не согласится ли какой-нибудь русский инвестор вложить деньги — под Шона? С «Мосфильмом» он говорил, но там дураки сидят, отказались сотрудничать.

В свою очередь, я поинтересовался, какие фильмы Жановский сделал.

— Мюзикл «Волосы», — ответил он.

Я с почтением взглянул на него: «Волосы» — прославленная лента! Но Наташа, не мудрствуя лукаво, спросила:

— А разве «Волосы» снимал не Милош Форман?

Жановский не моргнув глазом ответил:

— И он снимал. В Америке. А я сделал в Чехословакии. Мой фильм лучше.

На следующий день ради интереса мы обошли несколько видеосалонов, но «чешской» версии мюзикла «Волосы» не нашли, о ней никто и не слышал.

Мне противно вранье, но, как ни странно, бывают случаи, когда булшит вызывает жалость и сочувствие. Это бывает, когда ты видишь, что ложь о себе — лишь защита, желание скрыть от других, а порой и от себя полнейший внутренний разлад, крах. Именно сочувствие к подобного рода людям в свое время и привело меня к мысли сделать документальный фильм под названием «Мечты в Голливуде».

Ни «Небольшой дождь в четверг» (сотрудничество с Дженифер), ни «Психушка» (альянс с Роном) никуда не пошли. Студии под тем или иным предлогом сценарий вернули.

Деньги, которые я заработал у Давыдова, подходили к концу. Мои синопсисы никого не трогали. Правда, за идею документального фильма «Американская мозаика» Ли Дэйвис заплатил мне 3000 долларов. Но на это ли я рассчитывал?

К тому же как следствие неудач между мной и Наташей все чаще стали разражаться ссоры. А тут еще подоспел просмотр документального фильма Давыдова, который и поставил на всем жирную точку. Вот как это было.

В Лос-Анджелес прилетел продюсер Ли Дэйвис и попросил меня озвучить фильм закадровым текстом. Организовал просмотр.

Приехали, начали смотреть. Какие-то скучные интервью, мой затылок. И вдруг как гром среди ясного неба — Аня и Маша резвятся на траве в Центральном парке. Я почувствовал, как Наташа вся сжалась. А следом — новый удар. Давыдов вставил эпизод, когда я звоню в Москву и разговариваю с дочками. Ему

необходимо было показать, что сам ведущий мечется в сомнениях и не знает, вернуться ли ему на Родину или закрепиться в новой стране. Наташа смолкла. Напряжение в зале было такое, что даже Ли растерялся. Так в глухой тишине картина и закончилась.

В последних кадрах фильма ведущий (то бишь я) носится по улицам Лос-Анджелеса все отчаяннее и быстрее, пока его автомобиль не упирается в тупик. Все. Конец.

Мой гардероб поместился в двух чемоданах, книги пришлось засунуть в полиэтиленовые мешки, предназначенные для мусора. Загрузив старенький «шевроле», я выехал со двора. Надо было где-то отсидеться и зализать раны.

Объявление в газете обещало «чистую и уютную» комнату в Санта-Монике за 450 долларов в месяц. Хозяйка комнаты была старенькая и очень хмурая. Оглядев меня с головы до ног, она заметила, что я произвожу впечатление серьезного человека и вряд ли стану приглашать шумных гостей, особенно девушек.

— Они все больны сифилисом! Я покажу газету. Статистика ужасающая!

Хозяйка эмигрировала из Испании, была глубоко религиозной и потому распушенный американский образ жизни категорически не принимала.

На кухне мы едва могли развернуться. На полках, столиках, табуретках, на полу и под потолком — кругом были пакеты с продуктами. Холодильник старушки был так забит, что даже крохотный стаканчик йогурта невозможно было втиснуть. Старушка явно готовилась к длительной осаде. Или боялась землетрясения.

— Доплатите еще четыреста, и я буду вам готовить! — предложила она.

Я вдохнул мертвящий запах ее блюд, отдающий формалином, и вежливо отказался.

Санта-Моника называется городом, но на самом деле это часть большого Лос-Анджелеса. Главная магистраль города, бульвар Санта-Моника, тянется от Тихого океана, затем проходит по городу Беверли Хиллз, пересекает город Голливуд и упирается в деловой центр Лос-Анджелеса. Весь этот путь расторопный водитель может покрыть за полтора часа.

Чтобы чем-то занять себя, я решил привести в порядок старые московские записные книжки. Я надеялся, что прошлое даст мне возможность хотя бы немного прийти в себя. На какое-то время мне и в самом деле это удавалось, но, как только в поле зрения попадал телефон, я тут же вновь вспоминал о Наташе...

Несколько раз звонил Рон. Говорил, что надо переделать «Дождик». Он провел соответственную работу с Дженифер, она согласна.

«С Дженифер уже договорились,— размышлял я.— Но как обойтись без Наташи? Без ее аккуратного перевода, без разумного взгляда на вещи? Почему она не отвечает на звонки? Что с ней? Страдает? Или занята поиском нового друга?»

От мыслей о «новом друге» сердце начинало биться тревожно. Выходит, я не избыл своих чувств к ней. А она?

Звоню — нет ответа.

Наконец появилась.

— Зачем ты мне все время звонишь? — были первые ее слова.

— Где ты была? Куда пропала? — спросил я.

— А твое какое дело?

Ее резкий и враждебный тон давал понять, что она ничуть не жалеет о разрыве.

— Мне все равно,— как можно спокойнее сказал я.— Это Рон просил позвонить.

— Что ему надо?

— Чтобы ты нам с Дженифер помогла...

Встречались по-прежнему у Рона на квартире. Наташа демонстративно не хотела со мной сближаться, никогда не садилась рядом и даже не смотрела в мою сторону. Мне вспомнилось чье-то замечание: «Когда женщина совершенно не смотрит на мужчину, это значит, что она смотрит на него постоянно». Это звучало утешительно. Но не более того.

Закончив работу, мы расставались на стоянке машин. Она садилась в свой «мерседес», я — в старенький «шевроле», требующий ремонта, и — в разные стороны. У нее появился новый круг знакомых, а я по-прежнему довольствовался общением со своей ворчливой хозяйкой, пылавшей ненавистью к женскому полу.

— Все студентки — проститутки. У них сифилис! Статистика ужасающая! — то и дело повторяла она.

Мне ничего не оставалось, как сделаться затворником. Смотрел телевизор, читал книги, писал письма... Да, я стал чаще писать в Москву. Те чувства к девочкам, которые я при Наташе загонял вглубь, теперь естественно вырывались наружу. Я старался загладить свою вину перед ними. Понимая, что нанес травму не только детям, я и к Вере переменял отношение. Я не просил прощения, не врал, что люблю, а просто хотел наладить хоть какой-то контакт — уважительный и достойный нашего прошлого.

Я всегда знал, что хорошее дается нам свыше, а плохое мы делаем своими руками. Вот только вопрос: как отделить одно от другого? Как оценить события?

Вот разрушил семьи, свою и чужую. Что это, как не грех? Постыдный и непростительный. Но как отнестись к чувству любви, которое я испытал?

Уехал в Америку в надежде, что поднимусь на ступень выше. Но все потерял и сижу у разбитого корыта. Что ж, возвращаться не солоно хлебавши? Принять поражение как *должное*?

Знаю, что за грехи надо расплачиваться. Но, может быть, не так все просто и трудности, которые я переживаю, — это трудности роста? На чужой земле, на незнакомой почве? Падение — взлет...

Я гуляю по Санта-Монике, прохожу мимо витрины, в которой выставлены киноафиши довоенных фильмов. Старый, славный Голливуд. Рядом со мной стоит бездомный бродяга (бородатый, голова обернута каким-то тряпьем). Он что-то жует и тоже смотрит на афишу «Касабланки». О чем он думает?

Да, я осмелился бросить вызов привычной московской рутине, порвал старые связи, я обманул, я предал и все такое прочее, но вот новые впечатления, новые типы, новые мысли, которые ворвались в мою жизнь. Это незаменимая пища для художника. Может, и в самом деле, потеряв одно, найдешь другое? Но лучше ли оно будет того, что ты потерял?

«Приезжайте на лето! — написал я Анютке и Машеньке. — Деньги у меня есть, будем ходить в «Макдоналдс» и загорать на пляже...»

Девочек долго уговаривать не пришлось. Но Вера мучилась сомнениями. Как это понимать? Значит ли это, что я приглашаю и ее? А что же с Наташей? Покончено? Видимо, да, если Васанта-Уэй сменилась Санта-Моникой. И все же в моем письме относительно Веры ясности не было.

Обстоятельства сыграли нам на руку. Спектакль, в котором Вера была занята, должен был участвовать в театральном фестивале неподалеку от Нью-Йорка. Вот и решили: Вера привезет девочек ко мне, а сама вернется в Москву на репетиции. Через два месяца, в августе, она придет на фестиваль и заберет их. Все. Просто и ясно. Без лишних эмоций и сомнительных прогнозов. Все станет на свои места летом. А пока...

Я стал настаивать на встрече с Наташей. И, как это ни парадоксально, наши отношения с ней возобновились — как раз накануне приезда Веры.

Вера привезла девочек и, побыв в Лос-Анджелесе несколько дней, улете-

ла назад. Она уехала, не сомневаясь больше, что случилось непоправимое и развода теперь не избежать.

В 1974 году, когда я начинал работать над фильмом «На край света», мне попала в глаза очаровательная восемнадцатилетняя девчушка, которая сначала сделалась героиней фильма, затем завоевала мое сердце и стала моей женой, родила прекрасных девочек, работала со мной, понимала меня, ждала, когда я уезжал, верила и любила. Все это, вся моя жизнь с Верой, уходило теперь в прошлое вместе с ее отъездом. Прощаясь с ней, я старался сдерживаться, чтобы не выдать душевной боли, чтобы не испугать грустным, подавленным видом Анечку и Машульку.

На следующий день я перевез девочек на Васанта-Уэй, к Наташе, сказав, что она мой менеджер и... друг. Пожалуй, впервые в жизни они засомневались в правдивости моих слов, и мне, чтобы не ранить их чувств, пришлось вести себя соответственно. Я постелил себе постель в их комнате. Определенно, я еще не был готов к тому, чтобы побеседовать с ними начистоту, как советовала Наташа. Я был в полном раздрызге сам.

Днем я увозил девочек на пляж, где они часами противостояли волнам и упражнялись на моей спине — пощипывали, колотили, натирали песком, давая импровизированные названия новым массажам. Они часто играли с Наташиной Катей, уходили на горку, позади дома, разбивали там лагерь с палаткой или шалашом, готовили куклам еду, о чем-то спорили (иногда то одна, то другая с насупленным видом появлялись в доме). А вечером всем «семейством» бродили по голливудским холмам, прогуливая стареющего Лаки.

Каникулы завершились. Я вылетел с девочками в Нью-Йорк. Вера к тому времени уже приехала с театральной труппой в небольшой город под Нью-Йорком и ждала нас. Все вместе мы побывали на спектакле, радовались американскому успеху мамы (Вера в самом деле играла прекрасно), а я отметил про себя, что мой уход карьеру Вере не испортит: она крепко стояла на ногах.

Перед расставанием Аня сунула мне в руку письмо и сказала:  
— Пожалуйста, не читай сейчас. Прочитай в самолете, ладно?  
— Обещаешь? — добавила Машулька, потянув меня за рукав.  
Я улыбнулся.

В самолете я удобно расположился в кресле и распечатал конверт.  
«Папа. Ты думаешь, мы маленькие и ничего не видим и не понимаем? Не забывай, мне уже почти двенадцать лет, а Маше исполнилось десять. Ты должен решить, кто тебе дороже: мама, мы с Машей и Кеша или Наташа, Катя и Лаки? Если ты выберешь их, знай, что мы к тебе больше никогда не приедем.

Твои родные дочери — Аня, Маша (каракули подписей)».

Я не мог больше сдерживаться и, закрыв лицо руками, заплакал.

Однажды мы забежали в Голливуде в «Макдоналдс». За соседним с нами столом сидел странный тип — в измятой, грязной одежде. На полу у его ног лежала набитая хламом сумка, на которой я узнал эмблему Наташиной организации (Ассоциация независимых телевизионных станций). Я легонько ткнул Наташу локтем и указал на бездомного «коллегу», который с умным видом рассуждал о грядущем американском кинорынке, сыпал известными именами. Рядом с ним сидели такие же потерянные, как и он сам, и рассуждали о падении великого американского кино.

Выйдя на улицу, я сказал Наташе, что было бы здорово сделать фильм о талантах, не нашедших признания, но сохранивших оптимизм. Наташа загорелась этой идеей, и мы тут же начали присматриваться к обитателям голливудского бульвара.

— Смотри,— сказал я, показывая на девушку, катившую на роликовых коньках между туристами.

Мимоходом она задержалась у мусорной корзины, незаметно сунула туда руку, потом развернулась в красивом пируэте и помчалась к следующей корзине.

— А как тебе этот? — спросил я о бездомном, соорудившем на голове какой-то колпак с усиками-антеннами, пародируя, по-видимому, космического пришельца. Вся его шея была опутана разноцветными проводами.

— Не знаю... — пожалла плечами Наташа. — Среди бездомных много сумасшедших.

Нам нужен был гид, который помог бы разобраться, кто есть кто в безумном мире голливудских бездомных. Мы вернулись в «Макдоналдс», чтобы посоветоваться с Наташиным «коллегой». Он по-прежнему сидел там и рассуждал о киноновостях. Его звали Ларри Лаварет. Он представился кинокритиком и держался с гордым достоинством. Мы высказали ему нашу просьбу. Слегка колебавшись, он согласился быть нашим гидом. За умеренную плату.

Так началась работа над фильмом «Мечты в Голливуде». Лаварет был нашим координатором, Наташа — продюсером, я — режиссером, а «Макдоналдс» на улице Вайн стал нашим офисом. Будущие герои фильма не имели крыши над головой, а телефона, поэтому Лаварет рыскал по голливудскому бульвару, находил, кого мог, и приглашал всех без разбора на завтрак в «Макдоналдс». Мы беседовали с ними, узнавали про их жизнь, кого-то отбирали, кого-то отсеивали. Так продолжалось два с лишним месяца. В результате мы отобрали семнадцать человек. Составили план съемок, сговорились со всеми и разошлись, не зная, появятся наши герои на съемках или нет.

Как ни странно, не произошло ни одной осечки по вине бездомных: с аккуратностью профессиональных артистов они появились там, где мы условились, хотя у них не было ни агентов, ни менеджеров, ни ассистентов, которые напомнили бы им о дате и времени съемок.

Тэд Вайлд (Дикий), сценарист. Ему 83 года, но он все еще полон энергии и обладает уникальной памятью. Он живая энциклопедия. Каждый день в пять утра он выгуливает чужих собак за полтора доллара, выпивает чашку кофе в «Макдоналдсе» и затем идет в библиотеку, где проводит весь день. Он приехал в Голливуд в тридцать четвертом году, чтобы расправиться с продюсером, укравшим у него сюжет. В нашем фильме он вспоминает о славных годах Голливуда и исполняет на губной гармошке песню, посвященную своей любимой киноактрисе Кэрол Ломбард, погибшей в авиакатастрофе в годы второй мировой войны. Кстати, он был так потрясен сходством Наташи с Ломбард, что тут же предложил ей руку и сердце. Всерьез.

Анжелика, молодая художница, рисует странные, очень элегантные картины. Готова за один доллар отдать их все, так как очень голодна. Помимо рисования она много занималась гитарой, любила играть Баха. За неуплату квартплаты у нее отобрали картины и гитару. Она рисует огрызками карандашей, пристроившись на автобусной остановке, поскольку автобусная остановка для бездомной женщины наиболее безопасное место.

Томми Томазито — талантливый черный певец. Все, что скопил, потратил на студийную запись своих песен, одну из них, «Хочу с тобой потанцевать», он и исполнил в фильме — беззубый, грязный и жизнерадостный.

Эстредита Де Гардель, испанская танцовщица. Вот уже сорок с лишним лет она ходит в трауре по своему «мужу» — знаменитому аргентинскому певцу Карлосу Гарделю (основоположнику танго), который не успел насладиться семейной жизнью с нею, так как сгорел заживо во время авиакатастрофы. «Леди в черном», как мы ее прозвали, часто приходит в церковь, где кормят бездомных; поев сама, она танцует перед ними, вселяя в них бодрость и оптимизм. Вот уже пятьдесят лет она не снимает траура (она не знала других мужчин после Гарделя). Но никогда не унывает.



— В жизни, — говорит она, — бывает всякое, стоит ли отчаиваться? Это как на самолете — то взлетаешь, то падаешь вниз.

Съемки происходили в самый праздничный и важный день Голливуда — день вручения Оскаров, и интервью бездомных перемежались появлением таких кинозвезд, как Грегори Пек, Вупи Голдберг, Джессика Тэнди и другие, которые выходили из своих лимузинов и следовали в зал на церемонию.

Заканчивался день, начинался праздник кино. Над Голливудом опускалась ночь, яркая, незабываемая для кинематографистов и тихая, скромная для наших героев, засыпающих прямо на улице, под мерцающими ночными звездами.

Стоит ли говорить о том, что съемки сыграли своего рода врачующую роль, отвлекши меня от собственных переживаний и саморазъедания.

Спустя некоторое время я получил развод от Веры. А еще через несколько недель мы с Наташей поженились. То был сентябрь 1991 года.

Не успели мы начать радоваться семейной жизни, как случилась беда. Наташа потеряла работу. Ассоциация независимых телевизионных станций, ослабленная кабельным телевидением, закрыла свое представительство в Лос-Анджелесе, упразднив при этом и должность директора специальных торжеств и событий. Эта катастрофа не была неожиданностью (в прошлом году об этом поговаривали), но тем не менее случившееся повергло жену в такой шок, что вывести из него могло лишь что-то экстраординарное. Хорошо еще, подумал я, что между нами все образовалось, это давало Наташе внутреннюю опору. В противном случае депрессия была бы убийственной. Понятно: одиннадцать лет жизни Наташа отдала этой организации, а теперь вдруг стала ненужной.

Пробил мой час. Новоявленному мужу следовало взвалить на себя заботу о финансовой стабильности семьи. В Америке, как известно, основная масса населения живет в долг. Не составляли исключения и мы. Дом на Васанта Уэй был оплачен лишь частично, банк в свое время дал Наташе большой заем, и теперь нужно было ежемесячно выплачивать банку три тысячи долларов. «Мерседес» тоже был куплен в долг. Прибавьте к этому оплату медицинских страховок, школы, страхование дома (пожар, наводнение, ограбление — все разные страховки), кредитные карточки, каждодневные расходы — всего не перечислишь. Настоящая долговая яма. Чтобы не свалиться в нее и выжить, мы должны были бы зарабатывать минимум шесть тысяч долларов в месяц. У нас таких денег не было.

Когда мы снимали «Мечты в Голливуде», бездомные артисты делились с нами своими печальными историями, и общее в них было то, что, потеряв работу и не справившись с долгами, они неминуемо теряли все, что имели. Банк не простил им ни цента. Эти рассказы запали в душу, и теперь Наташу стали преследовать призраки темных подворотен и общества полоумных оборванцев.

— Справимся, не волнуйся... — пытался успокоить я ее.

— Как? — не унималась Наташа.

В самом деле — как? Я с упрямством маньяка по-прежнему бил в одну и ту же точку, не сомневаясь, что не сегодня-завтра мои сценарии будут куплены.

Кроме старых идей, у нас появились новые. Мы с Роном затеяли телевизионную серию под названием «Пицца на Красной площади», написали синопсис и разработали основные эпизоды. Все, кто читал его, смеялись от души. Наша «Пицца» пошла гулять по студиям, и мы надеялись на скорый ответ. Помимо того, Рон, вспомнив о моем фильме «Зонтик для новобрачных», зажегся еще одной идеей — сделать фильм о любви, наподобие той, что была в «Зонтике». Стали придумывать сюжет, бурно фантазировали на тему любовных отношений героев. В довершение всего я начал переписывать «Психушку» с учетом сегодняшнего дня, ведь события этого триллера разворачивались в бурлящей, новой Москве.

Увы, все наши с Роном произведения вернулись с формально-любезным от-

ветом: «Благодарим за сценарий. Он очень интересен, но в производственные планы студии пока не входит. Желаем удачи!»

Мы с женой усердно молились, часами простаивая в церкви на улице Ар-гайл. Мы старались исправить положение, испросив прощения у Господа. В самом деле, неужели влюбленные не имеют права на счастье? Или это относится только к *первой* любви?

В церкви мы частовидели композитора Алексея (Эдуарда) Артемьева и его супругу Изольду. С Алешей мы были знакомы много лет (он писал музыку к михалковской «Рабе любви»). Мне всегда нравились его спокойный нрав и мелодичная, берущая за душу музыка. Работая в кино с такими режиссерами, как Тарковский, Кончаловский, Михалков, он сделал себе имя и стал одним из самых преуспевающих композиторов Союза.

Артемьевы уже вторую зиму проводили в Америке. У Алеши был американский агент, который подыскивал ему работу, уже шли переговоры с продюсером, приближалась работа у Кончаловского («Внутренний круг»).

Артемьевы снимали квартиру в Санта-Монике, и мы не раз бывали у них в гостях. В тот трудный, болезненный период Алеша искренне поддерживал меня, из природной деликатности не вдаваясь в детали нашей семейной жизни.

— Все получится,— говорил он.— Только не сдавайся. Ты знаешь, сколько лет Андрон (Андрей Кончаловский) не снимал? Он ждал дольше, чем ты! Сначала в Париже, потом здесь. И дождался. Сейчас не он посылает сценарии на студию, а ему присылают — уговаривают.

Пример Кончаловского, к которому я относился с почтением, мало утешал меня, так как я знал, кто открыл для него двери в большой Голливуд. Отнюдь не умаляя таланта Андрея Сергеевича, должен сказать, что без «звездного» участия знаменитой Ширли МакЛейн, без ее авторитета и контактов, Кончаловскому было бы много-много труднее. Говоря это, я прекрасно сознаю, что даже с помощью Ширли МакЛейн всего не одолеешь — нужен талант, и талант незаурядный. Все это у Кончаловского было. И все же... Нужна удача, кто-то должен в тебя поверить, поручиться за тебя.

Сбережения наши катастрофически таяли, приближая день развязки. Надо было на что-то решаться. Может, продать дом?

Возвращение в Россию обсуждалось, но довольно вяло и неуверенно. Побывать в России Наташе было интересно, но жить — страшно. Даже приглашение Параджанова не смогло перетянуть чашу весов.

Сначала мне позвонил его ассистент и сообщил о запуске фильма под названием «Исповедь».

— В главной роли он видит только вас,— сообщил ассистент.— Это большая честь — сыграть самого Параджанова! Не правда ли?

Сославшись на занятость, я отказался.

Затем позвонил сам Параджанов:

— Родион... прошу тебя, не отказывайся. Представь, как важна эта картина. Это моя исповедь. Если ты откажешься, фильма не будет.

Мне помнились его «Тени забытых предков», «Цвет граната», но как актера меня никогда не воодушевлял его стиль. Мне казалось, что вместо живых образов в его фильмах передвигаются тени, очень упрощенные и однозначные. Вместе с тем я признавал его авторскую уникальность, мощную силу его киноэтнографии. У меня всегда были смешанные чувства к нему. Я помню формулировку в украинской прессе, на основании которой режиссера-бунтаря отправили за решетку. «За половую распушенность» — таков был приговор выдающемуся художнику.

Юрий Ильенко, режиссер, а в прошлом кинооператор фильма «Тени забы-

тых предков», много рассказывал о своем бывшем боссе. Не о «мальчиках» Параджанова, не о музыкальности его режиссерского видения, а о... его лицемерии. «Да, Параджанов может подарить тебе какую-нибудь серебряную антикварную вещицу, — рассказывал Ильенко, — наговорить кучу комплиментов, от которых ты зардеешься, как невинная девица, но стоит тебе выйти за дверь, как тут же раздается его смех: «Видели, как он уши развесил?»»

Не забыл Юрий Ильенко и о том, как Параджанов умело «поддержал» его режиссерский дебют. На каком-то партийном праздничном застолье Параджанов поднял тост за своего друга Юрия Ильенко и за его первый фильм.

— Гениальный фильм! — сказал он. — Шедевр! Ну и что, что он антисоветский? Это превосходный фильм превосходного режиссера. Давайте за них двоих и выпьем!

Партийное руководство Украины, вежливо чокнувшись рюмками, тут же запросило у Госкино этот *антисоветский* шедевр. Так, с легкой руки Параджанова, фильм Юрия Ильенко «Родник для жаждущих» впал в немилость и был практически уничтожен. Ильенко удалось выкрасть со студии первую (и единственную!) копию и таким образом спасти свое детище.

— Ну так что? — еще раз спросил меня устало Параджанов. — Будешь сниматься?

Я отказался. Параджанов повесил трубку.

Мы начали заниматься ремонтом дома. Красили стены, меняли ковры, складывали в коробки вещи — готовились к отъезду (хотя и не знали — куда). В эти дни Наташа часто плакала, говоря о потере дома, о катастрофе безденежья, о страхе переезда в Россию, а я впал в депрессию. Если раньше мне удавалось разложить все по полочкам, то сейчас эти «полочки» опрокинулись на меня и осыпали массой неразрешенных вопросов и непосильных дел. Я рухнул под их тяжестью. Смысл жизни, прежде такой манящий, вдруг исчез. Я больше не знал, чего хочу, чего добиваюсь и чего, собственно, стою. На полу громоздились десятки картонных коробок, в которые я механически складывал Наташины вещи: одежду, посуду, книги. Все мои вещи уместились в два чемодана. Я по-прежнему играл роль громоотвода, разряжая эмоциональные грозы Наташи, но внутри меня самого все давно уже было опалено.

Дом продать так и не удалось. Не помогли ни обновленный подъезд к нему, ни его уникальная архитектура, ни почетное соседство с виллой Чарли Чаплина, в которой тот жил в начале двадцатых годов. Америка переживала экономический спад, и спрос на дома сильно упал. Наши денежные запасы приблизились к нулю. По бумагам мы давно уже были разорены, хотя продолжали жить в дорогом доме и ездили на престижном «мерседесе». Время, когда банк выкинет нас на улицу и отберет автомобиль, уже стучалось в дверь.

И вдруг наши молитвы были услышаны. К нам в гости заглянул известный певец — лидер английской рок-группы «Культ» Иен Аусбери. Ему и его юной жене так понравился наш дом, что они захотели немедленно перебраться в него и предложили арендный контракт на один год. В тот же день мы сговорились о цене, достаточной, чтобы покрыть основной банковский долг. От сердца отлегло. Новые жильцы стали ходить по дому, прикидывая, как его декорировать, а мы, забив своими вещами несколько помещений в камере хранения, огляделись по сторонам, не зная, куда податься.

От денег, полученных за аренду дома, оставалась небольшая сумма, которая давала нам возможность худо-бедно сводить концы с концами. Мы решили, что в России на эти деньги можно жить.

— Я готова ехать! — заявила Наташа.

— Давай немного подождем, — засомневался я.

Чем больше я думал о возвращении, тем меньше эта идея мне нравилась. Я приходил к выводу, что в Москве меня никто не ждет: девочки наверняка еще сердятся, что я не принял их «ультиматум»; жилья нет; мои сбережения из-за девальвации срезались на тысячу процентов, и теперь на них вместо «Жигулей» я мог приобрести лишь одно колесо. Если даже остались зрители, которые меня помнят, вряд ли кто-то из них пожертвует миллионы на постановку. Прошлые связи потеряны, а новые не сформировались. Что же касается тех, кто мог бы помочь, то для них, для так называемых новых русских, мое имя олицетворяло некий забытый стандарт, никому не нужный прошлогодний снег. Словом, вслед за открытием Америки мне следовало открывать новую Россию. А сил путешествовать и начинать все сызнова у меня уже не оставалось.

— Устал? — спросила Наташа.

— Да. Я не думал, что переезжать будет так тяжело.

Наташа приняла мою усталость за чисто физическую. Я же не хотел отягощать ее своими депрессивными раздумьями, тем более что она и сама не рвалась в бой и тоже хотела отдышаться. Мы отложили глобальный переезд в Россию до начала учебного года.

Лето было в разгаре, и мы, воспользовавшись приглашением Наташиной двоюродной сестры, перебрались на летнюю дачу неподалеку от всемирно известного парка Йосемити.

Это было здорово. Мы бродили по окрестностям, купались в озере, ездили осматривать исторические достопримечательности, даже выбрались однажды в город Лэйк Тахо и поиграли в казино.

Угли моих голливудских надежд тихо догорали. Я залечивал раны и не хотел травмировать себя новыми надеждами. Все это булшит, обман, хватит! Надо думать о реальных вещах. Как нам быть с пропиской в Москве, в какую школу там пойдет Катя, дадут ли мне мастерскую во ВГИКе? Не скажу, чтобы мне приятно было обо всем этом думать, но, во всяком случае, я чувствовал, что таким образом стою на земле, а не витаю в облаках.

И тут раздался звонок...

— В понедельник нас ждут на киностудии «Двадцатый век Фокс», — сказал Рон.

— Кто там будет? — спросил я.

— Лин Арроуз (партнер Джессики Ланж), Элизабет Гэйблер (вице-президент студии), ты и я. Все вместе мы пойдем к президенту киностудии Роджеру Бирнбауму.

— И... что это значит?

— Будем рассказывать сюжет. Элизабет сказала, что Роджер Бирнбаум уделит нам целых десять минут. Так что захвати еще и кассету «Зонтика для нобращных», пусть увидят качество... Сколько тебе добираться до Лос-Анджелеса? — вдруг забеспокоился Рон.

— Шесть часов. Не волнуйся, я не опоздаю.

Я старался сдерживать волнение, но оно все больше и больше охватывало меня. У Наташи был давний друг Дэвид Джен, китаец, отец которого был известный тайваньский миллионер. У Дэвида пустовала квартира в Беверли Хиллз. Решено было, что я выеду в воскресенье, переночую у Дэвида в Беверли Хиллз (ключ он оставит в условленном месте), а утром в понедельник спокойно отправлюсь на студию.

В одиннадцать утра мы встретились с молодежью, чуть старше сорока, президентом студии «Фокс» Роджером Бирнбаумом. Он был в джинсовых штанах и в рубашке с короткими рукавами, слегка мятой.

— Приветствую. И извиняюсь, что заставил ждать, — сказал он и сел напротив нас. — Ну что ж, я весь внимание, рассказывайте.

Рассказывали мы с энтузиазмом. Начал Рон, потом подключился я, потом продюсер фильма Лин Арроуз, затем Элизабет. Мне показалось, что любовная история, которую мы с Роном придумали, Бирнбауму понравилась, но потом он начал рассуждать вслух, придираясь то к одному повороту сюжета, то к другому. И чем больше замечаний он высказывал, тем более мы сникали.

— Да, Роджер, ты прав,— решила вмешаться Элизабет Гэйблер, которая организовала эту встречу.— Но мы не собираемся делать фильм-однодневку, как ты говоришь.

— Никто не хочет! — холодно сказал Роджер Бирнбаум.— А получается. Вы видели новый фильм студии «Парамаунт» «Кузены»? Так вот такое... нам не нужно.

Элизабет повернулась ко мне:

— Родион, вы принесли свою кассету?

Я протянул ей «Зонтик».

— Роджер, мы намерены сделать реалистическую, серьезную ленту с великолепными актерскими работами. У Родиона есть фильм, который был для нас ориентиром... Стиль, манера...

Бирнбаум взглянул на часы и вздохнул:

— У меня есть две минуты, не больше.

Как назло, видеомагнитофон оказался непослушным: то звук не появлялся, то цвет отсутствовал. Но пару сцен Бирнбаум все же успел увидеть. Смотрел он молча, и лицо его было непроницаемым, оставляя нас в тревожном неведении. Ровно через две минуты Элизабет остановила просмотр.

И вдруг Бирнбаум повернулся к нам и сказал:

— Ну что ж, это другое дело... Это не «Кузены».

У нас с Роном отвисли челюсти.

— Я говорила тебе, Роджер! — воспрянула духом Элизабет Гэйблер.

Прощаясь, Роджер Бирнбаум крепко пожал нам руки:

— Хорошо работайте, ребята, и сделайте хороший сценарий.

Ни один из присутствующих на этой встрече не ожидал такого поворота событий.

— Что это значит, Элизабет? — спросил Рон, когда мы зашли к ней в кабинет.

Элизабет улыбнулась:

— Это значит, что я начинаю готовить соответствующие документы. Мы быстренько подпишем с вами контракт — и все, начинайте писать.

Как странно, вчера мы наскребали последние деньги на билеты в Москву, а сегодня должны искать жилище в Лос-Анджелесе. Дом на Васанта был занят квартирантами, так что надо было искать что-то другое.

И снова Дэвид Джен пришел нам на помощь. У него на ранчо в Малибу был маленький дом для гостей. Дэвид предложил его нам.

Мы полагали, что подписание контракта со студией произойдет на следующей неделе, но прошел месяц, второй, третий... а адвокаты (с нашей стороны и со студийной) все еще упражнялись в формулировках. В окончательном виде контракт имел 72 страницы. Разобраться в нем смог бы лишь юрист высокого класса, да и то за большую плату. По рассказам наших адвокатов, они предусмотрели массу параграфов, пунктов, подпунктов и нюансов, защищающих наши интересы, но кто его знает, не морочили ли они нам голову, набивая себе рабочие часы? При ставке 250 долларов в час это вполне возможно.

Контракт был подписан 2 февраля 1992 года. На следующий день мы принялись за работу.

Мы с Роном жили друг от друга очень далеко, на дорогу уходил час, а то и больше. Поэтому мы выбрали для работы небольшое тихое кафе на полпути между Малибу и Сэнчури-Сити, где жил Рон. Заказав кофе или чай, мы удобно

располагались за столиком, раскладывали наши блокноты и начинали трудиться, детально обговаривая сцену за сценой. У нас уже был наработан опыт совместной работы, поэтому дело двигалось быстро. Обычно наша ежедневная встреча длилась три-четыре часа, после чего Рон уезжал записывать обговоренное, а я возвращался в Малибу и, бродя по окрестностям, фантазировал дальше.

Так мы закончили первый вариант, обсудили его с представителями студии, получили рекомендации и принялись за второй. Мы обязаны были учесть пожелания студии, хотя некоторые из замечаний до смешного противоречили друг другу. Например, один редактор рекомендовал сделать нашего героя моложе. Но, омолодив героя, требовалось коренным образом изменить и образ Джессики Ланж, оставшейся сорокалетней. Мы с Роном упрямылись, как могли, но спорить с редакторами трудно. «Эти люди платят, — сказали мы друг другу, — значит, они и заказывают музыку».

Периодически я звонил в Москву, где жили Машенька с мамой, и в Ленинград, где жили Анюта с бабушкой. Девочки стали понемногу забывать о своих обихах и подолгу разговаривали со мной.

Понятно, я не задавал девочкам нескромные вопросы о маминой личной жизни. Да они бы и не ответили. Лишь потом я узнал, что сердце Веры уже принадлежало другому человеку. А разве могло быть иначе? В самом начале моего пребывания в Америке Вера порекомендовала мне обратиться за помощью в Фонд Сороса в России и назвала имя директора, ответственного за культурную программу. Так я впервые услышал имя будущего мужа Веры — Кирилла Шубского. Мы обменялись с Кириллом несколькими деловыми письмами. Фонд Сороса денег на фильм не дал, так как в это время реорганизовывался. Но имя Кирилла Шубского мне запомнилось. Потом я познакомился с ним лично. Высокий, обаятельный, немного похожий на Роберта Де Ниро, в прошлом профессиональный хоккеист, Кирилл оставил культурную программу Сороса и организовал (или продолжил, не знаю точно) свой собственный бизнес, связанный с кораблями. От культурных связей у него остался лишь контакт с популярной киноактрисой. Мне кажется, Вере повезло: Кирилл оказался добрым и глубоко порядочным человеком.

Второй вариант сценария двигался медленно. Поправки нервировали. Но полученные деньги надо было отрабатывать. Тем более что мы с Роном, являясь новичками, получили вполне respectable гонорар в четверть миллиона долларов. Звучит эта сумма внушительно, но если разделить ее на месяцы (в нашем случае — почти два года работы), то можно назвать ее скромной. Во всяком случае, мы с Наташей как проклятые только и делали, что расплачивались за дом, в котором не жили, за различные страховки, платили за телефонные звонки, тратились на одежду, питание, транспорт и т. д. и т. п. Всего не перечеть.

После английской рок-звезды наш дом арендовал молодой американский кинорежиссер Джордан Меламед, папа которого был известным брокером Чикагской фондовой биржи. В отличие от нас Джордан легко покрывал ежемесячную плату за дом на Васанта-Уэй, поэтому мог целый год наслаждаться прекрасной японской архитектурой. Мы же по-прежнему довольствовались двумя маленькими комнатками в доме для гостей у китайца Дэвида Джена в Малибу. Горы наших вещей громоздились в камере хранения и от времени подернулись пылью и паутиной.

Мы с Роном успешно дотянули сценарий до конца. Получив третий (и последний) вариант, студия с нами распрощалась.

— Встретимся на съемках! — сказали нам.

И все. Мы принялись ждать. И ждем по сегодняшний день. Тем самым присоединяюсь к армии других авторов, которые пишут впрок — для студийного портфеля.

— Добрый день! — раздался в трубке незнакомый мужской голос.

— Вообще-то... у нас глубокая ночь,— сонно отвечаю я и смотрю на часы.— Кто это?

— Вы не знаете. Мне дал ваш телефон Сергей Муравьев.

— Муравьев? — Не могу вспомнить, кто такой.— Ладно. Слушаю вас.

— У меня дочка... Олечка... Ей всего восемь месяцев...— Голос мужчины срывается, он не может говорить.

Наташа, разбуженная звонком, вопросительно смотрит на меня, не понимая, что случилось.

— Моя дочь умирает,— наконец произносит отец девочки. Я окончательно просыпаюсь. — У нее порок сердца,— продолжает отец.— И врачи... врачи сказали, что у нас спасти ее невозможно. Только в Америке... Операция стоит сто тысяч... А у нас денег нет.

— Одну секунду,— говорю я и, зажав трубку рукой, объясняю жене ситуацию.

— Пусть позвонит завтра,— говорит Наташа.— Надо выяснить.

После разговора с отцом больной девочки я не могу уснуть, ворочаюсь с боку на бок. Вижу свою бабушку Машу в дверном проеме и слышу, как она в страхе говорит кому-то обо мне: «Как начнет плакать, синеет весь. И губки, и пальчики синие, как у мертвеца». Потом память переносит меня в детскую поликлинику Днепрпетровска. Мне примерно тринадцать. Доктор хочет поговорить с мамой наедине. Я жду. Мама выходит заплаканная. Чем она расстроена?

— Что он сказал, мама?

— Что?..— спохватывается она, утирая ладонью мокрую щеку.— Нет-нет, ничего. Надо беречься. Я тебе всегда говорю: носи шарф!

— А мне он сказал,— говорю я маме,— что у меня шумы в сердце.

— Все будет хорошо,— говорит мама, и я вижу, что на глазах у нее снова появляются слезы.

Мне двадцать один. Мама обречена, у нее рак, физически она очень страдает, но ее «сыночка» снимается в роли Ленина, и это наполняет ее безмерной гордостью.

— Если бы ты знал, сыночка, как я счастлива,— говорит она мне.— Сколько страданий я перенесла! Как намучилась с твоим здоровьем! Я тебе не говорила, но... ты ведь родился с маленькой дырочкой в сердце. Говорили, если доживет ваш сынок до шестнадцати лет и не умрет, значит, будет жить дальше.

За окном нашего домика в Малибу занимается ясное калифорнийское утро. Я все думаю и думаю. О маленьком сельском мальчике Родионе, о его маме, уходящей из жизни, о незнакомой девочке Олечке, которой никто не может помочь. Почему позвонили мне, и почему позвонили именно тогда, когда душа моя металась в поисках опоры и смысла? Я давно пришел к убеждению, что ничего случайного в жизни нет. Я играл славных и хороших ребят, меня помнят и любят за эти роли. Но кто я сам? Без игры, без булшита? Может, в этом-то и заключается тот смысл, который я искал долгие годы,— быть хорошим, добрым человеком? Не казаться хорошим, а именно быть им.

Ночной звонок не только лишил меня сна мартовской ночью 1992 года, он символически разбудил меня к чему-то новому, более важному и значительному, чем кино, которым я всегда был так упоенно занят. Меня ожидали испытания и эмоции, не шедшие ни в какое сравнение с голливудскими.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На следующий день после ночного звонка Наташа связалась с известным кардиохирургом Таро Ёкояма из госпиталя святого Винченца. В свое время Ёкояма делал операцию на сердце Окуджаве и продлил Булату Шалвовичу жизнь по

меньшей мере на десять лет. Мы знали также, что, кроме взрослых, прославленный врач оперирует и новорожденных детей, которым всего один-два дня от роду. И оперирует с большим успехом.

Доктор согласился сделать операцию бесплатно, но больница упрямылась: слишком большие расходы. Мы обрабатывали ее руководство целый месяц, пока наконец не добились *благотворительной*, бесплатной операции. Нам нужно было заплатить лишь восемь тысяч за госпитальные услуги. Но это были уже мелочи.

Оле сделали операцию. Успешную. Таро Ёкояма совершил чудо.

Девочка поправилась очень быстро, и уже через месяц мы провожали ее с родителями в аэропорт.

Забегая вперед, скажу, что через три года я снова встретился с очаровательной уже четырехлетней Олечкой. Живой и здоровой. От прошлого у нее осталась на груди лишь тоненькая, с волосок, линия. Без лупы не разглядишь.

— Мы сначала думали не говорить ей об операции. Видите, ничего не видно! Но потом решили: пусть знает...— голос матери дрогнул,— что есть на свете хорошие люди.

Родители больных детей связаны друг с другом, образуя большую и дружную семью. Любая информация — печальная или радостная — распространяется между ними со скоростью звука. Стоит ли говорить, что наш телефон вскоре стал надрываться от звонков. На стол ложились сотни писем с вложенными детскими фотографиями и с мольбами спасти больных детей.

Мы поняли, что никуда нам не деться, придется помогать. Спросили у Таро Ёкоямы: не может ли он поднапрячься и спасти еще хотя бы одного ребенка?

— Я готов,— ответил он.— Но больница отказывается. Большие расходы.

Мы стали названивать по всей Америке. Должен сказать, что никого особенно не прельщают благотворительные операции, и все же нам удалось спасти еще одиннадцать тяжелобольных детей. Их оперировали в больницах Лонг-Айленда и Бруклина, Сан-Франциско и Албакурки (штат Нью-Мексико), в клиниках Калифорнийского и Стэнфордского университетов. Размах был большой. Но представьте, каково было организовывать все это! Одному Богу известно, как мы справлялись.

Но не всегда и не все шло гладко.

Был у нас семилетний мальчик Витя Зубанов, худенький, с большими умными глазами. Жил он под Казанью — в сарае у чужого дедушки. Отца у Вити не было, мать-алкоголичка не вылезала из психушки. «Стони Брук Госпиталь» согласился принять Витю на операцию. Но как он поедет в Америку один? Я стал названивать в Министерство здравоохранения Татарстана, чтобы они отправили мальчика с временным опекуном. Ясное дело, желающие опекать тут же нашлись, и вместе с Витей прилетела солидная дама, культурная, представительная, к тому же владеющая английским языком. Мы нашли для них дом — недалеко от больницы.

Операция прошла успешно.

Но вдруг у Вити резко поднялась температура. Оказывается, в зубе у него таилась микроскопическая каверза, которая отравила кровь грибок фангас. Что только не предпринимали, чтобы сбить температуру! Казалось, весь госпиталь занимался сиротой из России. Столько внимания и неподдельной любви я еще не встречал. Но с каждым днем Вите становилось все хуже и хуже.

Приближался Новый год.

И тут солидная дама-опекун заявила, что уезжает: с ней договаривались только на три недели, и срок этот истек. Не ее вина, что мальчику стало хуже.

— Поймите,— говорила она,— у меня дети, муж. Не могу же я сидеть здесь вечно.

Возмущению моему не было предела. Как можно оставить ребенка в такой критический момент — он ведь привязался к ней как к матери!



Но дама была непреклонна. Пришлось мне, бросив все свои дела, заниматься мальчиком.

Время шло, смерть не забирала мальчика, но и не отпускала. Недели бежали за неделями. Он по-прежнему находился в отделении интенсивной терапии, ежедневно обходясь госпиталю в пять-шесть тысяч долларов. Счета за лечение перевалили уже за триста тысяч! Дирекция госпиталя вызвала меня на ковер.

— Мы удовлетворили вашу просьбу, — сухо сказали мне, — и приняли ребенка, но мы не можем держать его бесконечно.

— Что же делать?

— Вы должны его забрать. Мы, конечно, снабдим его всем необходимым и, если надо, пришлем медсестру.

Я был в шоке. Кто рискнет взять мальчика к себе домой в таком состоянии? Православная церковь организовала группу русских эмигрантов, которые старались навещать мальчика, но одно дело — бывать в больнице, а другое — иметь ее в своем доме.

Я позвонил в Лос-Анджелес.

— Безобразия! — возмутилась Наташа. — Я не могу поверить!

И позвонила директору.

— Как вам не стыдно! — с трудом сдерживая слезы, начала она. — Как вы смеете выбрасывать на улицу умирающего ребенка, сироту!

Директор попытался вставить слово.

— Не надо мне ничего объяснять! Это преступление! Если вы уберете Зубанова из больницы, то мы покажем по телевидению всему миру, как американский госпиталь выбрасывает на улицу русского сироту. Все набросятся на такой сюжет!

Директор дрогнул.

— Договорились? — спросила Наташа после короткой паузы.

Да, с грехом пополам договорились. Что бедному директору оставалось делать?

Эта атака спасла Зубанова, но, думаю, она же поставила и последнюю точку на гуманитарных акциях этого престижного госпиталя.

83 дня продолжалась борьба за жизнь мальчика. После этого на наш адрес еще долго приходили больничные счета — то на семьдесят, то на сто тысяч. Посылая эти астрономические счета, госпиталь, видимо, хотел продемонстрировать колючую бухгалтерию благотворительности. Единственное, что мы могли сделать, — это направить руководству госпиталя благодарственное письмо от Фонда дружбы Нахапетова (Фонд уже был создан к этому времени).

Тем временем история с Зубановым вошла в новое русло.

Из русских эмигрантов, регулярно навещавших Витю, обращал на себя внимание некий Миша, средних лет господин, который испытывал к мальчику чувства более сердечные, нежели остальные. У него была американка-жена, были большой дом, постоянная работа, деньги, но не было детей.

Он часто сидел у постели мальчика, прижимая к груди его худенькую, исколотую иголками руку, и молился. Спустя две недели Миша признался, что мечтает усыновить Зубанова. Мальчик стал называть его папой.

Но для усыновления требовалось согласие родной матери. Я написал ей письмо. Никогда не забуду ее ответ.

«Как же я буду без моего Витеньки? Пусть ему будет хорошо. Фрукты, витамины, это хорошо для здоровья. А я бедная. Я слышала, что у этих людей много денег. Если они такие хорошие, скажите им, чтобы они мне заплатили. Витя, маму не забывай. Посылаю свою фотографию, чтобы поставили в рамку и повесили на стенку. Я совсем бедная. Я получала за больного сына пособие. А я буду получать, если он там? Скажите. Пусть ему купят шерстяные носочки, я ему обещала, но у нас были только колючие, от которых ноги чешутся. Если мне дадут помощь и заплатят, пускай остается».

Я обратился в Минздрав республики с просьбой оставить ей пособие по болезни ребенка. Они обещали это сделать.

Несмотря на успехи, мы понимали, что спасение двенадцати детей — это капля в море. Число детей, нуждающихся в операциях на сердце, в десятки тысяч раз превышало наши возможности. Да и прошла в Америке волна сочувствия к российским преобразованиям. «Раз в России, — говорили нам, — появилось такое количество миллионов, надо, чтобы они своим же детям и помогали».

Мы же решили, что выход тут один — надо помогать русским врачам и больницам наладить работу на месте. Я убежден, что наши врачи, имея они то, что имеют их заокеанские коллеги, справились бы с операциями не хуже американцев.

Мы сколотили команду врачей из лос-анджелесского «Института сердца», возглавляемую нашим знакомым Таро Ёкояма, и отправились в двухнедельное путешествие по России. В Москве мы были приняты такими медицинскими светилами, как Петровский, Бураковский, Константинов, беседовали с рядовыми врачами, медсестрами. Это помогло американским врачам составить вполне объективное впечатление о положении дел в области детской кардиологии и кардиохирургии в России и дать нашему фонду очень важные рекомендации и пожелания. Но это была деловая сторона вопроса. Эмоциональная же потрясла нас и озадачила. Одно дело — неспособность русских врачей помочь детям, другое — невозможность помочь детям вообще. И не по причине того, что отсутствуют медикаменты, аппаратура, средства. А потому, что поздно! Тысячам детей следовало бы сделать операцию в раннем возрасте, когда еще не наступили необратимые процессы. Сейчас же у них не оставалось шанса на выживание нигде — ни в России, ни в Германии, ни в Америке, — *нигде!*

Пожилая женщина протягивает мне кипу медицинских документов.

— У моей внучки тетрада Фалло (несколько сердечных дефектов). Вот посмотрите, пожалуйста.

— Я, знаете, неспециалист, — извиняюсь я, ознакомившись с диагнозом и безнадежными прогнозами. — Я ничего не понимаю, но... думаю, что американцы, которых мы привезли, посмотрят и сделают свое заключение.

— Ниночка не приехала, она очень слабенькая, но я привезла ее последние анализы и историю болезни. Ниночка не может ходить, а инвалидной коляски у нас нет, достать ее невозможно, куда я только не писала... Знаете, как я Ниночку ношу? Беру на плечи вот так и переносу с места на место. Только сил-то у меня уже нету. Ниночке десять, не маленькая. Ее здесь обследовали, и Семен Владимирович ее помнит, и Анна Тимофеевна — это главврач отделения, хорошая женщина. Я раньше каждый год Ниночку в Москву привозила. А сейчас боюсь: вдруг ей станет совсем плохо? У меня ведь дочь так умерла, ее мать, тоже сердечница была, в двадцать шесть лет умерла. Но Ниночку почему-то не хотят оперировать. Говорят, бесполезно. Может, американцы помогут? Она у меня очень умная девочка, ее учитель сказал, что таких сообразительных и умных учеников, как наша Ниночка, он еще не знал...

Женщина смолкает.

Ознакомившись с историей болезни десятилетней Ниночки Марковой, американцы вынуждены были признать девочку неоперабельной, а ситуацию — безнадежной.

Опытный детский кардиолог доктор Ирвинг Тесслер обнял женщину за плечи и сказал:

— Поверьте, мы бы сделали все возможное, но слишком поздно.

— Как поздно? — переспросила женщина.

— Операцию ей нужно было делать в грудном возрасте.

Я видел, как приняла это заключение несчастная женщина. Казалось, она

постарела вдвое. Слабым голосом она поблагодарила врачей и, пошатываясь, направилась к выходу.

Спустя месяц мы отправляли в Россию гуманитарную медицинскую помощь и вместе с мониторами, респираторами, катетерами заложили в контейнер и несколько инвалидных колясок. Одну из них адресовали Ниночке Марковой в Белгород.

Но даже такая помощь из-за океана пришла слишком поздно. Ниночка к тому времени уже умерла.

В один из наших визитов в Россию мне передали личную просьбу президента Республики Татарстан Шаймиева приехать с американскими кардиоспециалистами в Казань. Мы выкроили время, сели в поезд и поехали.

В Казани мы побывали в больнице номер шесть, где американцы обследовали свыше сорока детей с тяжелыми пороками сердца. После этого хозяева показали нам новую детскую больницу, оборудованную по последнему слову техники, но не функционирующую, так как медицинский персонал был еще неопытен. Мне пришла в голову идея воспользоваться детской больницей как базой, где можно было бы с помощью американских врачей провести несколько показательных операций, обучив при этом молодой персонал больницы.

При встрече с Шаймиевым мы обсудили возможность высадки подобного медицинского десанта. Президент поддержал идею с энтузиазмом. Дело оставалось за малым — организовать группу американских врачей, обеспечить их всем необходимым и привезти в Казань. Фонд взялся за проведение этой огромной гуманитарной акции.

Поддержка президента окрылила нас. Мы стали прикидывать, когда, на какие средства, с какой группой поедem. Мы понимали, что команда Таро Ёкоямы слишком мала для подобной акции, и Наташа взялась уговорить руководство одной из крупнейших в Америке клиник — детской клиники Стэнфордского университета — выделить из своего медперсонала группу в 20—25 человек, которая поехала бы на две недели в Казань и бесплатно там поработала.

Минздрав Татарстана согласился оплатить расходы экспедиции на участке Москва — Казань. Основные же расходы должен был оплатить наш Фонд (то есть мы с Наташей).

Мы прикинули, что одни лишь авиабилеты из Сан-Франциско в Москву и обратно обойдутся нам в 37—38 тысяч долларов. Упаковка и пересылка грузов — еще семь — девять тысяч. Международные телефонные переговоры, факсы — не менее пяти тысяч. Кроме того, мы отдавали себе отчет в том, что понадобятся дополнительная аппаратура и медикаменты, за которые Фонду придется заплатить — если не всю сумму, то все же достаточно большую. Другими словами, без сотни тысяч долларов нам не обойтись.

Фонд дружбы создавался группой друзей. Но отнюдь не миллионерами. Линда Конрад — фотограф. Жерар Кассэл — молодой адвокат. Том Тазарве — экономист. Наташа Шляпникоф — продюсер. И я — режиссер. Вот и все руководство фонда. Кроме нас с Наташей, никто не вложил в казну фонда ни цента. Наши же с Наташей вложения в фонд было недостаточно, чтобы осилить предстоящую благотворительную акцию.

Начался долгий сбор денег среди разных общественных организаций и частных лиц.

Пока шла подготовка поездки в Россию, мы с моим новым соавтором Джоном Уэлпли находили время и для нашей профессиональной работы. Мы дописали комедию «Русская рулетка» (о двух неудачниках, которые выписали из России первосортных красавиц) и взялись работать над американской адаптацией фильма «Не стреляйте в белых лебедей», от которой Уэлпли был в восторге (я получил от Бориса Васильева разрешение на написание сценария).

Фантазировать новых «Лебедей» было очень странно. Особенно поначалу. Новые обстоятельства, незнакомые имена и характеры. Но скоро история повлекла нас за собой — так, что мы едва успевали записывать. В ней все было по-другому, но при этом оставался тот же, что и у Васильева, внутренний прицел и тот же катарсис в конце.

Мы увлекли идеей «Лебедей» продюсера Алекс Роз, которой довелось сотрудничать с таким замечательным артистом, как Том Хенкс, идеально подходящим на главную роль в нашем фильме.

Том нашим предложением заинтересовался, однако рекомендовал для написания сценария знакомого молодого автора. О том, что «Лебедей» уже начал писать Джон Уэлпли, мы с Алекс решили не упоминать (Уэлпли — телевизионный автор), просто чтобы не отпугнуть Хенкса раньше времени.

Отказавшись предать Уэлпли, я тем самым автоматически лишился и Хенкса. А без Хенкса проект уже не имел для Алекс Роз никакого смысла.

Уэлпли так никогда и не узнал о переговорах за его спиной: к чему огорчать и без того нервного писателя! Да, мы потеряли хорошего продюсера, но зато остались с хорошим сценарием на руках. Нечего отчаиваться.

Кстати, подобная вещь случилась и со сценарием «Русская рулетка», которым заинтересовался продюсер Билл Баталато, известный по «Обнаженному пистолету» и по «Сломанной стреле». Более года Баталато уговаривал меня расстаться с Уэлпли. Ему безумно нравились придумка, история, идея, но раздражала сценарная запись.

— Очень отдает телевидением,— говорил Баталато.— Вам трудно это уловить, но поверьте моему вкусу, Родион, от этого сценариста надо отделяться. И как можно быстрее. Я возьму другого, перепишем и начнем снимать.

Я снова отказался. Я не верю в благополучие тех, кто ходит по трупам. Мне кажется, что их всегда будет мучить совесть. Но не только из этических соображений я не совершил подлости. Я до сих пор убежден, что и «Рулетка», и «Лебеди» — хорошие сценарии.

Спустя примерно восемь месяцев после встречи с Хенксом неожиданно позвонила Алекс Роз.

— А вы знаете, дорогие,— объявила она,— мы ведь дали Тому хорошую идею. Он начал сниматься в роли недоделанного дурачка, но с добрым, любящим сердцем. Как у Родиона. Материал идет великолепный.

— Кто снимает?

— Земекис.

— Это который снимал «Назад в будущее»?

— Да, он. Так что поздравляю,— с горькой усмешкой произнесла Роз.— Мы были на правильном пути. Да только припоздали.

То был знаменитый «Форест Гамп». Фильм потряс меня и обрадовал одновременно: ничего схожего с нашей историей в нем не было. Но пронзительность рассказа, мощь образа были так захватывающи, что я понял — выше этого мы не сможем подняться, а на меньшее Тома не уговоришь теперь ни за какие миллионы.

Работали мы с Джоном Уэлпли, как правило, у нас дома в Малибу.

Джон садился за компьютер, а я располагался у него за спиной так, чтобы видеть, что он пишет. На телевидении Джон прошел школу коллективного творчества, где на одном шоу уживаются пять — семь, а то и больше авторов, так что наш дуэт был пустячным делом для него.

Сначала мы строили каркас истории, определяли характеры и их развитие, придумывали связки и параллельные сюжетные линии и только потом принимались за диалог. Диалог — это конек Джона. Мне все еще трудно записывать живую речь. Иной раз я разыгрывал перед Уэлпли целые сцены, изображал то од-

ного героя, то другого, и это приводило моего друга в полный восторг. Не умаляя моих режиссерских и прочих талантов, Джон всерьез считал, что актерское дарование дало бы мне больше денег.

— Возьми актерского агента. Заработаете большие деньги и поставишь на них фильм. Чем не выход из положения?

— У меня акцент,— объяснял я,— это во-первых. А во-вторых, я люблю командовать.

— Командуй, ЦАР! — шутливо парировал Джон, не справившись с мягким знаком в слове «царь», и мы возвращались к работе.

Иногда мы работали и у Джона.

Чтобы нам не мешал его пятилетний сын, Джон отправлял служанку с мальчиком на пляж, но мальчик рвался домой, и она не могла его удержать. Прямо с порога он бросался к папе, осыпая песком и водорослями рабочий стол.

— Донован, пожалуйста...— робко останавливал сына Джон.— Ты видишь, папа работает. Видишь, мы с дядей Родионом работаем. Пойди в свою комнату, поиграй.

— Н-не-е! — вывертывался из рук отца маленький Донован.

Джон вставал из-за стола и нес брыкающегося мальчика в детскую. Но ребенок упорно возвращался к папе на колени.

В конце концов Джон сдавался. Извинившись передо мной, он сидел на пол играть с сыном, а я уезжал домой.

Свершилось! В сентябре 1995 года Фонд дружбы привез в Казань двадцать пять американских специалистов из Стэнфорда, среди которых были кардиологи, анестезиологи, кардиохирурги, реаниматоры, медсестры.

За одиннадцать дней американские врачи продиагностировали свыше трехсот больных детей. Произвели тридцать бесплатных операций на сердце, обучили новой технологии русских врачей.

Фонд дружбы подарил казанской больнице номер шесть крайне необходимую аппаратуру и медикаменты на сумму в два с половиной миллиона долларов.

Значение этой гуманитарной акции трудно переоценить, но я режиссер, и мне помимо результата всегда интересен процесс.

Вот несколько записей из дневника.

Во время операции переводчица закатывает глаза и падает на пол без сознания. Наташе приходится переводить врачам в течение всей операции. До этого дня она не «видела в лицо» ни одного хирургического инструмента. Операция тем не менее проходит успешно.

Застолье доконало доктора Тэслера. Он объяснял свою слабость стрессом и тем, что вынужден был отказать четырнадцатилетней девушке в операции. Его рвало и слабило. Всю ночь уважаемого доктора откачивали, отмывали, отпайвали его коллеги. На следующий день Ёкояма с Тэслером не разговаривал.

Утром мать больного ребенка вручила Наташе огромную живую рыбину.

— Это муж ночью поймал. Для вас!

Наташа стояла посреди больничного коридора и держала скользкую рыбу за хвост. Мимо нее, косясь и принохиваясь, проходили американские врачи.

— С сегодняшнего дня в отеле отключают горячую воду.

— Почему? — спрашивают американцы.

— Проверяют трубы.

— Авария?

— Нет, просто проверяют. Во всем городе воды не будет.

— Как долго?

— Целый месяц.

Наташа берет на кухне ведро горячей воды и относит Ёкоямам. Таро, сме-

ясь, сливает воду на голову своей жене, согнувшейся над ванной в три погибели. Ёжкомы привыкли к иным условиям: у знаменитого доктора вилла в Беверли Хиллз за 14 млн. долларов и позолоченные унитазаы в шести туалетах.

Вместе с врачами из Стэнфорда вылетела съёмочная группа документального фильма «Вопрос сердца». Весь перелет из Сан-Франциско в Москву, длившийся 14 часов, кинооператор Дэвид Айзенбис не сомкнул глаз. Улыбка не сходила с его лица. Он шутил, рассказывал анекдоты, ходил по салону взад-вперед, не давал покоя другим. Прилетели в Москву. Паспортный контроль, таможенные формальности — суровая процедура. Но Дэвид как ни в чем не бывало продолжал радоваться. Пересели в самолет, вылетающий чартерным рейсом в Казань, и стали загружать в него медицинское оборудование. Загружали целых девять часов. Все падали от усталости, один лишь Дэвид Айзенбис не сдавался.

— Чему вы так радуетесь, Дэвид? — спросил доктор Райтс, главный кардиохирург клиники Стэнфордского университета.

— Как же не радоваться? — ответил Дэвид. — Скоро мы прибудем на место!

Глядя на него, я подумал, что иметь такого оптимиста в группе — большая удача.

Лишь на вторые сутки мы прибыли в Казань. Встреча в аэропорту, цветы, речи. Загрузка в автобусы. И вот, наконец, долгожданный *первый* шаг на казанской земле. Дэвид спустил ногу со ступеньки автобуса и... сломал лодыжку. Вот и все его путешествие! Сорок восемь часов непрерывного возбуждения — и такой конец! Из всей России Дэвид Айзенбис только и видел, что тьму в иллюминаторах и далекие огоньки Казани. В тот же день мы вынуждены были отправить его обратно в Сан-Франциско. Сожалея о случившемся и сочувствуя бедному Дэвиду, мы провожали его с грустными физиономиями. Он же, напротив, улыбался — на этот раз остроумию судьбы, подставившей ему подножку в самый ответственный момент. У судьбы определенно есть чувство юмора.

Нищий сидит, понуро свесив голову. На табличке написано: «Помогите больному. Срочно нужна операция». Американские врачи обступают его и живо интересуются, какая именно операция ему нужна, что за болезнь, где он живет и т. д. Вопросы, вопросы, но денег никаких. Нищий равнодушно отворачивается от назойливых чужестранцев.

Во время операции русские врачи обсуждают новейший аппарат искусственного кровообращения, который мы привезли с собой. Наташа стоит рядом и невольно слышит их разговор. Ребята принимают ее за американку и говорят не стесняясь.

— Втирают очки эти американцы! Поналепили индикаторов. У нас дешево, но есть все, что надо. А тут огоньки мигают, все эти мониторы, понацепляю украшений, как на елку! Набивают цену! Я бы выкинул половину этой фигни.

Наташа не выдерживает и говорит на чистом русском:

— Мы привезли этот аппарат для вас!

Пауза.

— Понимаете? Мы его дарим! Он ваш!

Русские оживают.

— Да? Ух ты!.. Здорово!.. Вот спасибо!

— А вот там справа, что это?

— Да-да! А для чего вон то?..

И долго потом еще молодые врачи шепчутся, пожирая глазами драгоценный подарок.

Завтрак в казанском санатории потряс американцев своим изобилием. Вот наш утренний рацион: сосиски с вермишелью, мясные беляши, котлеты с гарниром, куриные ножки, ветчина, колбасы, сыр, яичница с беконом, антрекоты,

гречневая, пшенная и рисовая каши, творог со сметаной, овощи, фрукты, оладьи с вареньем, блины с мясом и с творогом, соки, минеральная вода, чай, кофе, молоко, кефир, йогурт, конфеты, булки, пирожки.

Если принять во внимание, что американцы завтракают легко, то казанский завтрак останется в их памяти навсегда.

Когда я спросил, зачем такое изобилие в шесть утра, мне резонно ответили: «Врачи уходят на весь день — вот мы и выдаем им суточную норму, чтобы работали в полную силу!»

Однажды случилось невероятное: во время операции отказал новейший респиратор, который мы привезли. Возможно, сказалась разница в напряжении или что-то еще. Пришлось взять на вооружение русский респиратор двадцатилетней давности. Было забавно смотреть, как русские врачи обучают американцев, как пользоваться старинной машиной. Ребенок был спасен.

Доктор Джон Коулсон сидит на автобусной остановке. Откуда-то появляется пожилая женщина, дает ему розу и удаляется.

Из разговора американцев.

— Вначале я страшно скучала по дому, будто на другой планете. Но потом потекли дни, рутина: госпиталь, санаторий, госпиталь, санаторий. Я о доме и думать перестала. Кстати, какое сегодня число?

— Четырнадцатое... мне кажется.

— Нет, я думаю, тринадцатое.

— Погоди, мы вылетели в воскресенье, так?

— Да.

— Значит, понедельник было восьмое, вторник — девятое... Кстати, какой сегодня день недели?

— Н-н-не знаю...

Женщины смеются. Одна из них ложится на больничный диван, другая устривается в глубоком кресле, и обе вмиг затихают. Минута отдыха. Звенит телефон, обе вскакивают и бегут в реанимацию. Некоторые врачи предпочитают спать в больнице, чтобы держать ситуацию под контролем.

Говорит американская медсестра:

— Вначале они (русские реанимационные медсестры) стояли в сторонке и наблюдали, как мы работаем. Потом осмелели и стали подступать к больным детям все ближе и ближе. А вчера они просто отодвинули меня в сторону — хватит! насмотрелись! — и стали сами управляться с больным ребенком. Быстро освоились. Умные девочки.

Выходной день. Прогулка по Волге на небольшом речном пароходе. Оглядываюсь — Наташи нет. Только что стояла рядом. Ищу на палубе, в трюме, на капитанском мостике. Не выпала же она за борт? Через час появляется — дрожит от страха.

Оказывается, она вошла в туалет, прикрыла за собой железную дверь — и все: дверь заклинило. Наташа толкалась, орала, пыталась пролезть в иллюминатор. Безуспешно. Зная о ее клаустрофобии, я легко могу себе представить, что с ней творилось. Дикая паника!

Когда она делилась со мной своим туалетным приключением, я невольно улыбнулся.

— Я могла там умереть, а ты смеешься!

— В конце концов мы бы тебя нашли.

— Не нашли бы. А нашли — не открыли бы. Дверь в туалет я закрыла изнутри, а там еще другая дверь. И все железное, представляешь?

Но вернемся к кино.

У меня появился новый соавтор — Эрик Ли Бауэрс, с которым мы написали сценарий триллера под названием «Кора».

Однако история Коры Верн — кинозвезды, которая из причуды живет в натурной декорации, оставшейся после съемок, оказалась слишком необычна для большой студии. Снова промах? Или попробовать поискать денег в новой России?

— Я несколько лет работал провайдером в американском банке — по заданию... — Андрей понизил голос: — Ну... понимаешь? А сейчас я финансовый директор фирмы...

Он выглядел солидно, понимал, о чем говорит, и обещал финансировать «Кору». Подписали контракты, поставили печати — и... все. Началось мучительное вытягивание жил. Все бы ничего, если бы мы не начали подготовительный период и не потратились. Мы слишком верили ему, видно, хотели верить.

— Андрей, ты знаешь, что я потратил сто семьдесят тысяч. Уже потратил. Если в результате мы все же «Кору» снимем, тогда еще ладно. Но если продолжения не будет, деньги потеряны, выброшены на ветер. Мои личные деньги, понимаешь?

— Понимаю.

— Напоминаю: по контракту ты обязан эти деньги вернуть.

— Я понимаю. Я уже их почти добил. Через неделю деньги будут...

С тех пор прошло более трех лет. Ничего не изменилось. И не изменится. Даже если и через десять лет я позвоню Андрею, уверен, первые его слова будут: «Ну, все, добил! Можем начинать».

До сих пор не знаю, считать ли Шамаева дураком, водившим меня за нос по слепоте и глупости, или же неудачником, которому катастрофически не везет.

В любом случае опыт сотрудничества с новой Россией вышел нам боком. Мы потеряли не только деньги, но и доверие к русскому бизнесу.

В этот тяжелый период к нам прилетела Маша. Погостить.

Катя была очень рада приезду энергичной, инициативной и бесстрашной сводной сестры. Под шумок, который создавала Маша, Катя наконец брала свое. До появления Маши жизнь десятилетней Кати протекала однообразно и скучно. С приходом Маши в жизнь Кати ворвался свежий ветер перемен.

Эмоции в нашем доме теперь били через край. То крики, то смех, то слезы. Каникулы получились славные.

Маше так понравилось у нас, что она решила остаться. Мы были счастливы. Мы отдали ее в знаменитую (по телесериалу) школу «Беверли Хиллз 90210», и она проучилась там два учебных года.

Столкнувшись с американской системой школьного образования, я пришел к заключению, что наша советская муштра имела больше смысла, нежели здешняя разнулюли-малина. Оказывается, в Америке ученик сам выбирает, какие занятия ему подходят, никто ни на чем не настаивает, полная демократия, свобода — и распушенность. Как объяснила Наташа, именно по этой причине дети берутся за ум лишь в последний год обучения. А потом, уже в колледже, нагоняют отставание. Так вот наша резвая Маша в первый год выбрала два английских урока, два урока рисования, футбол и историю. И все. Легко и просто. Понятно, оценки по этим предметам у нее были отличные, но движения вперед — никакого.

— Почему у тебя нет геометрии, литературы или чего-нибудь поинтересней, чем просто... в футбол гонять? — спросил я.

— Папа, — резонно ответила Маша, — ну подумай сам, как я могу заниматься геометрией с моим английским?

Да, конечно, трудновато. И все же на следующий год, когда десятый класс подошел к концу, она всерьез задумалась: оставаться ли в популярной школе и отставать или же поднатужиться и завершить обучение в Москве? Маша решила вернуться в Москву. Как нам ни грустно было расставаться, но все же я вы-



нужден был согласиться с твердым и разумным решением дочери. Школа разгильдяйства 90210 ничего Маше не дала.

С отъездом Маши наша жизнь вернулась в прежнее русло. Дом притих. Ни танцев, ни крика, ни смеха. Мы снова чинно и благородно стали ходить в кино, читать книги, смотреть телевизор и ждать чуда.

Позвонил старый Наташин приятель Дик Робертсон, президент студии «Уорнер Бразерс» (ТВ).

— Родион,— обратился он ко мне,— хочешь встретиться с Горбачевым?

— Конечно, хочу. А где он? В Лос-Анджелесе?

— Он прилетит в конце следующего месяца. Получать какую-то премию. Соберется городская общественность. Я уже заказал стол (как выяснилось, за десять тысяч долларов). Будешь сидеть за столом «Уорнер Бразерс». Идет?

— Конечно, идет!..

Михаила Сергеевича и Раису Максимовну американцы приветствовали стоя.

Стол «Уорнер Бразерс» располагался рядом со сценой, так что я мог видеть Горбачевых совсем близко.

Раиса Максимовна выглядела прекрасно, и Михаил Сергеевич несколько не изменился, будто он все еще был в силе и власти.

Михаилу Сергеевичу вручили какую-то статуэтку за выдающиеся заслуги в области экологии. Поздравлял президент организации «Зеленый крест», членом совета директоров которой являлся и Горбачев. Затем выступил он сам.

Не буду останавливаться на его речи. То были разумные, но очень общие слова о необходимости сохранять нашу планету в чистоте.

Когда торжественная часть закончилась, я направился к Горбачеву, успев заметить, как Раиса Максимовна шепнула мужу: «Смотри, кто идет».

Горбачев, широко улыбнувшись, протянул мне руку:

— Родион? А вы что здесь делаете?

— Пришел вас повидать, послушать!

Раиса Максимовна подошла тоже.

— Миша, помнишь его в «Валентине»?

— Да, конечно. Я давно его заметил, только мне и в голову не приходило...

Хороший фильм.

Подойдя к сидевшему на сцене Горбачеву, я нарушил протокол. Публика из зала решила, что им тоже надо быть посмелее, и повалила к сцене. В следующее мгновение я был оттиснут толпой.

— Ваша дочь еще ходит в балетное? — громко, чтобы быть услышанной, спросила Раиса Максимовна (я знал, что внучка Горбачева тоже учится в балетном училище).

— Да,— так же громко ответил я, чувствуя, как возбужденная публика отодвигает меня все дальше и дальше.— А как ваша внучка?

— Делает успехи.— Горбачев на секунду оторвался от автографов и подключился к нашему разговору: — Очень любит балет, очень любит...

Последние слова я разобрал лишь по движению губ. Гвалт стоял невообразимый.

Горбачев придвинулся к микрофону и сказал:

— Господа! Я рад был бы провести с вами больше времени, но мне надо уезжать. Еще раз благодарю вас за столь радушный прием и желаю вам всего хорошего. До свидания!

— Михаил Сергеевич,— остановил я Горбачева на выходе,— мне хотелось бы с вами поговорить.

Горбачев неожиданно перешел на «ты»:

— Ты собираешься в Москву?

— Да, я в Москве бываю очень часто. У меня есть фонд, мы помогаем детям с пороками сердца.

— Ну так позвони и заезжай на чашку чая. Вообще это очень грустно, что ты уехал.

— У меня здесь жена. Но я российский гражданин.

— О! Я еще помню вас в «Рабе любви»,— вспомнила Раиса Максимовна и протянула визитку.— Непременно позвоните.

— Конечно! С радостью!

Горбачев, окруженный свитой, удалился, а я вернулся к своему столу — рассказать Дику Робертсону, какой Горбачев хороший, простой и легкий в общении. Все двенадцать человек, сидевшие за столом студии «Уорнер Бразерс», повернули головы в мою сторону и слушали затаив дыхание.

Когда спустя несколько дней Уэлпли узнал о моей встрече с Горбачевым, он воспрянул духом.

— А Горбачев видел «Не стреляйте в белых лебедей»? — спросил он.

— Не знаю, я не спрашивал.

— Если он видел... Представляешь, получить от Горбачева записку, что ему твой фильм нравится? А мы потом покажем эту записку, скажем, Тернеру.

— Джон, я не привык пользоваться такими приемами.

— А что в этом предосудительного? Мы должны продвинуть вперед наш сценарий. В Америке это сработает, поверь!

В следующий приезд в Москву я первым делом позвонил Горбачеву. Мы договорились о встрече в его фонде, у метро «Аэропорт». Наша застольная беседа, длившаяся сорок пять минут, еще раз убедила меня в том, что Горбачев активен, мудр и бодр духом. В те дни уже началась подготовка к выборам, и Горбачев был настроен соответственно. Он помнил моих «Лебедей» и согласился черкнуть пару строчек. Разговор был очень непринужденный, мы говорили об общих знакомых, о его внучке, о новом времени (критикуя, Горбачев ни разу не назвал Ельцина), много толковали об искусстве.

Горбачев обещал в ближайшее время послать записку о «Лебедях» Тэду Тернеру, которого лично знал.

По какой-то причине записка его до Тернера не дошла.

Я позвонил помощнику Михаила Сергеевича, прося послать записку вторично, однако тот уверил, что записка была послана и послать второй раз нет надобности. Что случилось на самом деле, мы так и не узнали. На наше письмо Тернер любезно ответил, что от дорогого друга Горбачева он ничего пока не получил, но рекомендует тем не менее послать сценарий обычным порядком в его компанию.

Мы послали и через три месяца получили формальный ответ, что сценарий хороший, но никому не нужен.

Я уже говорил, что Лос-Анджелес — это уникальный город, в котором все семь миллионов жителей так или иначе связаны с кино. Едва ребенок родится, родители тут же фотографируют его для актерской карточки, подыскивают голливудского агента и принимаются ждать. Ведь если не в игровом кино, так хотя бы в рекламных фильмах может понадобиться неповторимый писк их младенца.

Я не встречал в Лос-Анджелесе ни одной семьи, в которой не ждали бы съемок, будь то престарелый дед, красивая невестка, уродливый брат или больной сын, даже собака с кошкой имеют шанс сняться в кино.

Лос-Анджелес — город бесконечного ожидания.

Вот уже пять лет и я стою в очереди за Синей Птицей. И никакого просвета. Впереди меня — семь миллионов потенциальных кинематографистов, таких же талантливых и таких же наивных, как я. Неужели я настолько упрям, что верю в успех моего безнадежного предприятия?

Каков же выход?

Мы знали одного серба, который тренировал в теннис богатых клиентов, в

основном женщин. У него было упругое, тренированное тело и горячий взгляд. Когда его потянуло на широкий голливудский простор, он обошел своих женщин. Одна дала ему пять тысяч, другая — пятнадцать, третья — семь, словом, помогли тренеру. Таким образом серб собрал достаточную сумму, чтобы снять фильм. Разумеется, долг ему был прощен. Известны сотни других случаев, когда скидывались состоятельные родственники и субсидировали кинокартину своего племянника, сына или мужа дочери. Ничего стоящего из этого не получалось, но амбиции тщеславного любителя были удовлетворены.

Я слышал, что Евгений Матвеев, разъезжая по России с творческими встречами, собирал деньги на свой новый фильм. Я не осуждаю его: нужда заставила.

Во всех перечисленных выше случаях деньги, полученные на картину, можно было не возвращать. Прекрасное решение вопроса, но, к сожалению, в силу многих причин для меня неприемлемое.

Что же делать? Как все же снять фильм?

В этот период нас буквально завалили кредитными карточками (платиновыми и золотыми), каждая из которых предлагала займы тысячи и тысячи долларов. Кредиторы рассчитывали получить с нас большие проценты. Гарантией возврата для них служили, по-видимому, большой дом на Васанта-Уэй, белый «мерседес» и наши громкие голливудские профессии. И мне вдруг пришло в голову, что, набрав по каждой кредитке по максимуму, мы могли бы получить примерно сто пятьдесят тысяч.

И я предложил жене-продюсеру:

— А почему бы не снять фильм на кредитные карточки?

— О Господи! — испугалась Наташа. — И потерять дом и машину?! Отберут ведь, если не заплатишь. Как ты собираешься возвращать эти долги?

— Постепенно. Дают ведь в рассрочку на пять лет. А за один год фильм заработает столько, что мы легко рассчитаемся со всеми карточками. Не бойся.

— Легко сказать «не бойся», а вдруг фильм не получится?

— Получится! Непременно получится!

Если бы я заколебался, Наташа ни за что не согласилась бы. Но моя безапелляционная уверенность сломила ее сопротивление.

На следующий день Наташа пришла домой радостная.

— Я достала еще пятьдесят.

— Как?

— Уговорила Алекса Кеворкяна. Я сказала, что мы могли бы сделать фильм за пятьдесят тысяч, потому что ты большой профессионал.

— Ну, это ты погорячилась. За пятьдесят!

— Если бы я попросила у него больше, он бы ни за что не дал. Ты думаешь, я дура?

В тот же вечер позвонил Алекс и спросил:

— Родион, вы что в самом деле можете снять фильм за пятьдесят тысяч? Это же нереально.

— Почему нереально? — спокойно ответил я. — Наташа имела в виду чистое производство, без актеров. Актеров оплатим мы сами. У нас уже есть сто пятьдесят тысяч.

— А-а-а! Это другое дело. И когда вы собираетесь вернуть мне долг?

— Год, считай, уйдет на производство, ну и год — на продажу.

— Хорошо, я дам вам пятьдесят тысяч на два года под средний банковский процент.

Неплохое начало!

Единственный вопрос, на который мы не могли пока ответить: о каком фильме идет речь?

— Ты хочешь снять «Кору»? — спрашивала Наташа.

- За двести тысяч? Не справлюсь.
- А «Психушку»?
- Нет, не потянем.
- Вот это да! А на кой черт тогда мы все это затеяли?
- Я думаю, надо написать что-то попроще, подешевле.

Сценарий под названием «Телепат» о маленькой девочке-телепатке, на которую вдруг обрушивается весь жестокий взрослый мир, был написан за два месяца.

Мы стали прикидывать, какая сумма потребуется, чтобы снять фильм. Прикинули и повесили носы: скромный бюджет в двести тысяч долларов, который мы с грехом пополам могли осилить, на деле вылился в один миллион сто тысяч. Таких денег у нас не было. Мы вернулись к сценарию и стали выбрасывать из него дорогостоящие сцены. В результате бюджет фильма слегка уменьшился, упрямо держась у миллионной отметки.

Никаких займов не хватило бы на производство «Телепата», не приди на помощь мой друг Джон Уэлпли.

То был самый благополучный период в жизни Джона: он как раз подписал огромный контракт с телесериалом «Беверли Хиллз 90210». Таким образом у него появились деньги, которые он мог вложить в какое-нибудь прибыльное предприятие.

Прочитав сценарий, Джон сказал, что готов пожертвовать на производство нашего фильма триста тысяч долларов. Добавив при этом, что хочет поддержать мой талант, но не сценарий, который, по его мнению, нуждался в доработке.

Это было дело!

Начав подготовительные работы по фильму, мы должны были расширяться, то есть иметь достаточно места для размещения съемочной группы. Мы добавили две комнаты к уже существующему офису и стали подыскивать административную группу.

Трудная доля выпала Наташе. На ней, как на продюсере, замыкались все финансовые и организационные вопросы. Мы с Уэлпли, хоть и считались исполнительными продюсерами, были всего лишь у нее на подхвате, решая общие вопросы, не требующие ежеминутной ответственности.

При чрезвычайно коротком съемочном периоде (в три раза короче, чем на «Мосфильме») на бедную Наташу наваливалось слишком много забот. На фильме «На исходе ночи» у моего директора (продюсера) Ефима Голынского, как я помню, было три заместителя и три администратора. На «Телепате» по бюджету Наташе полагался всего лишь один профессиональный помощник — производственный менеджер.

Наташа остановила свой выбор на очень энергичной, толковой женщине по имени Лори Пост. За ее плечами было около двадцати фильмов. Однако уже во время съемок мы обнаружили, что она «держалась» на наркотических таблетках. Ни с того ни с сего она вдруг принималась хохотать или тупела, как парализованная, уставившись в одну точку. Помощники, которых она себе подбрала, оказались такими же.

Все бы ничего, но возглавляемые Лори работники эти образовали тайную антинаташину коалицию и постоянно вставляли нам палки в колеса. Лори, по видимому, задевало то, что Наташа, не имея достаточного опыта, занимала более высокую должность в группе, чем она. Обнаружив внутри административной группы подрывную деятельность, мы стали выгонять этих «партизан», но дров они успели наломать достаточно. Подготовительный период таким образом проходил очень бурно.

Съемочный период был коротким, а потому очень напряженным. Почти ежедневно мы работали свыше четырнадцати часов. Держались чудом. Но в последний день съемок усталость все же дала о себе знать. Взорвался оператор:

— Пока не дадите три тысячи, снимать не буду.

Возропала съемочная группа:

— Если не привезете горячий обед (в два часа ночи), разбежимся!

Требовали актеры:

— Заканчивайте, к черту!

Гримерша, разрыдавшись, заявила о своем уходе.

Ассистенты ругались друг с другом.

Актриса Трэйси Лордс кипела от злости.

— Если бы кто только знал, как я его ненавижу! — сказала она.

— Кого? — спросила Наташа.

— Ясно кого! — зло буркнула актриса. — Родиона!

— О-о-о... — искренне поддержала ее Наташа. — Я — тоже. Разорвать готова!

Я чувствовал, что я один, один, как голый хребет. Я отделял себя от других, чтобы не сломаться. Если бы я позволил себе в ту минуту расслабиться, наступило бы всеобщее облегчение. Но фильм не был бы доснят. И вот я сговариваюсь с бунтующим оператором, заставляю Наташу тащиться за ночным обедом, успокаиваю гримеров, шучу с актрисой. И довожу съемку до конца.

Сравнивая наших актеров и американских, должен сказать, что не нахожу большой разницы ни в уровне профессиональной подготовки, ни в методе, ни в подходе к роли. Пожалуй, единственное, что бросается в глаза, — американцы не слоняются по площадке, не зная, чем себя занять: у каждого актера есть комната в специальном вагончике, где они проводят свободное время. Подобная изоляция, на мой взгляд, дает возможность сосредоточиться, повторить текст роли, поправить грим. И еще поразили меня дисциплина и порядок на съемочной площадке. Даже если съемка назначена на пять часов утра, все собираются без опозданий.

Чтобы снимать в том или ином месте, мы должны были иметь специальное разрешение от городских властей. Казалось бы, чего проще? Но это только так кажется. Снимая, к примеру, на Венецианском пляже в Лос-Анджелесе и получив разрешение (платное, разумеется) на съемку на тротуаре, мы и шагу не могли ступить на песок того же самого пляжа, а оплатив разрешение ступить на песок, не имели права войти в воду. Обязательным условием съемок на природе является присутствие полицейских. Наняв их, группа как бы сама же себе надевает наручники, щедро оплачивая из своего бюджета неусыпный жандармский контроль.

Режим семейной жизни был напряженным. Подъем в пять утра, нервные, торопливые сборы. Сумасшедший день, суeta на съемках. В десять вечера просмотр отснятого материала, в полночь — домой. Беспокойные ночные разговоры и короткий, опять же нервный сон.

Любовь, которая зажгла наши сердца на Васанта-Уэй, переросла во взаимное доверие, уважение, понимание. Часто подобными словами вежливо обозначают угасшее чувство. С годами любовь порой деликатно отступает на задний план, давая нам возможность сосредоточиться на практических делах. Бывает, что эти дела так занимают нас, что любовь кажется чем-то и впрямь несущественным. Но попробуйте отшелушить ее от будничных забот, как это бывает у человека, стоящего на пороге смерти, и вы увидите, что любовь нетленна. Вы лишь задвинули ее в дальний угол.

Недавно Катя выиграла всеамериканский поэтический конкурс и ее первое стихотворение было помещено в специальном сборнике. Это большая победа. Катя милая, тихая, но при этом очень настойчивая. Как и все мои девочки, она тянется к искусству. Что она выберет — музыку, пение или поэзию, сказать пока трудно, но уверен, она будет стараться.

А в Москве... В декабре 1997 года я побывал в Большом театре на балете «Щелкунчик», где выступала Аня. То была ее первая роль. Моя Аня была так великолепно в роли чертовки, что у меня навернулись слезы. Полутора минут, отведенных юной дебютантке, было, конечно, очень мало, чтобы о ней всерьез заговорила балетная критика. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя счастливым отцом.

Машенька поступила во ВГИК, на художественный факультет. Ее детский интерес к рисованию вылился в профессиональный. Я видел ее учебные работы — и уже сегодня готов повесить их на стену.

Вера с мужем Кириллом, маленькой Настасьей и повзрослевшими дочерьми переехала на новую квартиру. На Тишинке осталась одна бывшая теща. Стихли детские голоса, обветшали стены.

Когда я несколько лет назад после долгого отсутствия впервые появился на Тишинке, то заметил большие перестановки. Лишь старые мои книги теснились на полках. Остальное было упаковано в коробки и отвезено в гараж.

Гараж находился в десяти минутах езды. Я отворил железные двери и вошел в него, как в склеп, где покоилось мое прошлое. Ветхие от сырости картонные коробки, наполненные давно не востребованными вещами, и в самом деле производили впечатление какой-то мертвечины. Я брезгливо развязал шнурок на одной из коробок и заглянул в темное нутро. Старые кассеты. Связки писем. Вытекшие батарейки. Несколько фотографий. Некоторые из фотографий склеились так, что я не мог их разлепить.



## Три рассказа

В романе «Любовный интерес» («Октябрь», 1999, № 1) есть несколько абзацев о Викторе Голявкине, о его появлении на художественной сцене Ленинграда середины 50-х годов.

«Его зовут Витя, и, когда с ним разговаривают, называют Витя, а за глаза — Голявкин. Он разговаривает по-своему, коротко, внушительно и смешно, и слова произносит по-своему, например, «**вашишэ**», что значит «вообще». В его картинах чистый цвет, равновесие ласточкиного полета, море, песок, дети, собаки, все делают всё, но не сами по себе, а как умеет искусство: море купает, а не люди купаются, песок желтый, потому что вода и солнце, собаки лезут к детям, потому что те их нарисовали. Он сам нарисован: большая круглая голова и при этом плоское лицо, поперечина узкого рта, маленькие веселые глаза, волосы торчком. Похож — многие похожи, но он больше других — на портреты Целкова, на селекционные его бабки и шеи. У целковских — агрессивная бесчувственность класса-гегемона, Леже, доведенный до штампованности членов Политбюро, но и голявкинское пристальное холодное взглядывание, и его чистый румянец.

Голявкин толстый, мощный, быстрый, коротко хохочет, приехал из Баку, чемпион по боксу, пьет, когда и сколько влезет, **нормальный человек**. Он художник, артист, поэтому купил на барахолке шинель венгерского пехотинца с оловянными пуговицами, но она не сходится на нем и потрескивает в плечах. Ему снится сон: комната, стул, на стуле его пиджак, на лацкане звезда Героя Советского Союза. Он говорит: «Куплю, вашишэ, избу, утром выйду на крыльцо: кыши — и курицы во все стороны!»

Все стали говорить «вашишэ», придумывать похуже на «крыльцо и кыши», искать по комиссиям пальтеца из дешевых сукон нестандартного цвета. Все хотели сочинять такую прозу, как он. Потому что в дополнение к живописи или в предвосхищение ее он с самого начала писал рассказы вроде снов с пиджаком и курицами, вроде картин с детьми на пляже. Флажки, флажки, кругом флажки, на заборе сидит мальчик и ест флажок — в таком роде. Он так говорил, видел — и писал. Литературные доки производили его от обэриутов, дадаистов, находили логическое завершение раннего Зоценки и, конечно, реакцию на абсурд официального стиля. Он получал удовольствие от этой заинтересованности, повсеместного говорения о нем, обсуждения его персоны со стороны. Зоценковские рассказыки он, конечно, читал, детские стихи Хармса и «Столбцы» тоже, а из остального можно говорить с уверенностью только об «Истории рассказчика историй» Шервуда Андерсона, которую месяцами таскал в кармане.

Трех-, семистрочные новеллки, перепечатываемые под копирку, заучиваемые наизусть, передаваемые друг другу как свежие стихи или анекдоты, получили наименование «взрослых» — их не публиковали. Публиковали Голявкина «детского»: «Рисунки на асфальте», «Тетрадки под дождем», «Арфа и бокс». «Я сейчас книжку пишу, хочу ей дать такое название ашишэ странное — "Арфа и бокс"». Электричка, летний день, мы едем из Комарова — он, Аксенов и я, солнце с нашей стороны вагона, печет, мы выпивши, и нас развозит. «Так сейчас не называют, — говорит Аксенов, — старомодный фасон». «"...и бокс"», — повторяет Голявкин, хохотнув с серьезными глазами и имитируя удар ему в челюсть. «И арфа, — говорю я Голявкину, — или я сейчас выйду». Он знает, о чем речь, он может и не только сымитировать, такое бывало.

Четвертая книга в «Детской литературе» у Голявкина вышла «Мой добрый папа» — такая же детская, как Диккенс, которого тоже там издавали. Я ее прочел, захлопнул, посмотрел еще раз на обложку, прочитал с удовольствием вслух: «Мой добрый папа», — и оказалось, что я это уже о своем отце говорю. Голявкинский папа

*отнюдь не слащавый — смешной человек, непутевый, не великого ума, просто — добрый. Все на свете — смешные и не больно толковые и так ли, сяк ли глуповатые, но почти нет добрых. Героев больше, хотя тоже считанные. А чтобы добрый и герой, то, если не в сказке, так только у кого-то, кому-то попался — не тебе, не у тебя. Вот папа у Вити Голявкина. Голявкин — писатель вроде Венедикта Ерофеева, то есть вне списков. Только у Ерофеева готика: шалаши, да каменный; никак, да только так; что написано пером, не вырубишь топором. А у Голявкина пьяных нет, трезвые, а закона не выведешь, и что читаешь, то впечатление, что и до этой минуты знал, что это знаешь: из какой-то верной книги вроде голявкинской»...*

*И вот в этом году Виктору Голявкину, ни много ни мало, семьдесят лет. Я в жизни ничего подобного не видел, чтобы человек так не изменился. Четверть века назад у него случился апоплексический удар, он стал приволакивать ногу и перестал появляться на людях со своей фирменной непредсказуемостью и атакующей неотменимостью. Литературная среда довольно быстро вычеркнула его из своих списков. **Вашиэ-то** говоря, он и раньше не очень в них вписывался. Годам, как правило, к тридцати — сорока писатели занимают положение, среда устаивается, литература нового поколения входит в рамки таких понятий, как **процесс, концепция, направление**. Голявкина в эти шкафы вставить было трудно, он из них и высовывался, и изнутри разламывал. Провести с ним полчаса-час было интересно, весело и даже плодотворно, потом долго можно пересказывать его словечки и поступки, но через час появлялось ощущение, что не все так легко, смешно и занимательно, — от него исходило давление. Он был фигура необщепринятого ранга, его увлекали необщепринятые вещи. К тому же у него был трудный характер: обаятельная, щедрая натура, но — исподволь, ненамеренно подчиняющая себе. И, главное, между ним и любым другим всегда сохранялась дистанция, в продолжении питания, прогулки, в шутке, в разговоре об искусстве. Короче, он не входил в **компанию**.*

*Сейчас его имя редко-редко упоминает кто-нибудь из писателей признанных — как яркого персонажа среди других ярких персонажей ушедшего времени. Между тем едва ли кто из этих писателей избежал его влияния — непосредственного, или опосредованного через «голявкианцев», или, наконец, преодоленного годами в собственном творчестве. Своей манерой письма, а лучше сказать, литературой своей живой речи, он сориентировал ленинградскую прозу того десятилетия, действующие лица которого по сегодняшнему день сами приводятся как ориентиры в разнообразных статьях, эссе и исторических очерках. Думаю, в определенном смысле он повлиял и на поэзию, сообщив ее синтаксису энергию короткой фразы, без оглядок и запутывания следов пробивающейся к цели. Сам же он равен себе: судит о вещах здраво, иронично, не как все; выпивает свободно и охотно; ни седины, ни намека на лысину; говорит скороговоркой, бывает, неразборчиво — но то же было и в молодые годы; нога не восстанавливается — но куда сейчас торопиться?*

*Анатолий НАЙМАН*

### **НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖЕ, ИЛИ ВСЕГДА ЧТО-ТО НАПОМИНАЕТ**

Мы с ним жили в одном доме, вместе росли. В доме было соседей полно, но, кроме него, никто не оставил у меня сколько-нибудь значительных воспоминаний.

Еще в школе он сказал мне банальную фразу:

— Не нужно делать того, что тебе не нравится. Или стараться делать меньше. А лучше вовсе не делать.

Я не успел спросить, что он конкретно имеет в виду: он уже ушел в другую сторону. И так всю жизнь — невозможно было добиться разъяснений, он всегда уходил в сторону. Оттого, наверно, производил на меня устойчивое впечатление. Сказанные им короткие хлесткие фразы как бы навечно западали мне в душу и сверлили мозг своей энергией и загадочностью.

Я только собрался читать роман знаменитого классика, как он будто приговорил меня:

— Я не терплю толстых книг. Они не для меня. Они для толстых. Пусть заплывшие салом читают их в гамаках. Кому тяжело носить свой жир, легко прочесть толстую книгу. Для меня толстая книга тяжела. Нет, толстые книги не для меня...



Верите ли, под влиянием его речи я так никогда и не прочел той книги...

Он вылетал из школы, ветер широко раздувал полы его плаща.

— Ты куда? — попался я ему навстречу.

— Старик, — сказал он, едва задержавшись (в то время модно было говорить друг другу «старик»), — ничего не могу учить. Никогда ничего не учил и впредь не собираюсь этого делать. Не понимаю: зачем нужно что-то учить? Склоненные над книгами головы меня пугают. Ведь потом они тараторят одно и то же, как попугаи. Станут считаться умными и награждать друг друга учеными званиями...

Оказывается, в тот момент он навсегда ушел из школы. Он бросил школу без сожаления.

Как ни странно, позже мы оказались с ним на одном факультете. Такое совпадение сильно меня удивило: как же так вышло? Рот у меня открылся. Ведь чтобы в институт поступить, школу надо закончить и вступительные экзамены сдать. А он сам говорил, что это не для него. Но спрашивать, я знал, бесполезно — отмахнется, отговорится, слукавит, отшутится.

— Для меня многое мука, старик. И особенно лекции. Я посылаю бы на лекции провинившихся. А приговоренных заставляю бы слушать лекции с утра до вечера. Уверен, это их в миг бы доконало. Лекция звучит назойливо. Вливается в мозг и оседает там копотью. Я вижу немало людей с копчеными мозгами. Меня удивляет их юркость. Они всегда знают то, что можно не знать. И не знают простого и главного.

Я принял сказанное на свой счет...

Случайно я проходил мимо городского спортивного зала. Окна зала выходят на улицу и облеплены десятками приплюснутых к стеклам лиц. Люди с удивлением глядят с улицы в зал. Я тоже заглянул: интересно, на что там смотрят?

Боксеры в форме прыгают и носятся по залу, бьют по воздуху, по грушам, бьют друг друга — идет тренировка. Один голый и мокрый влетел из душа прямо на ринг. Поскольку в зал смотрят люди, он корчит уморительные гримасы, пляшет, как ненормальный, специально для них. Играет на губной гармошке. С него стекает вода. Он прыгает и корчится, словно черт. То, на что уставились люди, отчаянно болтается между ног. Прижатые к стеклам глаза расширяются от удивления. Вероятно, думают, он сумасшедший. Кто бы, вы думали, это был? Это был он. Темперамент увлек его на ринг. И он, я слышал, выступал на ринге за любое спортивное общество, которое его приглашало. Большею частью он выигрывал схватки. У него была уйма грамот. «Я могу своими грамотами обклеить все стены», — весело бахвалился он и раздавал значки восторженным ребяташкам, сам радовался как ребенок.

В ту пору он любил гонять на мотоцикле и мелькал во всех концах города под милицейский свист, всегда не вовремя бешено урчал во дворе. Он очень любил свой мотоцикл и собственноручно перекрашивал его в разные цвета — в зеленый, красный, синий, фиолетовый...

А мне каждую ночь снилось, что мне вышибают зубы. Сон был дурной, и я ждал, когда настанет худо. Каждую ночь я со страхом шел спать. Я боялся сна, он повторялся уже которую ночь. Вставал утром и, таращась в зеркало, проверял свои зубы. Сон отравлял мне жизнь. Я старался больше сидеть дома, никуда не ходить. Страх овладел мною. Лицо у меня похудело, поблекли глаза, одна щека стала нервно дергаться. Большую часть времени я лежал, слушал завывания его мотоцикла. Страшные мысли лезли мне в голову.

А ночью я видел опять тот же сон. Я видел себя с беззубым ртом. Утром дергал свои зубы, сомневался в их крепости. Как мне казалось, некоторые уже шатались, чего раньше не было. У меня пропал аппетит, навалилось уныние. Я ждал чего-то ужасного.

Во дворе затарахтел мотоцикл, я проснулся, встал с кровати и хотел одеваться. Я потянулся за рубашкой, висевшей на спинке стула, сделал резкое движение, потерял равновесие, упал. Моя челюсть лягнула о спинку кровати. Я вышиб себе передние зубы. Тут я почувствовал облегчение и даже улыбнулся: наконец-то, мне показалось, кончилось то, что назойливо снилось.

В душе была пустота, я вышел на улицу.

Фонарные столбы мчатся в перспективу, скрипят фонари на столбах от ветра, пересекая небо. Мелькают между столбами люди. В тумане силуэты мосты. Бороздятся река огнями. Рябится вода. Волнуется небо. Хлещет дождь.

Его мотоцикл стоял у пивной, желтый на этот раз. Меня неудержимо потянуло в пивную. Там музыка, перекошенные лица. Дым. Смех. Веселье.

Он подзывает меня, и я подхожу.

Ангелок сидит за столом рядом с ним. По бокам будто крылышки. Лицо как у барашка. Волосики курчавые. Носик вздернут. Сидит, пьет пиво, слегка сопит. Взглянула на меня — смутилась. Опустила в кружку глазки.

Я старался не открывать свой беззубый рот, но все равно получил от него непреклонную отповедь.

— Не смотри на нее волком. Будто ей выпить нельзя. Мы с тобой пиво пьем. У нас железные желудки. Скулы будто из бронзы, и крепко присобачены челюсти. Пиво, конечно же, не для ангелов. Но ради меня ей можно и чего покрепче хватануть. Разве не так?

Ангелица смутилась, опустила головку.

— Мне, видишь ли, захотелось рвануть с ней в небо! — шутил и смеялся он.

Ангелица скоро встала, он мгновенно двинул за ней, а мне едва успел кивнуть. Мотоцикл просвистел мимо окон.

Разговаривал в тот период он только в шутовском тоне. Например, вот так: «Улыбка красотки меня волнует. Улыбки десятка женщин проходят по мне рябью. Сотни улыбок охватывают меня волной. Больше улыбок — больше волн у меня в крови. От моря улыбок тело мое штормит. Кровь бесится, словно в буре. Атакой иду на все улыбки. Сам излучаюсь весельем. Беру в объятия всех. Всем открываю свои объятия!»

По поводу женщин пути наши еще пересекались.

Один раз я продал ему женщину. Дело было так. Мы с ним были на вернисаже. Она выделялась формами на радужном фоне картин. Ее зад пышно округлился. Груды рвали платье. Ало выворачивались губы. Я глянул в ее глаза — они туманились из-под век. И я, и он ею очаровались, под руки проводили ее до дома. Договорились встретиться через час. За этот час я ее ему пропил.

— Не буду тебе мешать, — сказал я. — Бери ее. Я тебе ее продаю.

Я напился как сукин сын, и сквозь хмельной туман она все представлялась мне на фоне картин. На самом деле я больше не встретил ее никогда.

Но даже хождение на выставки не было для него случайным — в отличие от меня. Через некоторое время он уже обретался в художественном институте.

И слышали бы вы, что он тогда говорил! Патетика его казалась мне сногсшибательной, без преувеличения.

— Я художник нашего времени. Я художник из всех художников, которых я не считаю художниками. Все эти сотни художников — чепуха, самые значительные из них — кастраты. Я говорю совершенно нагло и совершенно уверенно: я сверкну солнцем среди этой грязи, мне подражать будут сотни. Я современный художник. Я выдаю искусство своего времени. Я глубоко уверен в своем самобытном, кипучем, бурном, необузданном, неправильном, неверном, гремещем, звучащем, мощном, не всем понятном искусстве.

И я говорю вам и всем: я буду писать вас, исполосовывая в бешенстве холст. Пусть видят мой мощный дух. Мой могучий темперамент. Я пишу экспрессивно и бешено. Моя форма — огромный дар. Я кручу форму в экспрессии, как хочу. Пусть, кто хочет иметь свой ординарный портрет, идет к другому художнику, а еще лучше — пусть идет в фотографию. Я еще не видел темпераментных художников. Я не видел настоящей экспрессии в холстах. Все художники скованы по рукам. Лишь малую долю себя они отдают творчеству. Они жалкие кастраты! Меня не трогает их искусство. Сегодняшним искусством я заглушаю звонки и гудки, грохоты и шумы былых времен. Я волную кровь современности своим беспредельно светящим искусством.

Наши дворовые кошки, сбегаясь из всех углов под ноги всякому прохожему в надежде получить еды, оказывается, не были оставлены без его всеобъемлющего

внимания. Тоже, так сказать, попали под горячую руку гения. Его на всех хватало. Дело в том, что однажды он бросил в мой почтовый ящик шутовское письмо.

*«Дорогой друг!*

*Как там сейчас наши кошки? Как Мурки, Пушки? Где Пушок? Я не могу вспомнить, умер он или жив. Если не умер, то где он? А если умер — жаль. Если он живой, принеси мне его в ящичке или в корзине. Я устрою его в институт, и он будет у меня чудесно рисовать, как все. Я научу его рисовать гипсы и тыкать маленькой кисточкой в маленький холстик. Он у нас будет жанрист и лирик. И я уверен в том, что он обгонит здесь всех, всем утрет нос и покажет, где раки зимуют. Он все же способный парень и дурак. Помнишь, как он однажды плакал, растроганный видом луны, протяжно и горько, оканвав слезами весь асфальт? Из него получится тонкий лирик, и он даст сто очков вперед всем, кто задумает с ним тягаться.*

*Впрочем, если он умер — тем лучше для него. Он словно сказал своей смертью: «Дудки вам! Ушки вам! Не придется вам учить меня, я не так уж глуп, как вы думали, и вам не удастся сделать из меня форменного идиота!»*

*А может, он все же не умер? Ты принеси его мне, пожалуйста, в ящичке или в корзине, если он живой».*

Дальше шла приписка.

*«Меня удивительно учат. Учат рисовать на бумаге, а потом переводить на холст. Эта удручающая система вышибает живость. Но это все же система — ею может овладеть каждый, даже кот. Только очень тупая система».*

Я подключился к его шутовскому тону и бросил ему в почтовый ящик ответное письмо:

*«Дорогой друг, Пушок был жив до твоего письма. Но я сказал ему: «Пушок, полезай-ка в ящик, пойдешь учиться искусству». И он сейчас же умер...»*

Еще монолог, словно стих, навечно врезался в мою память.

— Можно писать и так и этак.

Нужно писать только так.

Нужно писать себя.

Писать себя в ветре и буре, в морях, в дожде, в снегах и на солнце. Писать себя ожесточенно, атакующе, бешено, не думая, не рассуждая, не прислушиваясь, не вникая — пусть на мне, как погода на барометре, отражается время.

Можно писать и так и этак.

Нужно писать только так.

Пришло чудесное искусство — субъективное.

Я считаю прекрасным то, что нравится мне. Я всегда плевал на то, что мне скажут другие. Пусть прослышу нескромным и наглым. Я сейчас в настроении звинченном. Это настроение как раз для работы.

Однажды он выходил с чемоданом. Я провожал его на вокзал.

— Я не жалею покидать город, не боюсь далекого пути, не чувствую в душе пустоты, никогда не боюсь неизвестности. Только повторяю про себя одно и то же: «Н-да, очень странно!»

Глаза мои глядят вдаль, уверенность, нетерпение бродят в теле, страсть пути охватывает дрожью, и я повторяю одно и то же: «Н-да, очень странно!» Женщины вообще-то очень странные...

«Я тебя люблю, — говорила она, — и буду любить тебя всю жизнь». Я каждый миг рвался к ней... И вот открывает мне двери и прямо с порога спокойно мне говорит: «Я вышла замуж. Заходи, если хочешь, сыграем в домино. Мой муж любит играть в домино».

Я вылетел с лестницы...

«Ты думаешь, — говорит, — я тебя за твое творчество любила, милый ты мой дурачок? Да мне плевать на твое творчество, начхать».

Словно я отдельно от своего творчества. Словно дух в человеке — это ноль, ничто. А есть нечто пустое, улыбается, сердится, смеется... Выходит, одно и то же, когда ты работаешь гениально и когда пишешь бред, халтуру. Лишь бы

ты деньги зарабатывал. Халтурил — портреты, стенды, панно писал. Ничего себе, подруга жизни, спутница...

Проводил я его на поезд. Он, видно, сам толком не знал, куда едет. «Я вихрем пронесусь по городам и странам», — был его последний возглас.

Времени прошло много, для одних, может, сто, а для других, может быть, тысяча лет. Одни ровесники умерли, другие постарели. Лично мне неохота на себя смотреть — время не пощадило.

Уезжал он большого роста, широкоплечий и крепкий красавец парень. Сейчас он сутул и тонок, как прут, у него будто выедено нутро под оболочкой. Бессчетные изошренные композиции здорово его иссушили. Теперь он возит по городам и странам выставки своих художественных работ.

И водит меня по своей выставке.

— Скажи, старик, что-нибудь, не стесняйся.

Сколько помню себя, я всегда уступал его бешеному напору. Мне неприлично высказывать мнение о его поступках. С таким, как он, иметь дело непросто. Быть не согласным — попробуй! Тут же получишь отпор в самой непредсказуемой форме. Да язык не повернется сказать плохое — вся жизнь положена на это искусство, уж стоит чего-нибудь. Одних красок истрачены пуды, тонны.

Нельзя не уважать энергию, с отчаянием и злостью вложенную в работы. Конечно, всякий, не только он, платит жизнью, естественном, плотью и кровью. Но ведь у других-то не на что посмотреть. А тут — такой напор! Энергия направлена не на драку, не на воровство, не на баб, не на преступления. Энергия направлена на открытие, на обогащение души человека, для блага, может быть, всего человечества... Ведь это же хорошо!

А самое главное — видно, вот оно, есть что показать этому самому человечеству.

Есть люди, у которых ум работает по линейке. Такой человек более-менее знает, что, куда, откуда и зачем, и с какой стати, и даже в некоторой степени почему. То есть он может взять немножко оттуда, немножко отсюда и положить в свое, и все будет в порядке. Он будет вовремя уходить, когда не нужно задерживаться. Будет говорить то, что нужно в данный момент, а чего не нужно, не станет говорить. И дружить будет с теми людьми, которые ему нужны, то есть не бескорыстно. Все будет у него в порядке, да и только. Да порядок-то может развалиться в один день к чертовой матери. Как у бывших «больших» людей, взять, к примеру, какого-нибудь государственного деятеля, уж не один провалился в тартарары. Так вот у них может быть некоторый порядок. Но великое, удивительное разве можно сделать по линейке? Порыв, хорошая голова, пылающее сердце нужны...

Подумать только, целая выставка! Огромные залы завешаны его картинами, в промежутках — гигантские скульптуры.

Он, по сути дела, выворотил наизнанку человека, выпотрошил, лишил лица. Понравилось ему лишать человека всяких иллюзий по поводу самого себя!

Хоть отбавляй злости в лаконичной изысканной форме. Нарочно! Чтобы зрители, привыкшие искать к себе симпатии, с отвращением отвернулись, содрогнулись.

Ишь ты, гений, разложил человека на части — собери его теперь, попробуй. Пощади! Природа создала человека в целостности как самообразующую систему. А тут одно крошево, конец всему...

Впрочем, в искусстве дойти до конца, до самого края не страшно. В жизни страшно, но в искусстве всегда можно начать все сначала. Пока свежо, в первый раз и безобразно интересно. Если подобным заполняют, а обычно так водится — искусству конец и жить противно.

В длительное мирное время появилось много художников. А когда их СЛИШКОМ много, они подражанием превращают друг друга в ничто. Идеи делаются мусором. Людям слишком много не надо. Интересно то, что ни на что не похоже, а такого много не бывает...

— Не опасайся говорить мне, что думаешь, старик. Похвалы меня не прельщают, но я хотел бы избавиться от недостатков. Может быть, тебе видно, мне застит глаза, — говорит он, глядя мне прямо в глаза.

Я опасался. Во-первых, он не заслуживал беспощадного мнения. Я уважал его могучий темперамент, его битвы со временем, упорное желание вспучить, взорвать, взбаламутить — не любит он ровное, спокойное состояние жизни.

— Ты сам все про себя знаешь, — сказала я наконец.

— Как никогда прежде, я хочу учиться и совершенствоваться.

Сумасшедший, в таком возрасте как можно! Раньше надо было учиться. Противоречивые мысли бродили у меня в голове, в то время когда я бродил по его необъятной выставке. Язык у меня будто к небу присох, не ворочался. Знал бы он, в каком трудном я сейчас положении, не стал бы приставать. Но ведь он, по обыкновению, прёт, как тысячу лет назад.

— Старик, мы с тобой знакомы всю жизнь. Кто же еще мне скажет правду? Я тебе доверяю. Скажи, какие у меня недостатки?

Господи, на какую такую правду его вдруг потянуло? Никогда в ней не нуждался, попросту презирал. Не хотел я говорить ему о пресловутых недостатках. Да ведь и не поверит все равно, если не похвалишь как следует. Что, он дурак, после такой бурной жизни слушать чью-то критику? Прямо не знал, как выйти из безвыходного положения. Сказать «не знаю»? Подумаешь, удивил — вечно никто ничего не знает, да еще незнание выставляет большим достоинством...

И тогда он начал очередной большой монолог, будто читал навсегда выученное стихотворение. Он ведь и прежде разговаривал со мной монологами.

— Конечно, я грешен. В детстве обсикивал бабкино платье регулярно до двух с половиной лет. Ходил по карнизу пятого этажа, когда не хотел слушаться матери. Связывал хвосты собакам. Выдергивал перья у петухов. Смотрел в замочную скважину женской уборной. Стрелял в квартире из украденного автомата. Взорвал порох на балконе, сам не взорвался, но взрывной волной снесло полбалкона, стол улетел в коридор, от книжного шкафа остался пшик, и дверь на балкон исчезла, пропали кошка и старый кот.

Без всякой разумной цели пробил в полу дыру. И всякий раз, когда мать мыла пол, с нижнего этажа нас крыли матом.

Украл писсуар из уборной и продал соседу. Когда отец узнал, он сказал, что я деловой человек и мне будет в жизни легко.

Украл алюминиевый чайник и сделал из него самолет. Самолет кинул с крыши в толпу людей.

Сжег в печке отцовские штаны, клеенку со стола, ножки от стульев, на стульях стало невозможно сидеть. Сжег карту мира, свидетельство о браке отца и матери, бабушкин паспорт, дедушкин паспорт. Сжег в печке пластинки: арию Ленского, арию Канио, арию мельника, арию Германна, арию Игоря, много дуэтов, пять вальсов. Пластинки горели здорово. Я прыгал вокруг и пел. Меня заперли дома в тот день. Родители уехали хоронить папину тещу. Они вернулись, когда я втискивал в печку сундук, он никак не влезал в дверцу, они били меня.

Разбил стекла в Доме ученых, в консерватории и филармонии.

Вбил гвоздь в стул учительницы. Свернул шею скульптуре в саду. Сикал с балкона на граждан. Одна женщина, глянув вверх, сказала: «В таком возрасте и так велик...»

Положил на спину многих женщин, замужних и незамужних, горячих южанок и нежных блондинок, спортсменок и балерин, фабричных работниц и официанток, лирических девочек и полных дам, представительных матерей и дочек, печальных вдов и бедных сирот, любивших меня и меня не любивших, знавших меня и не знавших, бежавших ко мне и от меня. Я клал их на кровать, на диван, на раскладушку и на тахту, на траву, на цветистое поле с маками, васильками, ромашками, кашками, колокольчиками, куриной слепотой и с колючками.

Я скверно вел себя в обществе. Стоял задом к дамам. Громко разговаривал. Зевал, широко открывая рот. Сморкался на пол. Неприлично урчал животом. Перепортил уйму воздуха.

Спал, когда все работали, и работал, когда не спал.

Больше ел, чем работал. Когда ел, чавкал.

Никогда ничего не учил.

Беспрерывно хвалил свой несравненный ум.  
 Десятилетиями терзал порядочных людей дилетантскими художественными претензиями.  
 И наконец запорошил весь мир композициями, от которых всех воротит с души.  
 — Молодец! — сказал я со смехом.  
 — Правда? Ты так думаешь? — засмеялся он и пожал мне руку.  
 — Правда, правда! — сказал я.— Что теперь сделаешь! Ведь ты, наверно, здорово устал. Этого с тобой никогда больше не повторится!..  
 Никогда больше с ним этого не повторится.  
 Слава Богу!  
 Как жаль!

### ТРЕТЬЯ ПАРА

Дочка знакомого выкинула штуку.  
 Когда отец уехал в командировку, а мама слегла в больницу, эта особа ухитрилась продать половину вещей из дома, включая шкафы и стулья. На вырученные деньги приобрела моднейшие туфли на таких высоких каблуках, каких еще в природе не было. Каблуки были на редкость высокие. И хрустальные. Внутри что-то светилось, переливалось, мигало радужным цветом. Если повнимательнее взглядеться, посмотреть в упор, можно увидеть пару крошечных человечков — они при ходьбе моргали и раскрывали рты.  
 Крошечные игрушки, вмонтированные в каблуки, постороннему взгляду почти незаметны. Но при желании их можно как следует рассмотреть.  
 Если туфли снять и поглядеть на каблуки, упираясь чуть ли не носом, вполне можно оценить фантазию мастера и вкус молодой особы. Подобной фантазией она пыталась усилить интерес прохожих к себе.  
 Бесплезная, на мой взгляд, диковинка. Но это на мой взгляд — мало кто с моим взглядом считается. Женская мода — штука капризная, не я первый это сказал. На мой взгляд, дочь ничего не должна была делать без спроса родителей, и я сочувствую отцу. Сочувствую матери. Себе сочувствую, если кто со мной не согласен...  
 Отец является из командировки домой, входит в свою порядком опустошенную квартиру. Застает дочь в наимоднейших туфлях. И поскольку место расчистилось, она отплясывает под чудовищную музыку невероятный танец с лохматым парнем, которого здесь прежде не видели да и в будущем век бы не видеть.  
 Она спешно выпроваживает дружка: объясняться с родителем, естественно, лучше без посторонних.  
 Отец в бешенстве приступает к расспросам:  
 — Как ты могла?  
 — С трудом. Волновалась. Тряслась...  
 — Без нас?  
 — Вся жизнь мечтала оказаться без вас. Вы все время торчите перед глазами, не даете сосредоточиться...  
 — Ты не своим добром распорядилась!  
 — Своего добра у меня сроду не было.  
 — Ты нас не спросила!  
 Он возмущен. Схватился за сердце. Шатается.  
 — Держись! Не падай,— говорит девица.  
 Отец устоял и постепенно успокоился.  
 — Я-то ладно,— говорит.— Но что будет с матерью в больнице?  
 — Сначала ее потрясло. Я туфельки ей показала — ее заинтересовало. Появился стимул. Пошла на поправку. Уже рвется на выписку.  
 — Покажи и мне.— Сам на вид бледный, руки дрожат.  
 Дочка снимает нехотя туфли. Он их с любопытством рассматривает. Вдруг неожиданно свирепеет и одним махом превращает туфли в труху.  
 — Нельзя без спроса! — вскрикивает.

— Ты лишил тувфель свою жену! — убедительно заявляет дочка.

Она достает другие такие же туфли, проворно надевает их и уходит из дома.

Отец остается обалделый и озадаченный. Тут его осеняет: может, у нее этих тувфель для бизнеса заготовлено? Значит, должны быть еще. Все же помешаны теперь на бизнесе.

И он лихорадочно начал искать третью пару.

### ХОХОТУШКА

— Посмейтесь! Ну, еще! Смейтесь, смейтесь!

Он с удовольствием слушает ее смех. Он говорит ей:

— Ваш смех — чудо!

Она отвечает:

— О! Можно и дальше валять дурака?

— Валяйте, валяйте! — умоляет он.

Он, интеллигентный человек, после длительной работы в большом городе приехал в отпуск отдохнуть на юг. Жара. Море огромное перед глазами. Утром солнце выкатывает из моря, как раскаленный шар. Вечером лунную дорожку раскачивает вода. Можно на все смотреть и не торопиться. Фрукты свисают с деревьев. Ягоды на грядках, не на прилавках. Все рядом. В саду. Рви и ешь. Поправляйся. Женщины за всем хозяйством ухаживают, бодро беседуют между собой. Ходят, бродят неторопливо, переговариваются райскими голосами. Не спорят. Не шумят. Не требуют. Сразу видно, находятся в своей тарелке, а не в какой-нибудь чужой.

На юге он ест, пьет, ни о чем тяжелом, серьезном не думает. Он расслабляется на жаре. Смотрит в небо. Ходит в горы. Собирает у моря камешки, ракушки. Лежит на теплом песке. Прыгает с камней в море. Все хорошо. Он холост. Молод. Полон сил.

И вот уже ходит под руку с хохотушкой. Может быть, строит планы с ней.

— Где ваш веселый смех? Дайте мне его еще раз послушать!

Она весело хохочет просто так, и он доволен.

То был смех не над ним. И он с радостью его слушал.

Вдруг ночью, когда он спал у открытого окна, наслаждался свежим морским воздухом, какая-то летучая жужжащая тварь влетела в окно. Покружилась. Пожужжала. И укусила его прямо в зад.

Он вскочил, взвыл, возмутился, бросился за ней, но ее след простыл. Она беспечно улетела в сторону моря, откуда прилетала, только ее и видели. А может, не в сторону моря, кто ее поймет.

Какой тут сон! Какой отдых! Зачем прилетала эта гадина? Чего ей у себя не хватало?

Укушенное место вздулось. Болело.

Укус летающего гада испортил настроение, а если дальше посмотреть, то, может быть, перевернул жизнь.

Большую роль, конечно, сыграла хохотушка: она непрерывно смеялась над пустяками и умиляла его.

Но то был смех отвлеченный, ничего не затрагивающий, скорее от здоровья, от живости, чем по существу. Вдруг теперь она узнает о ночном происшествии, станет заливаться, хохотать? Теперь уже над ним.

А натура у него тонкая, чувствительная, скрытная. Нет, нет, ему такого не снести, не пережить! Он все же кандидат наук, и для него это важно, он себя уважал. И вдруг такое! Нет, нет.

Он потерял всякий интерес к окружающей природе. Возненавидел всех летающих, жужжащих, кровососущих — стрекоз, бабочек, жуков и прочих разных. Теперь он не выносил даже вертолеты. Хотя вертолеты при чем? Летают, понимаешь, жужжат...

Тончайшая ведь натура. Обидно. Кандидат. Вес в обществе. Знаток. И вдруг такое...

Собрал быстренько вещи и уехал, не попрощавшись с девушкой. Решительность, воля — все для того, чтобы себя уважать! Взял себя изо всех сил в руки, жестко держал в тисках.

Любил он свою хохотушку или просто был временно увлечен — какая теперь разница, раз уехал.

Когда девушка поняла, что друг от нее сбежал, по привычке громко рассмеялась от удивления. Смех теперь как бы повисал в воздухе. Смеялась она теперь, выходит, над самою собой. Поняв это, здорово расстроилась.

Но не надолго.

Потом решила не сдаваться, найти молодого человека и выяснить, почему уезжают, ни слова не говоря. На отдыхе сил прибавилось, куда их девать, и своим удачным мыслям она опять улыбалась.

У парня, наверно, была некоторая неловкость в отношении девушки, но ведь он все равно больше никогда ее не увидит.

Не тут-то было! В один тоскливый день раздался робкий звонок. За дверью стояла знакомая хохотушка.

Она преодолела расстояние, выдержала характер и нашла, кого искала.

— А вот и я! — улыбнулась она.

Он испугался ее внезапного появления и пригласил войти. Она заметила испуг, но чего тут бояться! Она засмеялась.

От ее смеха он будто съежился и его передернуло.

Она чувствует: делает что-то не то, что надо бы делать. Но другого не знает и смеется, смеется. Надо же так настойчиво смеяться!

Он сделался мрачен. Стал рассказывать о тучах крылатых насекомых, которые облепляют дома, о пчелиных роях, которые садятся прямо на голову, путая ее с сучком дерева, о несметных полчищах саранчи.

Она не поняла, зачем он говорит ей все это, и смеялась.

— Я сейчас приду, — внезапно говорит он и уходит, хлопнув дверью.

Она ждет, а он не приходит.

Подходит она к двери. А дверь вся сверху донизу усажена засовами, запорами, замками, даже смешно. А на самом деле дверь захлопнута на единственную защелку. Легко выйти. Но не войти! До чего умно придумано, как не засмеяться!

В это время парень подкреплялся в ресторане. Обычная пошлая, жужлая муха начала виться над его столом и села ему прямо на нос.

Он схватился за нос, взвизгнул и пулей вылетел из ресторана.

От всего убежать становится стойкой чертой его характера.

Но девушка не узнала, почему он от нее сбежал. Ей стало еще любопытнее. И вот в квартире парня опять раздается звонок. Он так испугался, увидев ее, что готов был залезть под кровать. Но ведь он ее не в первый раз видит, не во второй и не в третий и говорит:

— Извините!

— «Извините» — здравствуйте или «извините» — до свидания? Может, мне в другой раз прийти?

«В другой раз» — еще не хватало! Разделаться сразу, и ладно.

— Войдите, — вежливо говорит он (воспитанный же человек!). — Я болен!!! — пугает он ее с ходу таинственным голосом, и в голос такой запал заложил, будто страдает от того вируса, который под корень косит.

Что тут началось — Боже мой! Она так сочувствовала его нездоровью, сокрушалась, смеялась и плакала, что он скоро осмелился открыть ей, какая муха его укусила. Оба здорово хохотали над малюсенькой тайной.

Она ему будто камень с души своротила. От хорошего настроения у него скоро зажил укус. Он перестал быть мрачным типом.

И смеются, хохочут, обнимаются, целуются и прочее в том же духе.

Главное, он смеется, укушенный недавно вредным насекомым.

Неплохо быть укушенным, между прочим, и позавидуешь даже...





# Из литературного наследия

Андрей ПЛАТОНОВ

---

## «Жить ласково здесь невозможно...»

**В**ечном строительстве здания русской культуры — ее духовного космоса, самого языка русской литературы как языка мировидения «сокровенного сердца человека» — Андрею Платонову принадлежит в веке двадцатом одно из первых мест. Открывая его прозу на любой странице, неизбежно попадаешь под магию языка, то ли языка русской «Илиады» и «Одиссеи» XX века, то ли какого-то древнего духовного видения или забытого, а потому не существующего (для нас!) предания и вещания, которыми были пронизаны идеальные и тревожные сны русской словесности — с древних времен.

Автор двух великих романов («Чевенгур», «Счастливая Москва»), девяти повестей, среди которых такие шедевры, как «Сокровенный человек», «Котлован», «Джан», сатирических рассказов («Усомнившийся Макар»), изумительных новелл о любви («Фро», «Река Потудань») и детях («Корова», «Июльская гроза»), автор четырех книг рассказов о войне, написанных на фронте, и двух книг сказок, драматург, работавший в жанре лирической комедии («Шарманка») и трагедии («14 Красных Избушек»), киносценарист, оригинальный литературный критик, создавший одну из странных и парадоксальных историй русской и западноевропейской литературы (книга статей «Размышления читателя») — это только вершины творчества Платонова. За ними могучий и свободный художественный дар, который невозможно было остановить ни цензурой, ни десятилетиями запретов.

Наследие Платонова — художественное, научно-техническое (профессиональный инженер-конструктор, мелиоратор-практик А. П. Платонов выдвигал свои программы «ремонта земли» и спасения урожая от недородов, получил в 20—40-е годы десятки патентов на изобретения), а также философское — одно из масштабных и уникальных в истории литературы советской эпохи: лишь малый процент его возвращен и совсем крохотный представлен в этой публикации. В основном ее составляют материалы раннего Платонова, самого описанного биографами воронежского периода писателя.

1920 год был звездным часом в жизни пролетарского писателя Платонова: стихи, статьи, рассказы, политические передовицы печатаются на страницах воронежской периодики, можно сказать, с листа. В стремительной истории создания Воронежской организации Всероссийского Союза пролетарских писателей Платонову принадлежало одно из первых мест.

Среди множества любопытных материалов есть еще одна не менее драгоценная запись: на машинописи докладной записки в адрес Всероссийского съезда пролетписателей, на которой первой стоит подпись Платонова, мы находим обратный адрес Воронежского отделения Союза пролетписателей, вписанный в машинопись рукой юной Маши Кашиной. Очевидно, это и была первая встреча с будущей невестой, женой и музой, «вечной Марией» писателя — ей он посвятит в 1927 году «Епифанские шлюзы», а еще все воронежские годы (да и всю жизнь) будет писать стихи, смешные и трогательные, немного ироничные, но чаще всего исполненные боли и любви жизни человеческого сердца...

Впереди — после ослепительного дебюта 1920 года — будут голод лета 1921 года, исключение в сентябре 1921 года из членов РКП(б), частичный отход

так удачно и ярко дебютировавшего писателя от «созерцательного дела — литературы», производственная работа в Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом, инженерно-мелиоративная и организаторско-хозяйственная деятельность. Он не уйдет от разработки идеологии пролетарской культуры, но в состав ее идей мощно и властно войдут жизнь, любовь и страдание. В 1921—1922 годы он предложит измерять всю культуру и литературное творчество одним — «равенством в страдании», поволжским голодом и смертью народа, а для себя изберет адекватный и неигровой псевдоним для выступлений в печати — Нищий\*. Написанная в эти же годы статья «Всероссийская колыхага», очевидно, не была пропущена на страницы родной воронежской печати, а причина этого кроется в фактуре радикально-консервативного взгляда Платонова на жизнь в искусстве не с позиций общегуманистического понимания свободы, но бегущего, обезумевшего от голода народа. В 1923 году та же печальная судьба постигнет знаменитую платоновскую феерию «Симфония сознания», где в качестве исходных и базовых для построения концепции новой пролетарской культуры были взяты идеи «Заката Европы» О. Шпенглера и русских философов, авторов книги 1922 года «Освальд Шпенглер и Закат Европы», к этому времени уже высланных за «литературное прикрытие белогвардейщины» (В. И. Ленин) из России.

Или другой, не менее яркий пример. 7 ноября 1922 года на страницах «Воронежской коммуну» Платонов публикует фантастическую пролетарскую утопию «Потомки солнца», и в этот же день в приходской книге Вознесенской кладбищенской церкви города Воронежа делается запись — о крещении «младенца Платона 7 ноября 1922 года (родился 25 сентября) в присутствии родителей: Андрея Платоновича Климентова-Платонова и Марии Александровны»...

Как истинный инженер — «в свободные выходные часы» (именно так определил в 1931 году Платонов время для творчества пролетарского писателя, просто обязанного, по его мнению, иметь первую профессию) — он разбирал собственные художественные опыты, проводя тотальную деконструкцию всего, что относилось к сфере «созерцательного дела — литературы», и бросал старые и новые эстетические результаты в стихию смеховую и ироническую. Он хорошо ведал, что есть творчество как создание «текста» и в эпоху «кризиса авторства» и тотальной псевдонимии, захватившей в 20-е годы не только представителей пролетарской культуры, но и массовую жизнь, создает серию искрометных пародий на темы «нового человека», «нового искусства» и «авторства» — можно сказать, что к «эпохам» торжества модернизма и постмодернизма в русской литературе 20-х и 90-х Платонов оставил точные (психологические и культурные) комментарии. Ему принадлежит афористически емкое определение формализма как «бюрократизма в литературе» (запись 1927 года на книге, подаренной В. Б. Шкловским). Не без иронии в анкете 1920 года сокровенный читатель Андрей Платонов, отвечая на вопрос — какие писатели оказали на вас влияние, напишет: «никакие», а с 1921 года «авторство» за многие свои «созерцательные дела» он будет отдавать «героям» собственных рассказов — инженеру Вогулову («Сатана мысли», 1921), Баклажанову — персонажу рассказов «Приключения Баклажанова» (1922) и «Потомки солнца» (1922) и даже бесфамильному Тютюню, поэтико-прозаическому творению самого Еллидифора Баклажанова, именем которого подписан рассказ «Тютень, Витютень и Протегален»...

Именно 1927 год, год всесоюзного дебюта Платонова, стал пиком его пародий на современную литературу и литературную жизнь Москвы — ни одна из них не была опубликована при жизни писателя: ни «Фабрика литературы», написанная тогда для «Октября» и впервые опубликованная на страницах журнала только в 1991 году, ни «Московское общество потребителей литературы (МОПЛ)». Несколько рукописных страниц последней — платоновская мини-энциклопедия литературной жизни 1927 года, своеобразные записи на полях привезенных из Тамбова рассказов 1926 года и повестей «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы», «Город Градов»\*\*. Все участники московского литературного процесса 1927 года, как и все ключевые «тексты» этого года и полемики вокруг них, представлены на стра-

\* Статьи, подписанные псевдонимом Нищий, а также стихотворение «Рассказ о Непачевке» обнаружены в воронежской периодике Е. Антоновой.

\*\* С декабря 1926-го по март 1927 г. Платонов в Тамбове возглавлял подотдел мелиорации.

ницах «МОПЛа»\* с хроникерской точностью: от названных А. Толстого, С. Клычкова, И. Бабеля, В. Маяковского до неупомянутых М. Зощенко, автора вышедшей в марте книги «О чем пел соловей. Сентиментальные повести», и Л. Леонова, роман которого «Вор» широко интерпретируется в эти месяцы, а особенно — концепция «живого человека» мастерового Пчхова. Последнему в апреле 1927 года Платонов возвращает его подлинную фамилию — Пухов и подлинный, христианский смысл: вместо «живого человека» появляется «Сокровенный человек» (повесть создается в апреле — мае 1927 года). И, конечно, массовые читатели — главные «герои» платоновской сатирической феерии — удивительно точно озвучивают широко обсуждаемые всей московской литературной элитой беды, которые этот читатель, чаще всего именующий себя пролетарским, преподнес в год десятилетия революции как идеологам партии, так и «новой литературе». Появление в платоновском МОПЛе Маяковского не только эмблематично, но и точно, ибо «есенинская» и читательская темы занимают колоссальное место в эстетической программе, изложенной Маяковским в статье «Как делать стихи» (1926), во многом посвященной Есенину. Именно в 1927 году самые разные журналы, подводя итоги десятилетия литературной борьбы, печатают крайне неутешительные для новой литературы материалы, свидетельствующие о колоссальной консервативности читательских вкусов «неискушенных читателей», упорно отдававших предпочтение «малосовременной литературе» — Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, Куприну... Платонов последователен в своем антилитературоцентризме и в пародийное поле МОПЛа опускает собственные произведения: от неопубликованного «Антисексуса», чьи страницы пронизаны диалогом с ЛЕФом, Маяковским и Шкловским, до повести «Сокровенный человек», главный герой которой Фома Пухов под фамилией Ухов представляет собою страниц еще не завершенной рукописи на вечере МОПЛа, а появившийся Воищев, прежде чем превратиться в знаменитого Воищева («Котлован»), еще проживет несколько жизней на страницах набросков и рассказов конца 20-х годов... Они до сих пор не опубликованы, но, конечно, войдут в подлинную историю текста великой и скорбной повести «Котлован».

«Литературные дискуссии растрavляют во мне раны иронии», — напишет Платонов в 1931 году, определив то место, которое литературные пародии занимали в его творчестве.

Основные тексты подготовлены к публикации по рукописным оригиналам архива Марии Андреевны Платоновой коллективом — группой Собрания сочинений А. П. Платонова, которая уже два года при поддержке фонда России (РГНФ) ведет работу в Институте мировой литературы РАН. В публикации представлена лишь часть новых материалов, которые войдут в 1-й и 2-й тома первого научного собрания сочинений А. П. Платонова в 12 томах. Надеемся, что к концу века, а может быть, даже юбилейного года — столетия А. П. Платонова включено ЮНЕСКО в календарь юбилейных дат 1999 года, — первые тома сможет прочитать не только искушенный, но и неискушенный читатель России.

Н. КОРНИЕНКО

### Всероссийский съезд пролетарских писателей Анкета\*\*

#### 1. Фамилия, имя, отчество

Платонов (Климентов) Андрей Платонович

#### 2. Возраст

21 год

#### 3. Национальность

великоросс

\* С декабрьского диспута 1926 г. «О Есенине и есенинщине» газеты и журналы переполнены сообщениями об участии писателей в совещаниях и диспутах, посвященных разоблачению хулиганства и есенинщины среди читателей и почитателей Есенина. 12 января 1927 г. «Правда» публикует «Злые заметки» Н. Бухарина, редакционной статьей «Читатель» в январском номере «Нового ЛЕФа» начинается полемика Маяковского с «попутническим» «Новым миром» и его редактором В. Полонским, 13 февраля и 5 марта в Комакадемии проходит диспут «Упадоочное настроение среди молодежи».

\*\* Из архива Всесоюзного общества пролетарских писателей «Кузница». — РГАЛИ, ф. 1638, оп. 1, ед. хр. 11, л. 2.

4. Где проживаете в настоящее время (точный адрес)  
Воронеж, Кольцовская, 2
5. Место рождения-приписки: губернии, уезда (подробно)  
Воронежской губернии и уезда
6. Кто были ваши родители, их происхождение и профессии  
отец — слесарь, мать — дочь ремесленника
7. Ваше семейное положение (подробно)  
холост, имею на содержании малолетних братьев и сестер
8. Ваша профессия раньше и теперь  
раньше рабочий без специальности, теперь электрик
9. Состоите ли в Красной Армии  
нет
10. В каком учреждении или предприятии работаете и какую должность занимаете  
учусь на электротехническом курсе и работаю в газетах
11. Ваше образование (подробно: школы, курсы, кружки и т. п.)  
низшая школа
12. Ваша партийность и с какого года в партии  
кандидат в РКП
13. Участвовали ли в революционном движении, где и когда  
нет
14. Подвергались ли репрессиям до Октябрьской Революции, если подвергались, то каким и когда  
нет
15. Когда начали заниматься литературной работой (в каком возрасте)  
с 12—14 лет
16. Какие препятствия мешали или мешают вашему литературному развитию  
низшее образование, неимение свободного времени
17. В каких местностях России и заграничьи вы бывали  
бывал в Донской области маленьким
18. В каких литературных кружках и студиях состояли и участвуете теперь  
в Воронежском Союзе Пролетарских Писателей
19. Участвуете ли в работе Пролеткульта, если да, то в чем выражается ваша работа  
—
20. Печатались ли, если да, то в каких изданиях и когда  
печатался в 1918—19—20 гг. в газетах «Воронежская Коммуна» и «Красная Деревня»
21. Имеются ли отдельные книжки ваших произведений, если да, то где и когда изданы  
нет
22. Какие писатели оказали на вас наибольшее влияние  
никакие
23. Каким литературным направлениям сочувствуете или принадлежите  
никаким, имею свое

&lt;1920&gt;

### Поэма мысли

На земле так тихо, что падают звезды. В своем сердце мы носим свою тоску и жажду невозможного. Сердце — это корень, из которого растет и растет человек, это обитель вечной надежды и влюбленности. Самое большое чудо — это то, что мы все еще живы, живы в холодной бездне, в черной пустынной яме, полной звезд и костров. В хаосе, где бьются планеты друг о друга, как барабаны, где взрываются солнца, где крутится вихрем пламенная пучина, мы еще веселее живем. Но все изменяется, все предается могучей работе. Вот мы сидим и думаем. Если бы вы были счастливы, вы не пришли бы сюда. Холодный пустынный ветер обнимает землю, и люди жмутся друг к другу; каждый шепчет другому про свое отчаяние и надежду, про свое сомнение, и другой слу-

шает его как мертвец. Каждый узнает в другом свое сердце, и он слушает и слушает.

Если мир такой, какой он есть, это хорошо. И мы живем и радуемся, потому что душа человека всегда жених, ищущий свою невесту. Наша жизнь — всегда влюбленность, высокий пламенный цвет, которому мало влаги во всей вселенной. Но есть тайная сокровенная мысль, есть в нас глубокий колодезь. Мы там видим, что и эта жизнь, этот мир мог бы быть иным — лучшим и чудесным, чем есть. Есть бесконечность путей, а мы идем только по одному. Другие пути лежат пустынными и просторными, на них никого нет. Мы же идем смеющейся любящей толпой по одной случайной дороге. А есть другие, прямые и дальние дороги. И мы могли бы идти по ним. Вселенная могла бы быть иной, и человек мог бы поворотить ее на лучшую дорогу. Но этого нет и, может, не будет. От такой мысли захлопывается сердце и замораживается жизнь. Все могло бы быть иным, лучшим и высшим, и никогда не будет.

Почему же не может спастись мир, то есть перейти на иную дорогу; почему он так волнуется, изменяется, но стоит на месте? Потому что не может прийти к нему спаситель и, когда приходит, если придет, не сможет жить в этом мире, чтобы спасти его.

Но хочет ли мир своего спасения? Может, ему ничего не нужно, кроме себя, и он доволен, доволен, как положенный в гроб.

Но смотрите. Мы люди, мы часть этого белого света, и как мы томимся. Всегда едим и снова хотим есть. Любим, забываем и опять влюбляемся своей огненной кровью. Растет и томится былинка, загорается и тухнет звезда, рождается, смеется и умирает человек. Но это все видимость, обманчивое облако жизни.

Но вот когда жизнь напрягается до небес, наполняется до краев, доходит до своего предела, тогда она не хочет себя. Вечером тишина смертельна. Песня девушки и странника невыразима, душа человека не терпит себя. Небо днем серое, но ночью оно светится как дно колодца — и нельзя на него смотреть.

Большая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь — это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясно-видящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего.

Мир не живет, а тлеет. В этом его преступление и неискупимый грех. Ибо жизнь не должна быть длиннее мига, чем дальше жизнь, тем она тяжелее. Сейчас вселенная стоит на прямой дороге в ад. В траве и человеке гуще и гуще стелется безумие. Множатся тайны, и уже не пробивает их таран мысли. От муки чище и прекрасней лицо вселенной, молчаливей тишина по вечерам, но не хватает в сердце любви для них.

Зачем вспыхнуло солнце; и горит, и горит. Оно должно бы стать синим от пламени и не пережить мига.

Вселенная — пламенное мгновение, прорвавшееся и перестроившее хаос. Но сила вселенной — тогда сила, когда она сосредоточена в одном ударе.

<1920>

### *Новогодняя фантазия*

#### *Жажда нищего*

(ВИДЕНИЯ ИСТОРИИ)

Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина, будто вся жизнь изумленно застыла сама перед собой.

Был тихий век познания и света сияющей науки.

Тысячелетние царства инстинкта, страсти, чувства миновали давно. Теперь

царствовал в мире самый юный царь — сознание, которое победило прошлое и пошло на завоевание грядущего.

Это был самый тихий век во вселенной: мысль ходила всюду неслышными волнами, она была первой силой, которая не гремела и не имела никакого вида.

Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура.

На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество.

Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа — он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной — на земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой.

Это была сила сознания, окончательно выкристаллизовавшаяся чистая жизнь. Почти чистая, почти совершенная была эта жизнь горящей точки сознания, но не до конца. Потому что в ней был я — Пережиток.

В век ясности и тишины вылетел я из смрадного тысячелетия царства судьбы и стихийности и остался тенью на сияющем лице сознания; на образе Большого Одного.

Я был Пережиток, последняя соринка на круглых, замкнутых кругах совершенства и мирового конца.

Сознание, Большой Один превозмогал последние сопротивления природы и был близок к своему покою.

Большой Один кончал работу всех — камня, воды, травы, червя, человека и свою.

На пути к покою у Большого Одного оставался один только я — это было страшно и прекрасно.

Я был Пережиток, древний темный зов назад, мечущаяся злая сила, а Он был Большой и был Сознанием — самим светом, самую истинной, ибо когда сознание близко к покою, значит оно обладает истиной.

Но почему я, темная, безымянная сила, скрюченный палец воюющей страсти, почему я еще цел и не уничтожен мыслью?

Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием.

Мне было страшно от тишины, я знал, что ничего не знаю и живу в том, кто знает все. И я кричал от ужаса каменным голосом, и по мне ходил какой-то забытый ветер, прохладный, как древнее утро в росе. Я мутил глубь сознания, но тот Большой, в котором я был, молчал и терпел. И мне становилось все страшнее и страшнее. Мне хотелось чего-то теплого, горячего и неизвестного, мне хотелось ощущения чего-нибудь родного, такого же, как я, который был бы не больше меня.

Мне хотелось грома, водопадов и жизни угрожаемой смертью, а тут была тишина и ясность, тишина и последняя упорная душа.

Я хотел гибели, скорой гибели, и еще больше хотел чего-нибудь темного и теплого, громкого и далекого. То, что было теперь, то было не больше того, что было при моей юности в древности.

И я начал погибать, потому что начал видеть дальние чудесные вещи, а разное шептанье и желанье теплоты во мне прекратилось.

Я увидел одно видение прошлого и стал другим от радости. Я увидел бой еще раннего слабого сознания с тайной. (Может, это мне показал Большой, в котором я был, — я не думал тогда о том. А я уже начал чуть думать! Стал плохим Пережитком.)

Еще были города, и в небе день и ночь из накаленных электромагнитных потоков горела звезда в память побед человечества над природой.

Моря были освещены до дна, и к центру земли ходили легкие машины с смеющимися детьми.

На северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира.

Маленькие девочки тоже носили имена Электрификации, Искры, Волны, Энергии, Динамомашин, Атмосферы, Тайны.

А мальчики назывались Болтами, Электронами, Цилиндрами, Шкивами, Разрядами, Амперами, Токами, Градусами, Микронами.

Тот век тоже был тихий: только что была кончена страшная борьба за одну истину и настал перерыв во вражде человечества и природы. Но перерыв был скучением сил для нового удара по Тайнам.

Ученый коллектив с инженером Электроном в центре работал по общественному заданию над увеличением нагрузки материи током через внедрение его с поверхности вглубь молекул.

Человечество давно (и тогда уже) перестало спать и было почти бессмертным: смерть стала редким случайным явлением, и ей удивлялись, а умерших немедленно воскрешали. Организм беспрестанно возобновлялся в потребностях и работал без перерывов. У людей разрослась голова, а все тело стало похоже на былиночку и отмирало по частям за ненадобностью. Вся жизнь переходила в голову. Чувства и страсти еле дрожали, зато цвела мысль.

Но ничто не уничтожалось у этих людей: только переходило в сознание, снизу вверх. Они понимали любовь, красоту, страсть, всякую старую силу, всякую темную душу, но не жили сами этим, а только сознавали это. Жили же они мыслью, познанием.

Их сознание было соединением всех пережитков, хранилищем явлений прошлого, памятью обо всем, вдохновленной волей к бесконечному.

Эти люди жили тем, что отрывали кусочки у природы и складывали их в себя, составляли память, а память — это сущность сознания. Потом этой же памятью о прошлом они воевали за будущее, употребляли его как орудие, беспрестанно усиливавшееся благодаря напряжению и борьбе.

Сознание — это деятельная память. Так я увидел в том веке.

Ученые с инженером Электроном работали сплошным временем. Сам Электрон был слеп и нем — только думал. От думы же он и стал уродом.

Иногда легкая бескрылая машина уносила его на высокую башню — Атмосферный напор 101, где Электрон работал тоже над какой-то новой конструкцией.

Я заметил, что эти люди не поднимали никогда головы и не смеялись. На земле не было ни лесов, ни травы и перестали кричать звери. Одни машины выли всегда, и блестели глаза электричества.

Женщин было меньше мужчин, и любви между полами почти не было. Женщины гибли и от ожидания гибели становились спокойными и тихими, как звезды. Бессмертие их не касалось. Мужчины-инженеры не говорили об этой новой правде женщинам. И они не спрашивали, а молчали и ходили белыми видениями в синих залах горящих городов. Были времена решительных ударов, и женщина казалась всем насмешкой.

Времена стихали, и вселенная работала в тишине. Инженеры были все, а инженеры только думали, и в думе была вся жизнь. Все науки уравнились и свелись к технике.

Гремели машины, а люди все больше молчали. Росла голова, мénéло тело, и прекраснее были женщины от близости смерти.

Мир перестал шевелиться, двигаться, давать чем-нибудь знать о себе: всякое усилие, всякое явление природы переходило в машины прежде своего проявления в действительности и там уже разряжалось, но не впустую, а производило работу. Реки не текли, ветры не дули, гроз и тепла давно не было — все умерло в машине и из машины приходило к людям в самой полезной, совершенной форме — пищей без остатков, кислородом, светом, теплом в количестве точной нормы.

Гром и движение вселенной прекратилось, но загремели машины за нее.

Раз инженер Электрон, когда был на башне Атмосферного напора 101, упал

на маленькую машину, у которой долго стоял, и раскинул свои тонкие, слабые ручки-веточки. Маленькая машина завертелась, загудела сильнее самых больших, потом докрасна, добела накалилась и сгорела. Электрон стоял и по слепоте не видел, но махал ручонками и качал с боку на бок головой, будто от изумления, как моя бабушка в двадцатом веке, когда еще дули ветры и лились дожди.

Потом инженер Электрон открыл рот и запел, поборов немоту. В этой странной, забытой песне был гром артиллерии и свет надежды, как в песнях моего далекого мученического века. Это в нем пел его Пережиток.

Электрон полетел на бескрылой машине в ученый коллектив. На дороге ему встречались женщины и глядели долго вслед: они редко видели мужчин, и от этого у них загоралось старое семя любви.

Электрон дал миру сообщение волнами нервной энергии, вызывающей трепет сознания у всех людей:

«При нагрузке молекул материи однозначными электронами сверх предела, когда объем электронов становится больше объема молекулы, у нас завращался двигатель на Напоре 101. Двигатель от большого количества получаемой энергии сгорел при работе. Конструкцию его помним. Никаких электромагнитных потоков между исследуемой материей и двигателем не было. Есть новая по этому форма энергии, неизвестная нам. Надо начать наступление на эту тайну».

Мир вздрогнул, как от удара по ране, от этого сообщения. Еще тише стали люди от дум, и машины заревели от великой работы.

Обнажился враг — Тайна.

И началось наступление. Между источником силы и приемником нет никакого влияния, а передача совершается. Какая же это сила?

Сознание не терпит неизвестности, оно открывает борьбу за сохранение истины.

Для успешности борьбы были уничтожены пережитки — женщины. (Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством.)

Инженер Электрон стал впереди наступления. Тайна тяготила людей, как голод, и от нее можно потерять бессмертие и силу науки.

Электрон дал приказание по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания: «Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы».

Мир задумался. И тишина была страшнее боя, а рев машин, как древний водопад.

Скоро Электрон затрепетал опять ручонками-веточками и дал сообщение:

«Кончено. Материя стремится к уравниванию разнородности своего химического состава, к общему виду, единому веществу — к созданию материи одного простого химического знака. Уравнивающие силы пронизывают пространства от вещества большей химической напряженности к меньшей. Это было скрыто. При перегрузке молекул током создаются особо выгодные условия для такой взаимной уравнивающей передачи сил: их течет тогда особенно много. И заработавшая машина на Напоре 101 превратила эти химические силы в движение, чтобы освободиться от их избытка».

И опять мир стал искать тайн, а до времени успокоился. Из северного полюса бил белый столб пламени, и на небе горела электромагнитная звезда в знак всех побед.

Искусством в те века была логика полной чистой мысли, а наукой — это же самое, а жизнью — наука.

Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу оттого, что были раньше люди, которые объявили весь мир врагом человечества и предсказали ему смерть от человека. И оттого, что сознание стало душой человека.



Или мир, или человечество. Такая была задача — и человечество решило кончить мир, чтобы начать себя от его конца, когда он останется одно, само с собой. Теперь это было близко — природы оставалось немного: несколько черных точек, остальное было человечество — сознание.

Мир можно полюбить, когда он станет человечеством, истиной, а вне нас — он худший враг, слепой несвязанный зверь. И ему был сказан конец.

Я снова очнулся Пережитком в глубокой, сияющей точке совершенного сознания, Большого Одного; перестал видеть, и во мне зашептали хрипучие голоса страсти, и родилось желание сладкой теплоты и пота. Моя сущность во мне выла и просила невозможного, и я дрожал от страха и истомы в изумрудной точке сознания, в глубине разрушенной вселенной. Теперь ничего нет: Большой Один да я. Моя погибель близка, и тогда сознание успокоится и станет так, как будто его нет, один пустой колодезь в бездну.

И я поднялся, и везде все засветилось, потому что я увидел, как кругом было хорошо и тихо, как в идущие века.

Я понял, что я больше Большого Одного; он уже все узнал, дошел до конца, до покоя, он полон, а я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой.

Я настолько ничтожен и пуст, что мне мало вселенной и даже полного сознания всей истины, чтобы наполниться до краев и окончиться. Нет ничего такого большого, чтобы уменьшило мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная с своими тайнами, с Большим Одним.

И все это капля для моей жажды.

*Нищий*  
<1921>

### **<Чтобы стать гением будущего...>**

Чтобы стать гением будущего, надо быть академиком прошлого.

Чтобы чутя бурю, надо иметь в себе знание тишины.

Задача ученика — постичь учителя и вырасти выше его на одну голову.

Учитель — орудие ученика. Буржуазия — орудие обучения пролетариата.

Учитель всех — прошлое.

Прошлое — фундамент будущего. Отрицание его — дурость и мелководие.

Искусство — познание чувствами, оно есть логика чистого, абсолютного чувства.

Кто ничего не знает и не умеет думать, тот великий художник. А тот, кто ненавидит искусство, выше художника.

Прошлое — потенциальное будущее, как в минуте — все времена. Секунда — причина вечности.

В мире столько вещей, сколько концов в бесконечности, и каждая вещь ищет нашего познания.

Мы довольные, потому что можем делать, что захотим.

Кто придет раньше, кто придет позже, но все встретятся.

От родившегося ничего не требуется, кроме радости. Вселенная тянется к нам, а мы ее оттолкнем.

Все вещи смеются.

Душа мира — удивление.

Товарищ, нам пора перестать говорить: мы все понимаем.

Слово — знак бессилия, как и действие. Наша судьба — безмолвное знание. Но и через знание мы должны преступить.

Лучше всего быть ничем, тогда через тебя может протекать все. Пустота не имеет сопротивления, и вся вселенная — в пустоте.

Мы ищем возлюбленную — последнюю истину. Ее не надо ни искать, ни желать, тогда она придет сама.

Вечное отречение, быть нищим у нищих — это мы.

Если вселенная — невеста, поющая звезда, то мы выше ее — она вся в нас, и у нас еще осталось много места.

*Нищий*  
<1921>

### *Всероссийская колымага*

У Советской России три врага — буржуазия, природа и сама она, Россия. Это обыкновенная истина. Ее надо понять теперь всем, но ее до сих пор поняли не все, далеко не все.

То, что буржуазия нам враг, — известно много лет. Но что она враг страшнейший, могущественнейший, обладающий безумным упорством в сопротивлении, что она действительный властелин социальной вселенной, а пролетариат только возможный властелин, что она закована в броню глубоких предрассудков, ставших истинами для масс, и в золото неисчислимой собственности — это лучшее орудие социальной борьбы и победы, — это нам стало известно из собственного опыта. Может быть, мы немножко это знали и раньше, даже до революции, но вполне и много мы узнали это только теперь.

Мы узнали недавно, как трудно волочить по историческому бездорожью всероссийскую колымагу партийно-советским мотором.

А наше историческое бездорожье почти непроходимо: идем-идем — все нет и нет конца. Европейская коммунистическая революция, эта историческая прямая, мощная дорога, еще не поддается продвижению; а значит, она не так близка, если видеть ее нельзя.

А чем дальше мировая (или хотя <бы> европейская, это почти одно и то же) революция, тем ниже качество русской революции. И каждый день отсрочки пролетарского восстания есть понижение на градус революционной температуры русского пролетариата. Каждый прожитый нами в одиночку день равносителен нашему поражению и все большему оживанию трупа буржуазии.

Чем короче социальная классовая революция, тем она победоноснее. Растянутая на необозримо долгий срок — она может свестись к нулю, то есть революция может стать силой, которая якобы по объективным условиям, а на самом деле по собственному бессилию\* возрождает капитализм в еще более нестерпимых, безумных формах, чем он был до революции.

Чтобы победить буржуазию окончательно, чтобы и говорить было больше не о чем, надо ее уничтожить, выбить из действительности, умертвить всех ее представителей.

В наше время, время ломаного противокапиталистического фронта, а не фронта прямого удара, — это звучит немного дико, а много — глупо. Сознаюсь и разъясняю.

Оправдание всем нашим сложнейшим действиям одно: объективные условия, играющие не в нашу руку. Но что такое эти знаменитые «объективные условия»?

Это атмосфера действительности, созданная господством капиталистических шаек. Она прямопропорциональна мощи капитала и обратнопропорцио-

---

\* Бессилие революции, когда она уже начата и длится, бессилие, как признанный факт, есть ошибка самой революции в учете объективных условий перед своим выступлением. Нашей революцией эта ошибка не совершена, как и вообще никакой революции — см. дальше.

нальна революции всегда. Значит, объективные условия всегда нам враждебны, так как они есть субъективное выражение буржуазии (для нашего момента).

Чтобы изменить действительность, взять управление ею в свои руки — надо уничтожить эти «объективные условия» через уничтожение создающей их буржуазии. Тогда «объективные исторические условия» пересоздадутся сами собой и будут пролетарской атмосферой.

Мы размахнулись, ударили, а убить — побоялись «объективных условий». А надо убить, чтобы победить.

Объективные условия есть результат, есть выражение борющихся классовых субъективных сил; и поэтому они субъективны, а совсем не объективны; они выражают волю господствующего субъекта; чтобы их изменить, надо уничтожить этот господствующий классовый субъект — буржуазию.

При боязни, при «учете» этих окаянных «объективных данных» победа революции невозможна.

Все мы в этом отношении были до сих пор глупее буржуазии. Мы думаем, что революции надо считаться с действительностью, иначе она не победит, а забываяем, что эта действительность буржуазна, враждебна нам. Считаюсь с действительностью, мы не уничтожаем ее (в чем первая задача революции), а приспособляемся к ней.

Смысл революции — как раз в изменении действительности через взрыв ее и пересоздание; революция не должна считаться с действительностью, ни смотреть на нее. Революция должна только себя признать за настоящую действительность, все остальное — за чепуху, достойную пинка.

Революция — сила обратная действительности, противоположна ей; она есть новая, более реальная действительность, уничтожающая старую действительность, ставшую недействительной с рождением революции.

Быть революционером и считаться с теперешней действительностью — преступление и дурачество, контрреволюция. Революция должна помнить только себя и свои задачи, а не глядеть в беззубый рот враждебнейшей действительности.

Революция и настоящее — несовместимые вещи. Совмещение их есть смерть революции. Победа революции в ее смелости и «безумии» (для «разума» действительности революция всегда безумна).

Все это очень скучно говорить. Не революционер, а только круглый дурак, «садовая голова», считается с действительностью. Это все равно что бить и ощущать боль от своих ударов. Такой боец недолго продержится, он упадет от воображаемой боли своих же ударов.

Революция — это то, что не может не быть, что хочет и что будет новой действительностью вразрез действительности теперешней.

Теперь дальше. Действительность такова: 25 миллионов народа поволжских губерний голодают, обречены на смерть. Солнце выжгло поля. Люди бегут в Сибирь, к нам, на юг, во все концы. Это мы узнали летом этого года. Но это мы предвидели. С этой «действительностью» один разговор: уничтожение ее. В будущие годы побежит почти вся Россия. Дождя выпадать не будет. Сеять хлеб станет ненужной работой: засуха в сухую пыль превратит труды крестьян.

Борьба с голодом, борьба за жизнь революции сводится к борьбе с засухой. Средство победить ее есть. И это средство единственно: гидрофикация, то есть сооружение систем искусственного орошения полей с культурными растениями.

Революция превращается в борьбу с природой.

Я из опыта знаю, что прежде чем нормировать урожай своими руками, гидрофикацией, прежде чем победить тот элемент природы, который управляет засухой, — надо победить косность людей, от которых зависит практическое осуществление гидрофикации.

Все кричат, воют подголосками: хлеба! А когда им хочешь указать путь к

этому хлебу, то оказывается, что это скучно. И пусть 25 миллионов людей день и ночь бегут выжженными полями бог весть куда, пусть! У нас пока есть немного хлеба, есть любовь, есть музыка, стихи, есть в нашем покое и благополучном равнодушии своя красота. А то не наше дело, то дело центра или еще кого-нибудь.

Как у нас мало сознательности, в смысле чувства! Как велик у нас живот и губы!

Но не для этих чертюков мы живем и боремся. Гидрофикация им не нужна, им нужна «имагофикация», им нужен «здоровый смех», радость на трупах.

Хорошо же, мы натравим на них 25 голодных миллионов. Пусть голодные им совершат «революцию в искусстве», пусть докажут, что красота есть только функция сытости. Голодный, безобразный ребенок дороже армии сытых и прекрасных. Он и прекрасней их.

В нас нет счастья, в нас есть мысль.

Искусство — это путь от страдания к освобождению и радости. И никто не понял, что, чтобы освободиться от страданий голода и смерти, для этого надо создать поэму о гидрофикации. Гидрофикация вызвана нестерпимой мукой миллионов, она есть их надежда и спасение, их единственная решающая красота.

А прыщи на теле масс, вроде «советской интеллигенции», не хотят гидрофикации, они не верят (не доверяют, по крайней мере) науке и ее предвидениям. Ладно: они богу молятся, у них есть надежда, у нас ее нет, у нас есть руки и много хороших голов.

Писание статей есть буржуазная выдумка. Поэтому я кончаю.

Всероссийская колымага не едет потому, что она колымага, хоть и стоит на ней прекрасный двигатель новейшей конструкции в виде РКП. Надо переделать колымагу в автомобиль.

Надо разрушить действительность и создать то, чего нет. Надо больше ненавидеть, чтобы дойти до любви.

Эти бегущие 25 миллионов не считаются с действительностью, а ненавидят ее. Они настоящие революционеры: они первые поняли, что такое гидрофикация, что такое машина и что такое вселенная.

Будущая голодная Россия, когда ее душа будет перегорать от засухи, одним ударом, одним ничтожным напряжением коллективного сознания уничтожит враждебные силы природы, а с буржуазии-то голова слетит в первую голову, и никто этого не заметит. Это тогда будет не важно.

Россия будет гидрофицирована желанием голодных масс, их волей и их мыслью, наперекор общественному равнодушию.

Пусть мы не ученые, но мы погибаем. Науку мы постигнем в два счета, потому что мы — масса и потому что наука перед жизнью только маленькие пустяки.

Смерть — личности, жизнь и свобода — организованным массам. Масса делается личностью. Вот что пусть знают все в Советской России.

Рабочая масса, организованная совместным машинным трудом, представляет из себя, выражаясь старым языком, высший тип личности. Но, конечно, масса не личность, а что-то больше ее, что-то другое, что знает сама масса и ее члены, но чему не подыскано еще имени, для чего нету слова во всем интернационале языков.

На пути к коммунизму Советская власть только этап. Скоро власть перейдет непосредственно к самим массам, минуя представителей. Представителей, членов массы, не может быть — тогда масса не целое, не организм, тогда она не масса. Это надо понять, как самого себя понимаешь, это надо ощутить.

Раз масса вымирает от голода, а рабочие дрожат и падают у станков, потому что от слабости и истощения идет кровь из носа, значит, революция только начинается.

Мы накануне наступления масс, **самых масс**, без представителей, без партий, без лозунгов.

Рабочие массы скоро возьмут власть в свои руки без представителей, без учреждений, без исполнительных органов. Масса бесчленна.

Об этом подробно напишу, если советская печать и власть увидит в этом выступлении непосредственно самих масс путь к коммунизму и высшую, следующую форму рабочей диктатуры и не испугается этого мощного взрыва красной энергии.

Да здравствует Общее Собрание — власть рабочих!

Через Советы — к Общим Собраниям.

Вся власть рабочим массам — без представителей, без органов и учреждений.

Долой выборность, дух учредилки, власть должна быть самоорганизацией, масса нераздельна. Властвует масса тогда, когда она вместе, когда она не имеет представителей, когда она представляет себя сама и не доверяет никому, даже первому из лучших.

Смерть личности, жизнь массе.

Да здравствует Союз Рабочих Производящих Масс — Великий Интернационал, IV Интернационал!

<1921>

## СТИХОТВОРЕНИЯ, 1922—1926 гг.

### *Иван да Марья*

1

Странны дни в долине ровной,  
Светел дух осенний на земле.  
Поле пусто. Сердце грустью полно.  
Скучно жить в своем родном селе...

Осенью душевное сомненье  
Стелется, как деревенский дым.  
Умолкает полевое пенье,  
Но я полоң им одним.

Много в жизни сумрачной тревоги,  
Много бед несут с собою дни.  
Под дождем осенние дороги,  
Тяжело ходить по ним.

Надобно себя томить сухой работой,  
Чтобы жизнь была в тугом русле.  
Надо медом наливать пустые соты,  
Жизнь держать не ниткой, а в узле.

Пусть роятся в голове заботы —  
Будет дело молодым рукам,  
Надо мир промаслить нашим потом,  
Скорость дать его маховикам.

Человек от старости седеет,  
Осень сыплет волос золотой.  
Так природа в августе вдовует,  
Умирает молодой.

Но в глухую гибнущую осень  
Скорбно и навеки можно полюбить:  
Зеленеют ведь зимою сосны —  
Круглый год необходимо жить.

## 2

Третий год я был комсомолистом,  
В сентябре мне стало двадцать лет.  
Ни оратором, ни красным гармонистом  
Я не значился —  
Имел пустой билет.

— Что же, Ваня, ты бы хоть влюбился  
Или станцию построил на ручье,  
Видишь — комсомол зашился,  
А ты бродишь как ничей!

И случилось  
(Погадал мне парень) —  
Стало быть, в соку моя душа,  
Не присушкой же я был отравлен —  
Я заметил:  
Очень Маша хороша.  
И действительно,  
Мила мне Маша.  
Только я вот не душист,  
Красотой не разукрашен,  
Но зато — комсомолист!

Вот однажды подошел я к Маше  
Шагом твердым, как партийный человек:  
— Правда, клуб прилично наш украшен,  
Чувствуете вы индустриальный век?

Мне сказала Маша кротко:  
— Краснота!.. и скучно без цветов!  
Я ей вежливо, но четко:  
— Здесь в грядущее постройка  
Металлических мостов!

— Где же мост? —  
Спросила Маша.  
Тут я лозунг указал.  
— То висит матерья ваша:  
Мост чугунный где, вокзал!

Беспартийщина в натуре,  
Но на то ведь мы вожди:  
Парня, девку, дурня, дуру  
С коммунизмом увяжи!

3

Босиком по мокрым листьям  
Полудуркой осень шла.  
В поле позднем,  
В поле чистом  
Ветер за руку вела.

По родным немym дорогам  
Я невесело хожу:  
Кроме Маши  
Симпатичных много,  
Только ими я не дорожу.

Тихий сон питает тело силой,  
Эти силы мучают меня:  
В первый раз душа моя любила,  
Даже мать мне стала не родня...

Что же, Маша, долго медлишь?  
Ведь нечаянно тебя люблю.  
Если чувством мне ответишь,  
Душу я твою не оскорблю...

Не мудра по книге Маша,  
Не держала писчего пера —  
Человек не этим важен,  
Если он роднее, чем сестра.

Есть такие люди в мире —  
Ошибаются вести по пальцам счет.  
Но зато — в них сложенные крылья,  
Разум их нечаянно течет.

4

— Слушай, Ваня,  
Ты такой хороший  
И не думай плохо про меня!  
Ты пойми слова мои как можешь:  
И любовь и правда ведь одна.

Эта осень, милый, на исходе,  
Будет скоро зимняя пора.  
Ты не станешь по своей охоте  
Вековать с девицей вечера.

Я не очень личностью пригожа  
(Ты напрасно это говоришь),  
Не лицо — другое мне дороже,  
Что без слова ты в себе хранишь.

Я люблю не прелесть человека,  
А его сердечное добро:  
Полуюлю и горбуна-калеку —  
Жить ведь с мужем, не с горбом.

Я не очень умная, Ванюша,  
Место мысли сердцем занято,  
Я конечно жизнь отдам за мужа  
Человек я верный и простой...

Но в любви я буду лютый ветер,  
Ревностью замучаю лихой —  
Не умею скучно жить на свете,  
Кровь во мне, а не песок сухой.

Но мы рано молодости влагу  
Друг у друга пьем из уст,  
Оттого сердечною отвагой  
Человек так рано пуст...

Не люби меня напрасно, Ваня,  
Ты потерян будешь для людей,  
Уж тебя работа не потянет —  
Трудно, Ваня, бабою владеть.

Я люблю сама тебя нечаяно  
И любви в себе не поборю,  
Но со мной душа твоя устанет —  
Я вперед про это говорю.

Ну, пускай с тобою мы поладим! —  
Загрызут нас люди и нужда.  
Нам с тобою и немного надо,  
Но и это не дается никогда.

Знаешь, Ваня, бабы с мужиками  
Как живут до гробовой доски?  
Начали любовью — бьются кулаками:  
Не минует баба мужниной руки.

Может быть, наверно очень скоро,  
Ласковее люди будут на земле —  
Вот тогда навеки и без спора  
Мужиком и бабой станем на селе.

\* \* \*

Мы на канатах прем локомотив  
К платформам красным станции.  
Цилиндры в триста лошадиных сил  
Заржавели на скрепах с фланцами.  
Давно не крутит оси кривошип  
И замер, разбежавшись, маховик.  
Трубы макушка — проволочный гриб —  
Прогнил от дыма, вбок поник.

Волочим сажень-две, минуту отдыхаем  
И снова ухаем, ногами чешем землю,  
Плечью брат к брату ближе примыкаем.  
В поту и хрипе узкою пролазим щелью.



Канат рассекся от усилий дружных  
И хлобыстнул по роже чьей-то тощей —  
Метнулась врозь стая ребят досужных  
.....

Оправились и потащили с песней,  
Мамаше подарив матюк.  
Последний шаг — и силе стало тесно,  
Скрипит, шатается на оси крюк...

Шабаш — доставили!  
Двугривенный и сотка,  
Да огурец, в горшке разбрюхий от рассола...  
Кормись, дыши, промачивайся, глотка,  
И хлебец жуй муки вкуснейшего размола.

*Иоганн Пунков*

### *Рассказ о Непачевке\**

Вот она — родная Непачевка,  
Лупит вшей на улице Игнат:  
Не селение разумное, а так — одна мурцовка,  
Каждый тебе враг и в то же время сват.  
Вон ползет мощой Драбан Иваныч,  
Тощ (как будто он опоросился),  
Враг законной пролетарской рвани,  
Подошел ко храму, спрохвала перекрестился.  
Вон грядет неспешно, неподвижно  
Тварь сухая, как тарань, диакон,  
Ставит в супесок стопы крестовоздвижно,  
Движет туго телесами с гаком.  
Вышла за калитку Пелагей Иванна  
(Сзади поглядеть: кошолка с окамелком),  
Позевала (господи, помилуй окаянную!),  
Пасть сомкнула, поглядела в улицу  
Пристально и с толком.  
Велика, Россия, ты, сурьезна!  
Где твоя змеєю свернутая суть?  
Жрать в тебе и множиться невозбранно можно,  
И везде есте егда сосцы твои сосуть.

*Крестьянин Баклажанников*

\* \* \*

Без сна, без забвенья шуршат в тесноте  
Горячие руки в упорном труде —  
В высокой и нежной и верной мечте,  
В вое, во сне и в своей чистоте.

Пашите века и прудите потопы,  
Чтоб кровь закипала и мозг скрежетал,  
Чтоб дали, чтоб травы были растоптаны,—  
Иди против ветра, чтоб ветер устал!

\* Сельцо б. Землянского уезда, Жлобовской волости.

Так ветхие звезды, так реки и камень  
 Можно затмить, повернуть и зажечь —  
 Мы землю нагрели живыми руками,  
 Мы поднятый, брошенный, мчащийся меч!

Сопротивленье есть поле победы,  
 Ты накален своей страстной тоской —  
 Пусть лягут на землю прочные меты,  
 Пусть посох пропахнет потной рукой!

\* \* \*

Растет мое сердце во сне  
 И около смерти полюбит.  
 Ветер на тонкой певучей сосне  
 Голос свой песнею губит.

Нарочно и я на свете живу  
 И сердце порочу стихами;  
 Я думал, что с неба звезды сорву,  
 А сам только плакал ночами.

Я думал, что мудрости в мире  
 Нельзя ни найти и ни сделать,  
 Но, выросши больше и глянув пошире,  
 Открыл я всемирную смелость.

Не жалость, не нежная влага  
 На молчаливых устах,  
 Скорбная скрыта отвага  
 В простых человеческих глазах.

Никем никогда не воспета  
 Тревожная жизнь в человеке:  
 Так утром на громком рассвете  
 Сиянье стучится в зажатые веки.

### *О голом и живом*

Мы на ветру живем  
 С незащищенным сердцем,  
 В пучине мира мы — нечаянный огонь:  
 И либо мы весь мир ослепим,  
 Иль либо нас потушит он.  
 И весело на свете быть голым и живым —  
 Таким вот, от которых и горе устает,  
 Не мудрым, не прекрасным,  
 А — сильным и простым,  
 Не богомольцем правды, а мастером ее...  
 Я знаю —  
 И в живом созреет тихо смерть,  
 Но тишины не станет на земле:  
 Не будет солнце зря гореть —  
 И жизнь сумеет крикнуть веселей...  
 И вот смотри —  
 Без смысла и на льду,

Своей кончины каждый накануне,  
Живой глядит на пышную звезду —  
Бессмертен он или безумен?  
Он мудрость всю отдаст за теплоту  
Живого тела своей милой.  
Он завоюет голубую высоту,  
Чтоб доказать любимой свою силу...  
Настанет час —  
Из мировой пучины  
Он образует милое лицо,  
Чтобы была невеста сыну,  
Как мать его, любимая отцом.

\* \* \*

Жить ласково здесь невозможно,  
Нет лучше поэтому слова «прости».  
Годы прошедшие прожиты ложно,  
Грядущие годы собьются с пути.

Первой любимой последнее слово —  
Горе когда мне в себе не снести,  
Прощальное слово матери мертвой,  
Чтоб сердце не мучить, мы скажем «прости»!

Где верные души, где вечная память  
О сыне, о милой подруге-жене?  
Каждый любимую может оставить,  
От взгляда другой побледнев.

Смерти напротив, навстречу стихиям  
Тонкая дышит и бьется душа,  
С верностью голубя, с мудростью змия,  
Силу чудесную крепко зажав.

Где же ты скрыта, страна голубая,  
Где ветер устанет и смолкнет река?  
На свете такие страны бывают:  
В поле я видел — земля велика.

\* \* \*

Ночь на дворе стоит сиротой —  
Спит человек в печной теплоте.  
Под ледяною пустой высотой  
Сердце без сна,  
Сердце горит в своей тесноте.

Обыкновенные люди живут,  
Звездные реки текут в тишине.  
Ветер тоскует — горы ревут,  
Травы бормочут в своем мировом,  
Невозвратимом и тайном сне.

Немы уста твои, сердце ночное,  
Невыразима невеста — звезда,  
Скорбью томятся люди одною:

В сердце вместиться должна  
Земная вся теплота  
И звездная вся высота.

Тихи шаги мои в поле любимом,  
Душа налилася тугою и нежною силой,  
Запечатлею я мир — и пройду его мимо,  
Сам я не свой — и каждый мне милый.

### *Бегство*

Прощай, сиротство, нищие поля  
И ты в гробу, любимая сестра!  
Передо мною — круглая земля,  
Над головой — чудесная пора!

Прощай, село, отца родимый двор,  
Влекущий гул заброшенных дорог!  
Мне так легко, как будто с гор  
Бегу на паре сильных ног.

Стоит земля, а я по ней спешу.  
Я вижу — ветер треплет рожь,  
Ища в ее волосьях вошь, —  
И глаз с природы не свожу.

Но вот уж холодно и — вечер.  
Вон трубы, город и сияющий огонь.  
Отстал уставший спутник-ветер,  
В моем цветущем сердце сон.

Я спал в саду, как безработный,  
И надо мной плыла толпа.  
Я слышал жалобы и трудные заботы,  
И сон ко мне страшнее прилипал.

Я встал с зарей — мне стало любопытно,  
Я знал давно, что велика земля,  
Но от меня была вся прелесть скрыта —  
Я видел лишь безлюдные поля.

Я был бродягой, пахарем, солдатом,  
Искал все годы праведной земли.  
То с диким горем, то с отрадой  
Шел по путям, куда они вели.

Но жизнь для нас хорошая подруга,  
И первый друг — соковище мое.  
Большая нам оказана услуга —  
Дана нам жизнь — и мы ее возьмем!

\* \* \*

Томится сила недр земного шара,  
И злобный зной в душе от тесноты домов.  
Ждет мир последнего, смертельного удара  
И взрыва недр — без вскрика и без слов.

Пусть ливень разорвет кору и крышу над постелью  
И водопады ночью песни запоют,  
Пусть корабли людей подымутся над мелью  
И в темный вечер в океаны уплывут.

Любовью, ужасом и жалостью к потомку  
Прикован к дому и к работе человек.  
О, тленье тел, пищеварение негромкое,  
Быстрее тебя машинный перегретый бег.

Среди обыкновенных дней трава расти устанет,  
Все познано, едою зубы стерты,  
И сердце жизнь вконец отбарабанит,  
И звезды недостигнутые — мертвы.

Греми, тоска! Из камня сделаны дома!  
Еще сладка еда и горячо дыхание жены.  
Над крышами до звезд стоит пустая тьма,  
И каждой ночью снятся беспамятные сны.

Я тело износил на горестных дорогах.  
Нет мудрости свирепой и друга с парой рук,  
Мозгов мужских и женщин полновесных много:  
Дороже всех материков —  
Дверь тихо отворивший друг!

\* \* \*

Наверно, молодость придется истомить  
Зажатой в гайку тесного труда.  
Нам не дано Америки открыть,  
И миновала нас счастливая звезда.  
Прошли зеленые веселые века,  
И зрелый день стоит над головой.  
Нашла русло октябрьская река,  
Ее долина поросла травой.

И траву надо днем косить,  
Чтоб можно было вечерами петь:  
Нельзя лбом стену прошибить,  
Зато возможно пальцем протереть.

Земле не очень надобен поэт:  
Как ни смеется он, а все равно заплачет.  
Хоть и поет он, песня его спета —  
И в жизни умной ничего не значит.

Но, друг!  
Ведь жизнь — хорошая подруга.  
А ты — сердечное сокровище мое!  
Большая нам оказана услуга —  
Дано нам жить, а мы — поем!

Ты погляди! Нечаянно и звонко  
Растет трава, и звезды шелестят,  
Упрямо в сердце бьется перепонка —  
Целуй же жизнь в порочные уста!

\* \* \*

Древний мир, воспетый птицами,  
Населенный ветром и водой,  
Озаренный теплыми зарницами,  
Ты живешь во мне — как край родной.

Горный крик гремел навстречу утру,  
И поток подножье мира мыл.  
Не было равнины — яростно и круто  
Обнажались лица материнских сил.

Помню я, в тоске воспоминанья,  
Свежесть влажной девственной земли  
И небес дремучее молчание,  
И всю прелесть милую вдали.

Но чем жизнь страстней благоухала,  
Чем нежней на свете красота,  
Тем жаднее смерть ее искала  
И смыкала певшие уста.

### *Счастливое время*

Мы жизнь поставили ребром —  
Катися счастья колесо,  
Катись не яблочком, ежом —  
Закрой штыком  
Счастливое лицо.

Оставь на время книгу и жену —  
Скупы века на счастье и покой.  
Нам задано судьбу  
Вкрутую повернуть  
Простою человеческой рукой.

Но наши руки просят не войны,  
А книгу, микроскоп, мотор.  
И легче нам завоевание луны,  
Чем дикий человеческий спор.

Но знаем мы:  
Не будет микроскоп  
Светить природою нагой,  
Не ляжет в поле полный сноп,  
Пока мы прочною ногой —

И не одной, а парой ног —  
Мир не займем на шесть шестых.  
Но сами мы не тронем крох  
С дней мира, кратких и простых.

И странно в наше время жить —  
Уметь мгновеньем дорожить,  
Уметь винтовкой книгу заложить,  
Чтоб встать, пойти  
И — просто умереть.

И жизнь несказанно вкусна  
С такою солью смерти.  
И страстью и душой она напоена —  
И в сердце чувства не измерить!

Но влагой станет кипяток,  
Прозрачным воздухом остынет буря.  
Пока же бури не окончен срок,  
Греми красноармейский котелок:  
Сорвет война любой листок  
Календаря и им закурит.

И вот —  
Через винтовку, газ и самолет  
Вернемся мы домой,  
К тому, что нас влекло:  
Где пахота, машины, мысли полный ход —  
Труда и знанья чистое стекло.

*Андрей Возулов*

### ***Северный отдых***

Чудесны дни простого созерцанья  
И теплых трав просторная среда,  
Пустынной ровности убогое молчанье  
И облачных небес свинцовая руда.  
Все хорошо — тепло сердцебиенья,  
Незвонкий голос, серое лицо.  
Мне незнакомо стало птицы пенье  
И странен мир — веселый и босой.

Вот развернулись эти дни простые.  
Невнятный ветер в шаг идет со мной,  
Как родственник, и говорит слова густые,  
Стихами их не скажешь все равно.

Кто знал сердечную, поспешную беседу  
С травой, с пространством голубым,  
Тот не чужим, родимым шел по свету  
И сам был этой скудостью любим.

Легка так жизнь. Блестит ее дорога.  
В дали, а не в тумане ее цель.  
Она лишь кажется такой убогой —  
Чем меньше на горбу, ногам тем веселей.

Какая ж это сумрачная сила  
Таким нагим пустила меня в путь?

Наверно, та, что и долины рыла,  
Что звездам не дает и ночью отдохнуть.

Нам грустно, что не можем рассказать  
Другому глубины неслышного дыханья,  
Чтоб сердце друга прочно взять  
И мир схватить, как дар завоеванья.

### *Вождю оппозиции*

Ты в лучших чувствах оскорблен:  
Тебе одну шестую дали (считая тундры и пески),  
Одну шестую мира пространства и тоски,  
Где только рожь да лен!..  
А где ж металл и механизмы,  
Где прочность революции — бетон?  
Какие тут в траве социализмы?!  
По зипуну не скроишь мировой фасон!..  
Ты удручен — и речью пышной  
Исходит сердце страстное твое...  
Не надобно кричать — и так все слышно,  
Тебя любили мы,  
Теперь — огнем единства бьем!..  
Стерпи, товарищ, не горюй!  
Ведь и другое у тебя бывало:  
Ты помнишь сказку про березку и кору  
И про козу про злую капитала?  
Ты говорил: гони березку в рост,  
Иначе съест ее коза Европы!..  
Березовой стране мы клали в рот\*:  
Питайся, милая,  
Жируй младенческой утробой!  
И деревцо росло по малости и силе,  
А ты схватил и потащил из почвы:  
Расти скорей!..  
И тут-то мы завыли:  
Брось дерево, бузила!  
На дереве живые листья были,  
Ты хочешь, чтобы стали клочья?..  
В науке есть... какой-то камень\*\*.  
А в революции — железо есть!  
Железо, вот, жуем почти губами —  
Приходится десною есть,  
Не обеспечены пока зубами!..  
Ты думаешь, мужик башку поскреб  
И только вошь в ногте осталась?  
Смотри! Любая голова (будь в ней хоть медный лоб)  
Как бы под тем ногтем  
По швам не распаялась!

*Андрей Воголов*

\* Конечно, что имели:  
Что за обедом сами ели!

\*\* Наверно, ленинский гранит:  
Другие ели и — сытели,  
А ты поел — живот болит!



### *Про электричество*

Электрический огонь  
Светит над кроватью,  
Спать не страшно с огнем —  
Засыпать сладко.

Не шумит и не коптит,  
А молчит и светит —  
Без него бы страшно жить  
Было нам на свете.

Даже кошка Машка наша  
Вся трясется во тьме  
И боится мышей.  
Но зажгите огонек:

У мамыши простоквашу  
Всю покушает она  
И залезет за мышонком  
На высокий потолок.

Да и я боюсь чего-то,  
Если свет потушат.  
Шепчет кто-то:  
— Вот он, вот он!  
И бывает жутко.

Если мама ляжет близко,  
Я держусь за шею.  
Скажет мама:  
— Спи, сынишка!  
И тепло мне с нею.

Я заметил из окошка,  
Что на небе иногда  
Загорается немножко  
Электричеством звезда.

Вижу я, что лампа наша  
Вся на ниточке висит,  
Оборвать ее не страшно,  
Только папа говорит,  
Что без нитки —  
Лампа не горит!

Папа мой не пионер,  
А значок на шапке!  
Он советский инженер —  
Молот на лопатке.

Он машины из железа  
Строит целый год.  
Но какие — неизвестно,  
И домой не принесет.

Я сказал ему однажды:  
— Что ты, папа, жадный?  
Знак надел — и ходит важный!..

Подари-ка нам машину —  
Будем очень рады!  
Правда!

Папа мой меня потрогал,  
Будто я железный:  
— Завтра едем-ка в дорогу,  
Станцию посмотришь!  
Невелик ты, но полезно:  
Подрастешь — построишь!

И поехали мы завтра,  
С мамой попрощались.  
Взяли шапки, взяли завтрак,  
С мамой целовались.

Рыжий шофер очень важен —  
Автобусик он ведет.  
Ехать быстро очень страшно,  
Дядя денежки берет.

По Лубянке к Театралке  
Мчится громко автобус.  
Нам людей давить не жалко,  
Потому что незнакома  
Пионерам грусть!

Дом стоит ужасный  
И гудит как жук.  
— Вот электростанция, дорогой мой друг! —  
Взял меня за руку папа-инженер.  
И пошел я в станцию,  
Смелый пионер.

В комнате высокой Ленина портрет,  
А под ним железо страшное мычит.  
«Без электростанций — коммунизма нет», —  
Ленин, умирая, написал слова.  
И теперь железо мертвое кричит:  
Значит, сила Ленина жива!

«Кочегарка —  
Посторонним запрещается входить!»  
А вот мы вошли!  
Там земля трясется, люди дым едят,  
И жара такая — невозможно жить!

Но я очень смелый, и я очень рад,  
И еще охота  
Уголь мне кидать.  
Только — не велят!

Вон часы-будильники  
Стрелками дрожат —  
Так ужасно крепко  
Пар в котле зажат.

Кочегары черные  
Кормят пламя в рот:  
Для машины — пища,  
Кочегарам — пот.

Это удивительно —  
Трудно как светить!  
Нам неизвинительно  
В ярком свете жить!

Ну, пойдём, парнишка,  
В наш машинный зал.  
Люк не трогай близко,  
Свалишься в подвал!

Но уж там другое —  
Чистота и звон.  
А главное такое —  
Как делают огонь.

Лежат кадушки черные,  
Как музыка, поют.  
Большие, а проворные  
И много пара жрут!

В одну машину давит пар —  
И вертится она!  
Упорный чёрный кочегар  
Не зря потеет у огня.

И, тяжело утомлена,  
(Видать, как дышит и сопит она!)  
Машина та крутить спешила  
Свою певучую соседку,  
Что город электричеством светила.

Я ничего бы не узнал,  
Но папа пионерски метко  
Мне все дочиста рассказал:

— Видал, вожатый и оратор,  
Как трудно свет дается нам?  
То три турбины, то — динамо,  
Все вместе:  
Турбогенератор!

Ты слова не забывай,  
Запомни то, как медный вал,  
Вращаясь меж магнитов,  
Живое электричество рождal!  
Теперь — по станции шагай!

Взобрались наверх —  
Круто, жутко,  
Трепещет даже стан!  
Какая умная наука!  
Зато машинам трудно  
И кочегаров жаль!

Здесь на мосту высоком —  
Пред нами мрамор белый,  
Проходим с папой боком,  
Чтоб током не задело.

Часов и ручек много  
 На мраморе висят.  
 Но просят их не трогать,  
 Чтоб зря не умирать.

— Вот щит-распределитель,—  
 Папа говорит.—  
 Здесь каждый измеритель  
 Выставлен на вид!

Гляди на циферблаты,  
 И видно — сколько тока!  
 Считаю аппараты  
 Без всякого порока.

Текут отсюда в город  
 Тепло и свет и сила —  
 Вон, видишь, вышел провод:  
 В нем электричество поплыло.

Лампочку над книгой  
 И городской трамвай  
 Питает провод сытно —  
 Садись и поезжай  
 Домой к себе на Пресню —  
 И быстро, и прелестно!

Любой, большой и малый,  
 Советский наш завод  
 Вещи из металла  
 Все тем же током ткет.  
 И воду током гонит  
 В дома водопровод.

### <Марии>

*М.*

В мире есть чудо — свобода,  
 Мир — это сердце, мой друг.  
 В мире есть нежность — природа,  
 Есть человек — разрушающий дух.

Баю-баю, Машенька,  
 Тихое сердечко,  
 Проживешь ты страшненько  
 И соришь, как свечка.

*Марии*

Предчувствия меня томят,  
 Душа неслышно говорит.  
 На небе звезды молчат, молчат.  
 И в бесконечность мне путь открыт.

М.

Вечер и Ты, моя мука и свет,  
Вечер — и я, человек и поэт.  
Знаю, что в мире радости нет,  
Есть безнадежность — кровавый крест.

М. А. К.

Мы стареем, потому что мы живые,  
Нам усталость мочит белые глаза,—  
Значит, мы с тобою были молодые,  
Но еще гремит любовная гроза.

Оттого ты с каждым годом мне милее —  
Жар неистовый сменен на теплоту.  
Слышу я, как сердце мое зреет,  
Чтоб, созрев, упасть в родном саду.

Ты еще жива, твои глаза сияют,  
Сердце грудь качает, краснея и спеша,  
Но года замрут и про тебя мне скажут:  
Век отвековала верная душа.

\* \* \*

Солнце — розовый ребенок  
Пьет вселенной молоко,  
Ржет и скачет жеребенок,  
Поле утром далеко.

### *Питомник нового человека*

У одного советского писателя есть очень странная и очень красивая легенда: смертельно утомленный большевик видит неясный сон. Идеи, волновавшие большевика, конечно, получили свое начало в действительной жизни. Во сне лишь продолжалась дневная работа мозга, только в более бесформенном и чувственном виде. Утром большевик восстановил сновидение. Получилось следующее:

«Изумрудная земля. Волнующая бесстрашная жизнь человечества. Природа более огромна и более сложна, чем наяву. Но она не губит людей, а полна обаяния для них. Работа природы возбуждает людей, так же, как ритмический гром мощной отличной машины. Но природа не машина — она живая, поэтому от нее исходит тревожное обаяние, как любовь. Людей на земле не два миллиарда, как нынче, а в тысячи раз больше, но нет бедствий и тесноты. Жизнь хороша до разрыва сердца, человек напряжен до крайности, но нет блаженной скотской гармонии.

Потом — ливень, потоп, черное солнце, ревушая судорога вселенной — и земной шар из изумрудной звезды стал комком мокрой глины. Остались разрозненные бродячие кучки бывшего мощного человечества. Природа продолжала резко меняться. Она являлась каждый день новой, а человек, сотворивший некогда из темной звезды изумруд, увидел, что его архитектура погибла. Надо было снова изучить в корне изменившийся мир, чтобы когда-нибудь снова превратить его в зеленый изумруд. Но человек, оставшийся от изумрудного мира, ничего не мог понять в новой природе. Он знал старый мир — до катастрофы, — у того были другие законы движения; человек был настроен на те, старые, явления и только ими мог командовать. Теперь же мир изменился принципиально, поэтому голова человека, сердце человека, чувства человека стали недействительными, ибо они были

воспитаны вчерашним изумрудным днем. Человек растерялся, и в этом была причина его массовой гибели. Потребовался новый человек, потребовались эпохи работы и лабиринты тоски, чтобы переделать все свое человеческое оборудование и превозмочь сместившуюся природу: тогда вновь земля будет изумрудом, а человечество его цветом. Одним словом, человек и природа должны восстановить порванные добрые отношения. Порвала их природа, но человек должен сам измениться и изменить природу — так, чтобы добрые отношения восстановились».

Герой рассказа твердо знает, что в том изумрудном мире, приснившемся ему, не было чувства времени. После всемирной катастрофы это чувство появилось. Это значит, что появилась история. Появилась! Значит, она может и кончиться? Да, может, когда земля усилиями человека превратится в большую обитель созревшего человека, прокаленного адом борьбы, смерти, мысли и работы. Тогда история есть промежуток между потерянным и возвращенным изумрудным миром. Да — и этот путь надо пройти, сжав зубы, сдирая кожу со своего живого тела.

Быть может, в потерянном роскошном мире жил не человек, а лучшее существо. Лучшее существо, как более нежное, погибло, родив из себя грубого терпеливого выродка — человека, тварь эпохи бедствий. Человек есть специально, так сказать, рабочий истории. Он должен переродить себя, перемесить всю природу, соответственно своей цели, и в последний день своей жизни, у конца истории, — когда все будет готово, — родить существо, подобное погибшему в изумрудном мире. Накануне той великой звездной эпохи человек будет выключен из жизни — он превозмог все страдания, но износился и больше негоден. Его арена — история — свернулась навсегда.

Большевику — герою рассказа — было радостно в тот день. Он знал имя изумрудному земному шару — коммунизм. Он перевел в чувство свои помыслы и политические вожеления, он засмеялся, отдохнул в одну ночь и бросился в гущу терпеливого ежедневного труда.

Герой рассказа почерпнул в фантастическом сонном видении удовлетворение своей философской умонастроенности. Он забыл, что та мгновенная космическая катастрофа, разрушившая изумрудный мир, не всем памятное дело и поэтому она мечта. Но писатель имел в виду чувства своего героя, а не науку, поэтому писатель имел право толковать природу с точки зрения отдельного человека. Искусство — не наука: у него каждое явление жизни имеет адрес и фамилию. А наука работает над безличными огромными суммами однородных явлений и выводит среднее, равнодействующее, оставляя за бортом личные отличия фактов и живых существ. Наука ищет однообразия во многом, а искусство — своеобразия в отдельном.

Сон большевика мы привели потому, чтобы пользоваться им дальше, как средством разъяснения. Наша тема заключается в объяснении будущего типа человека, который должен сменить ныне живущий тип. Постараемся это сделать совершенно объективно.

Современная эпоха имеет одну странную аномалию, то есть неравномерное развитие. Науки о природе достигли страшной высоты. Мы не будем на этом задерживаться. Скажем, что, если бы осуществить все современные научные открытия, человечество было бы материально счастливо. Исторические же науки и социология, наоборот, безнадежно отстали от наук о природе. В самом деле, с точки зрения естественного строения земли, распределения ее производительных сил, способа их наилучшей эксплуатации, с точки зрения производства самой же науки — производства насквозь социального, так сказать, непрерывно всемирного — капитализм есть чужь и дикость. При высоте современного естествознания, пользоваться капитализмом, как формой производства и общежития, так же глупо и невыгодно, как посылать телеграмму на подводе при наличии радио.

На самом деле между социологией и естествознанием в голове человека и в живой действительности произошел разрыв. Разве не смешно, что один и тот же человек открывает и называет вещество, из которого построена вселенная, раскалывает на части атом и одновременно верит в бога и в небесное помазанничество короля своего отечества? Так именно поступает один английский ученый.

Правда, все это рассуждение для советского читателя недействительно. Октябрьская революция на месте провала социологических знаний и фактов возвела гору социальной революции. Этим событием социология догнала технику и естествознание. Если аэроплан может лететь со скоростью 400 верст в час и требует, чтобы земной шар был сплошным аэродромом, то этому соответствует социализм. Эфир и электричество также требуют для своего использования социализма. Это всем ясно. Капитализму же соответствовал самое большее — паровоз.

Но в капиталистических странах разрыв между естествознанием (в широком смысле) и социальной действительностью есть. И этот разрыв ведет к тому, что рост самого естествознания и связанной с ним техники приостанавливается. Это опять-таки понятно: сложный процесс современной науки требует для себя всемирных масштабов, а не территорий и диких условностей буржуазного государства. Вот почему американский писатель Вудворт говорит, что надо предавать казни изобретателей и исследователей — Америке не нужны технические открытия, Америке необходимо изменить свой социальный строй, иначе она вырождается в толпу идиотов. Вудворт боится, что если вовеки не подравнять уровень социального устройства с уровнем науки, то исчезнет и сама наука. Поэтому он предлагает приостановить пока науку, чтобы успеть дотянуть до нее социальные отношения.

Вышло, что человек, трудясь над переделкой мира, забывал параллельно переделывать себя. Поэтому великое естествознание шло человеку не в пользу и в спасение, а в погибель. Пример этому — война 1914 года.

«Завет изумрудного мира» — об одновременной работе над миром и над собой — был забыт.

Начало нового человека положено в Советской России. Потому что в Советской России изменяется среда, которая питает и образует человека, то есть общественное устройство. Что же это за новый человек?

«Изумрудный человек» погиб оттого, что не перенес всемирной естественной катастрофы, хотя в свое время он создал «из темной звезды изумрудный мир». Просто человек — существо, преобразующее неравильный катастрофический мир, — выжил оттого, что родил в себе и пустил в действие новый жизненный орган тела — мозг. Этот мозг дал человеку волшебную силу для сопротивления всем ревушим смертоносным стихиям. Мозг рос на протяжении неисчислимых эпох, и им ныне освещена почти вся природа. Мозг человека есть обеспечение его конечной победы над всем миром. Но одновременно в человеке существуют десятки чувств и страстей, зовущих его предаться наслаждениям и забыть свою человеческую историческую работу. Человек любит есть, любит женщину, ищет покоя, желает личного смысла жизни и так далее. Каждая из этих страстей, доведенная до предельного напряжения, способна разрушить, рассосать силу сознающего мозга. Мозг беспрерывно откупается от этих страстей. Он выдумывает средства, чтобы человек наслаждался, но чтобы от этих наслаждений не разрушалось его тело. Для мозговой силы нужно цепкое здоровье, и в распутном теле не может родиться большая мысль. В сущности, мозг все время хочет стать диктатором человеческого тела — он желает мобилизовать все силы организма только для своего питания. Это ему не удается — отсюда трагедия личности и быта.

Вероятно, мозг в конце концов откупится: он изобретет тысячи предохранений для человеческого тела, чтобы оно могло предаваться всем своим страстям, но не иссякать преждевременно и добросовестно питать голову кровью. Это будет как игрушки большого человека для маленького ребенка.

Советский Союз представляет собой для мозга сосущий рынок. В самом деле, постройка социалистического общества — это предприятие невиданного масштаба. Социализм включает в себя почти немедленную реализацию всех достижений науки, и, больше того, он предъявляет спрос на новые открытия. Вспомним, что социализму пришлось экстренно и заново изучать территорию и народы Союза, пересмотреть недра, создавать центры энергии, поправлять природу для устройства путей сообщения и вести тонкую дипломатию с внешним капитализмом, перешить всю микроскопическую ткань человеческих отношений, создать практическую философию и многое другое.

Если вспомнить открытие хребта Черского в Северо-Восточной Сибири, Волхов, Днепр, Свирь, Волго-Дон, авиационные успехи, кристаллический аккумулятор Иоффе, ветродвигатель Уфимцева, массовое рабочее изобретательство и прочее, то слова о постройке социализма получат, так сказать, конкретные местоимения.

Социализм, как известно, задается целью догнать и перегнать капитализм во всех его областях — в производстве, в культуре, в формах общежития. Это возможно только тогда, когда в Советском Союзе действует более высокий тип человека, чем в капиталистических странах. Что значит более высокий тип человека? Это значит более энергичный, более напряженный, более одаренный и продуктивный в мозговом отношении. Ведь ничего нельзя сделать, не сознавая. Что заставит советского человека, и уже заставляет, стать более разумным? Доброе желание? Нет: угроза гибели. Эта причина толкнет советского человека на шаг к своему вну-

треннему преобразованию. Этим шагом он опередит тип капиталистического человека. Понятно, что новый человек сам не осознает и не оценит своего перерождения — оно появится как бы бессознательно и незаметно. Вся мощь объективных непреерекаемых условий ляжет на человека и зарядит его мозг острой силой.

Нельзя же опередить капитализм, не имея самого главного инструмента для этого опережения — человека. Если мы хотим вырасти выше капитализма, то наш человек должен быть биологически лучше оборудован, чем человек капитализма. То есть он должен иметь лучший мозг. И притом лучший мозг в непосредственном физиологическом смысле. Марксизм знает, как податлив человек, даже биологически, под влиянием социальных и экономических условий. Сейчас мировые и исторические условия для человека советских стран таковы, что ему нужно подаваться в сторону выращивания своего мозга или быть растертым капитализмом. В этом — внутренне-биологическое последствие Октябрьской революции. Последствие, на которое прямого расчета не было. Но это так. Если капитализм произвел условия, в которых пролетарий превращался в идиота, то социализм перевернул эти условия так, что пролетарий превращается в одаренного человека. Это физиологические органические выводы различных социальных порядков. Это очень ясно.

Социализм есть теплый дождь на почву сознания. Социализм есть спрос на мозговую продукцию. Из этого спроса вырастает предложение. Все вместе создаст почву для умственного обогащения человека. Этой почвы в капитализме не имеется — там люди отстают.

В ближайшие же годы мы будем свидетелями, как капитализм начнет приглашать людей искусства и науки со стороны, то есть из социалистических стран. Америка это уже делает сейчас. Причина такого явления — в иссякании творческих сил капиталистического общества. С советской точки зрения искусство нынешних Европы и Америки есть сплошная халтура. Доказательств не требуется — они общеизвестны.

Дальше и последнее. Растущее сознание социалистического человека незаметно, так сказать, демобилизует порочные страсти тела. Сила, которая шла на питание этих страстей, всасывается вверх для мозговой деятельности, оставляя внизу пустое место. Таким образом разрушаются и решаются вопросы пола, быта, искусства, неразрешимые при капитализме.

Социалистическое общество открыло шлюзы для потока сознания — этого достаточно для сотворения нового человека. Сознание в камеру шлюза пройдет, а пороки зацемятся и отвалятся в верхнем плессе.

Новый человек — это не явное «сошествие Св. Духа». Это органическое, медленное и потому неэффективное явление. Новый человек уже живет, фантастическое существо будущего уже действует, но глупо было бы указывать его адрес и фамилию.

Что объективно характеризует нового, социалистического, человека? Несомненно, мозговой прирост, то есть изменение в мозгу, в сторону его усиления, и связанные с этим органические перемещения.

К изумрудной звезде, приснившейся утомленному большевику, сделан крупный шаг. История «проходится». Земное тесто будет превращено в кристалл, и человек станет его зеленым цветом — цветом надежды на действительное овладение вселенной.

<1926>

### Московское Общество Потребителей Литературы (МОПЛ) (Отчет хроникера)

В Доме печати 4 марта 1927 года был оборудован беспремерный вечер:

I. ДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ тов. Ивана Павловича ВОЙЩЕВА О КАЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

II. СОДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ тов. ФОМЫ ГЕОРГИЕВИЧА УХОВА О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.

НА ВЕЧЕРЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ПРЕНИЯ С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЯ, СЛОВО БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПИСАТЕЛЯМ.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЧЕРА — ВЫБОРЫ ВРЕМЕННОГО БЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.



Будучи нечитаемым писателем и пишущим читателем, мне было опасно идти на такой вечер. Я чуял предстоящую «классовую» схватку двух социальных великанов, двух полюсов литературного космоса, а сам был желто-розовым — ни читатель, ни писатель: человек за бортом.

Но это оказалось мне на пользу: осужденный на безмолвие на диспуте, я имел возможность выслушать всех.

Вот, буквально, что я увидел и услышал (отсебятину уже выкинул редактор).

Зал был полон самыми невероятными личностями: пришли, наконец, те спокойные люди, фамилии которых редко печатались даже на пишущей машинке, не говоря о плоских машинах или ротации. Однако, слушая их реплики, я открыл, что это сплошь умные люди. Но чем они занимаются, если ничего не пишут?

За чтение платят редко, значит, авансы и гонорары они получают за какое-то иное, и неглупое, ремесло.

Но сколько должно быть на свете ремесел, если кормится от них такой коллектив благообразных людей?

Это и был наш читатель, как оказалось впоследствии. Вон тот толстый человек в плотном пальто, с полнокровным лицом, будто натертым огнеупорным кирпичом, оказался докладчиком И. П. Воищевым, а сосед его, все время выпрастывающий шею из воротника, есть содокладчик Ф. Г. Ухов.

Я думал, что они оба бухгалтеры, но первый оказался инженером путей сообщения, а второй — мастером токарного цеха железнодорожных мастерских.

Интеллигенция и — квалифицированный мастеровой.

Весь читательский народ расселся по стульям, а писатели пришли последними и стали у стены. Сошлись все московские знаменитости слова, но из читателей их никто в явное лицо не знал, и поэтому писатели остались стоять у стенок — им никто не предложил стульев.

В точно объявленный час началось заседание. Быстро и хорошо был избран президиум, утвержден регламент — и начало свои действия это беспримерное собрание.

Вышел докладывать И. П. Воищев:

— Граждане! Регулирование производства и потребления год от года все глубже и шире облагораживает и рационализирует нашу жизнь. Все увереннее мы съедаем свою утреннюю булку, зная, что в ней содержатся положенные 200 граммов и что на производство ее пошла надлежащая по качеству мягкая крупчатка. Все чище делается наша совесть и спокойнее наши нервы, ибо мы застрахованы и дважды перестрахованы от воровства и нечистоплотности. Мы знаем, что та же булка изготавливается чисто плотной машиной на кипяченой воде, что пекарь не чихает больше над тестом и не маникюрит в нем своих ногтей.

Но кто заставил эту грязную кухню жизни, эту алхимию производства превратиться в научную лабораторию? Кто заставил антиобщественное, по своей природе, производство, идущее по трупам к своему обогащению, стать моральным учреждением?

Ясно кто — советское государство, открывшее вольную дорогу потребительской кооперации. Потребитель, при нашем строе, действительно становится повелителем производства.

Но лишь одна область осталась вне сферы власти потребителя — это литературное искусство.

Прежде всего, что такое литература и нужна ли она нам? Я буду говорить так, как я сам понимаю, а не как меня старались научить книги.

Каждый человек хочет жить не только тем, чем он каждодневно занимается, но и всей общечеловеческой, я бы сказал — общебиологической — жизнью, торжествующей на земле. Но, не имея практической возможности к такой фактической универсальной жизни, обыкновенный человек заменяет ее суррогатом — чтением. Если вы замените мой термин «общечеловеческой» на общеклассовый, то понятие станет более точным и современным.

Когда общество будет так устроено, что сегодня человек слесарь, завтра пилот, а послезавтра заводчеловек лунной поверхности, когда вся его мускулатура, все волокна мозга будут трепетать от труда, тревоги, опасности, впечатлений, творчества и счастья, — тогда я брошу книгу, но мы — деловые люди: если сегодня нам

недоступна вся девственность, вся свежесть, все, так сказать, разнотравие жизни — мы пользуемся суррогатом всего этого пока недоступного добра.

Но точно ли хорошо современная книжка дает нам нужный суррогат недоступной жизни? Не дает ли нам книжка сухостойное дерево, вместо влажного и зеленого?

Возьмем примеры, что вспомним. Вот — «Красная новь», солидный журнал для интеллигентов. Я интеллигент, я всю жизнь читаю. В этом журнале много месяцев печатается роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Возьмем другое и непохожее с виду — «Чертухинский балакирь» Клычкова из «Нового мира», возьмем «Цемент» Гладкова, рассказы и повести Сейфуллиной, рассказы Бабеля, сочинения Пантелеймона Романова и почти всех прочих писателей. Я не мудрый по этому делу, но мне кажется, что если я занимаюсь постройкой железнодорожных мостов и заведу верхним строением пути, то литература должна занимать человеком. А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным, антропоидом, если позволите...

Тут Иван Палыч попил водицы, улыбнулся, прохаркнулся и пошел дальше.

— Берет писатель чудо-человека и начинает его вращать: получается сочинение. Но никак не заметит, что его человек не чудо, не жизнь, а урод, белый мозг и ситцевая кровь. Нам же нужен настоящий человек, то есть глубокий, — человек, душа, характер, мученик подвига, мозга и сердца, или дневной обыденности, — нечто искреннее и действительное, иначе ведь не бывает. Да все это известно вам... Я хочу сказать, что читать мы все равно будем, как все равно будем есть. Я из тех, кто старые метрики из-под селедок в девятнадцатом году читал. Но зачем нам читать сейчас то, что нехорошо написано, — не едим же мы сейчас черных лепешек от вокзальных баб, почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе?..

Дайте нам есть то, на что тянет наш желудок, — долой черные пышки-лепешки! Долой вокзальных баб в литературе! Я еще, граждане, не остановился на литературе еженедельных и двухнедельных журналов. Но там, за редчайшим исключением, сплошная бледная немочь, там просто хлеб печется из мела на известковых дрожжах... А вообще все мы прикованы к нынешней литературе не чувством очарования, а любопытством к чужому позору.

Затем, вам известно, что многие честные писатели сами поднимали вопрос о реформе литературы. Но, естественно, из этого не вышло ничего доброго. Только читательская потребительская кооперация способна произвести революцию в литературе — больше никто.

Здесь И. П. Воищев сел. Читатели начали ему аплодировать. Писатели нахмурились.

Прения решили открыть после слушания содоклада Ф. Г. Ухова. Вышел тотарный мастер.

— Товарищи-читатели! Иван Палыч чисто сказал, но не поставил своего слова ребром: до каких пор нам есть сигарки в хлебе, ловить конский волос во щах и вытаскивать глистов из колбасы, — иначе сказать, долой глупое, желтое и неинтересное чтение! Нам нужен писатель — умный и душевный парень. Я требую пользы и доброты от чтения, а мне дают пудру и пыль: прочтешь и ничего не упомнишь, как ветром сдуло! А почему же я Пушкина и Гоголя помню?

Короче говоря, если писатели не хотят писать, чтобы нам интересно и увлекательно было, чтобы я, когда хочу выругать жену, — вспомнил книгу — и не выругал, если граждане писатели этого дела не хотят, то тогда мы сами будем писать, тогда читатель станет писателем, а теперешним писателям мы объявим бойкот: пусть тогда читают читательские сочинения!

Как все устроить практически? А так: мы, читатели, должны организовать Читательский Потребительский Союз, этот Союз будет и нашим издательством, таким образом, мы сами будем издавать для себя книжки, и будем издавать только то, что нам нужно и что по качеству хорошее. Согласны, граждане читатели?

— Согласны! — крикнуло собрание.

— Тогда приступим к прениям.

Слова попросил Маяковский, но ему отказали: не читатель, после скажешь, и так много наговорил! Стань опять к стене!

Выступавшие ораторы-читатели украшали речи докладчиков совершенно неизвестными фактами и предложениями.

Но все были согласны с докладами.

Некто С. П. Маховицын сказал:

— Граждане! Я вот вам прочту сейчас стихи одного поэта, которого читает моя дочка. Этот поэт и сейчас жив и все пишет и пишет. Вы вот послушайте и тогда скажете, сколь это разумно:

*Шол дождь. Полз червь.*

*Твердь из сырости свивала вервь.*

А вот еще:

*Бежал в испуге пес голодный;*

*Яички к животу прижал.*

*Все человечество есть сон уродов —*

*И пес рыдал...*

Следующим выступал какой-то изобретатель сернокислого сероводорода по фамилии Пугавкин.

— Чепуху прочел т. Маховицын, и недоказательную чепуху. Но литература сама по себе чепуха и не требует опровержения другой чепухой. Предлагаю, ввиду чрезвычайной ответственности жить — все силы обратить на активную жизнь, а созерцательную литературную чепуху ликвидировать немедленно... Иначе нас врасплох захватит космическая катастрофа...

Оратор Чернецов определил литературу как свойство организма, а потому как неизбежное зло, следует только это дело нормировать, механизировать и сделать таким же плавным и спокойным, как сердцебиение.

Читатели исчерпали список ораторов. Дали слово писателям. Вышел Маяковский.

— Половина моих произведений — это сочинения умного человека о дураках. Но, побывав у вас, я сожалею, что не все мои произведения посвящены дуракам. Более горьких идиолов, чем вы, я еще не видал. Чудаки! Ничего вы не сделаете, даже рекламу о вашем МОПЛе сами не напишете, а меня позовете, и я вам, конечно, удружу это за два рубля со строчки.

Но зачем я так хорошо писал всю жизнь? Зачем я трудился для таких иностранцев? И как вы не урчите, а без нас не продышите! Хотите, я вам сейчас одно свое стихотвореньице прочту? Очень хороший стишок!..

Тут из читательской среды крикнули: брось, сядь, знаем — о хулиганах, о призыве, о борьбе с пьянством, — знаем тебя, халтурщик, сапожник собственной жизни! Маяковский показал кулак и отошел от греха.

Выходили еще кое-кто, но жалко о них писать: их просто сплюнули с трибуны. Маяковский хоть ругаться и презирать умеет (он 150 000 000 людей насильно ущучил к себе!), а эти, кажется, заплакали от обиды.

Вот он, читатель-то! Теперь держись, сочинитель! Загодя иди в МОПЛ делопроизводителем! Хотя писатель, по части финансов, не дурень-парень и я потихоньку надеюсь, что он превратит этот МОПЛ в Московское общество помощи литераторам-лодырям.

<1927>

*Публикация М. А. ПЛАТОНОВОЙ.*

*Подготовка текста Е. АНТОНОВОЙ, М. ГАХ,*

*О. КАПЕЛЬНИЦКОЙ, Н. КОРНИЕНКО, Н. МАЛЫГИНОЙ,*

*Л. СУМАТОХИНОЙ, Е. ШУБИНОЙ, Е. ЯБЛОКОВА.*



Владимир КАНТОР

## Умирал ли дракон?

ОТ СОВЕТСКОГО К ПОСТСОВЕТСКОМУ НАСИЛИЮ

### *Идейная неразбериха*

Со времени, когда у нас была объявлена перестройка, пожалуй, больше всего звучали слова о возвращении в «европейский дом», в «цивилизованное пространство», о необходимости «цивилизованно решать все вопросы» и т. п. И как одно из препятствий подобному движению называлось отсутствие в национальной ментальности самой идеи правосознания как принципа общественной жизни. Принцип этот, конечно, как понимали и говорившие, вырабатывается веками, создать его за несколько лет невозможно. Тем не менее казалось возможным (как это случилось когда-то в Западной Европе) создать усилием «прогрессивных» и «просвещенных» государственных мужей предпосылки к такому состоянию дел. Для чего прежде всего необходимо озаботиться построением *правового государства*, которое гарантировало бы не только обязанности (как оно всегда в России было), но и, так сказать, «неотъемлемые права личности».

О правовом государстве теперь молчат, а ощущение у добропорядочного обывателя таково, что государство поделилось своими всегдашними правами с «новыми русскими», за плечами которых чаще всего уголовное прошлое. Даже «ходившие во власть» выходцы из профессорских кругов обвиняются в коррупции, да и в самом деле трудно иным образом объяснить их неожиданно нажитые состояния. Зато все обязанности государства по отношению к подданным, как кажется публицистам и выходящему на демонстрации народу, исчезли вовсе. Возникло то состояние, которое у нас последние годы именуют «криминальным беспределом», когда всяческие преступления (от убийств до экономических обманов) практически безнаказанны.

Вину всю возлагают на нашу свеженькую «демократию», которая-де и породила произошедшую «криминальную революцию». Но насколько нынешняя власть может считаться демократической? Как правило, сомнений нет. Приведу самое осторожное высказывание современного политолога: «Демократия пришла к нам очень легко и просто, практически без настоящей борьбы за нее, когда вдруг «вся наша в громадной степени коррумпированная (она и складывалась в процессе коррупции) коммунистическая элита стала «демократической». <...> Впереди — задача превращения формальной демократии, являющейся прикрытием власти все той же бюрократической элиты, в демократию реальную»<sup>1</sup>. Скепсис очевиден, и все же наше общество называется демократическим. Слова эти были написаны в конце 1992 года. Такая грела надежда, что мы в начале пути к подлинной демократии. А что сегодня?..

Сегодня окрепло убеждение, что демократия чужда нашему народу, что единственно возможное у нас общество — это общинно понятый коммунизм. Об этом не уставая твердили А. Зиновьев и следовавшая за ним интеллигенция, та, которая на протяжении всего советского периода противопоставляла «реальному социализму» идеальные схемы Маркса. Но в результате преисполнились уверенности в себе и своем деле отнюдь не идеальные, а реальные коммунисты. «Да, Россия — «левая страна!» — сказал лидер КПРФ журналу «Шпигель» («Советская Россия», 8 октября 1998 г., с. 3). Получается, что отказ от демократии — это спасение страны от насилия, коррупции, возвращение России к своей сути, которая благостна, об-

<sup>1</sup> Фурман Д. Наша странная революция. М., 1998, с. 54.

щинна и основана на коллективизме и взаимопомощи. И никакого насилия знать не знает.

Вектор идейных упований повернулся в другую сторону. Еще четыре года назад насилие казалось *причиной, мешающей* становлению либерально-демократического общества, *противостоящей* идее правосознания и цивилизации, *но присущей* сути национальной ментальности. Приведу отрывок из выступления С. А. Королева, участника «круглого стола» в журнале «Вопросы философии»: «Почему столь часто в России осуществляется наихудший из возможных сценариев развития?.. Чаще всего торжествовали те, кто не останавливался перед крайним насилием. Рефлектирующие либералы терпели поражение. При этом насилие получало социокультурную легитимацию, принималось массовым сознанием и даже выступало в известном ореоле. Возможно, это связано с самой логикой формирования единого геополитического пространства России, сшиваемого силой власти... Те, кого насилие пугает, выбивают из числа «делающих историю» в России... Исторический выбор без насилия, вне насилия у нас в России пока еще невозможен»<sup>2</sup>. Сегодня основное обвинение нашей странной демократии в том, что она развязала насилие. И коммунисты обещают, что уж они-то, совпадая в своей ментальности с ментальностью народа, обойдутся без насилия.

Еще недавно средства массовой информации тоже уверяли, что уголовщина захлестнула политику и выход нужно искать в «сильной руке», в авторитарном правлении. Газеты заполнялись известиями о заложниках, о заказных убийствах, о непрерывных мафиозных разборках. Но ослиные уши торчали: кто-то явно был заинтересован в испуге общества, чтобы как некая иллюзия возникала мечта о «светлом прошлом», когда общество было регулируемо и вроде бы не злаго такого хаоса и уголовного беспредела. Коммунистический тоталитаризм с левой руки Евгения Шварца не раз сравнивали с *драконом*. В своей пьесе он показал и (как понятно сегодня) предсказал психологию людей, которые боятся жить без власти дракона. Добрый архивариус поясняет рыцарю: «Единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Вроде бы, казалось многим, дракон большевизма повержен и издох, у нас теперь демократия. Но расплодилось множество мелких дракончиков, злодейская суть которых очевидна, ибо они даже не прикрывают свои действия словами о благе граждан. А потому вместо многих захотелось снова иметь одного, который озаботится уничтожением мелких соперников и снова объявит насилие блгом.

И вот его призрак замаячил на горизонте. И сразу испугались коммунистического реванша — после августовского (1998) экономического кризиса. Газетчики вспомнили, что мафия мафией, насилие насилием, а магазины были полны и уровень западноевропейской жизни мы ощутили. Россия вдруг почувствовала, что возвращается из пятилетней заграничной командировки, и интеллигенции стало грустно. Более того, она опять боится. Православно-коммунистический дух повсюду ощущается как внутренний и естественный возврат к ленинско-сталинскому состоянию страны.

Предчувствие возврата коммунистов у меня появилось в 1992 году, когда, получив премию и стипендию фонда Генриха Бёлля, я жил в доме писателя в Германии и наблюдал спокойную, разумно устроенную европейскую жизнь. И в июле того года я написал радиопьесу «Пистолет», сюжет которой очень прост. Герою помогает защитить диссертацию поощряющий молодые таланты профессор, про которого говорят, что он еще и полковник Г.Б. Герой едет к нему на дачу, где профессор вовсе не стесняется своей второй, а может, основной профессией. И внезапно задает вопрос: «А кто перестройку эту готовил, как ты думаешь? Не знаешь? Ну и не надо тебе знать, кто твоим демократам советы дает. Когда надо будет — прекратят. Дискредитируют демократию — и каюк! Давай лучше радио послушаем». Он включает радио, и оттуда вдруг торжественный голос диктора: «Дорогие сограждане, братья и сестры! Группа изменников Родины, объявивших себя так называемыми демократами и приведших страну к национальному позору, арестована. Вся власть в руках православных патриотов своего Отечества. Границы перекрыты. Наши доблестные войска по просьбе лидеров пытавшихся отделиться республик восстанавливают народную власть. Наступил конец унижению. Вся компьютерная техника, полученная от инофирм, национализирована и находится в надежных руках. Фермерам предложено сдать орудия производства в колхозы. Все граждане, посещавшие в этот период Запад, обязаны пройти регистрацию в районных отделениях госбезопасности. Объявлена всеобщая мобилизация. За уклонение — расстрел. Все партии, кроме руководя-

<sup>2</sup> Риск исторического выбора (материалы «круглого стола»). Вопросы философии. 1994, № 5, с. 20.

щей, распущены. Президент подписал указ о возвращении к ленинским нормам партийной жизни. Телефоны и приемные госбезопасности работают круглосуточно. Просьба к гражданам сообщать о всех проявлениях недовольства». Далее, правда, выясняется, что старый гебешник пошутил, что не радио это, а магнитофонная запись. Пьеса была тогда же переведена на немецкий, а по-русски вышла только два года спустя. После неудачного коммунистического реванша 1993 года.

Здесь, однако, интересно, что выросший при коммунистическом режиме автор *перестройку воспринимал как гигантскую провокацию, затеянную компартией*. Зачем нужна была эта провокация? Это станет понятно, если мы задумаемся, почему в России так испугались гласного и открытого проявления насилия, когда преступник назывался преступником, а преступление преступлением. Мы привыкли, что насилие в основе своей должно иметь какую-то важную цель, что оно не может быть *просто так*, особенно если в насилие замешаны властные структуры. Это у воров — *просто так, ради наживы, а у власти так быть не должно*. Власть стала открыта критике, ее грабительская сущность обнажилась, и народ впал в шоковое состояние. Правители срочно стали искать национальную идею, чтобы прикрыть свой голый корыстный интерес. Идеи новой не нашлось, православие реанимировать не удалось, и наступающая на пятки президенту группа ненаевшихся еще паразитов требует возврата к старому, проверенному коммунистическому камуфляжу (хотя, как и при Сталине, не скрывающему свиного рыла фашистского национализма). Им кажется, что победа близка, ибо *демократическая идея дискредитирована* в результате разлившейся по стране волны *открытых актов насилия* — грабежей, квартирных афер, заказных убийств, невыплат заработной платы бюджетникам (т. е. государственных грабежей).

### Попытка типологии

Удивляться «криминальной революции» не стоит. Она рождена логикой нашей истории. Сегодня просто новый вариант старой песенки (от правившего московскими боярами и назначавшего патриарха «тушинского вора» до большевистской идеи «социально близких», то есть воров).

Оценить сегодняшнюю ситуацию с насилием в нашей стране можно лишь в том случае, если за повседневным опытом, за эмпирическими фактами мы разглядим некие константы бытия, а главное, перейдем с уровня обыденного сознания на уровень историософских размышлений. И прежде всего поймем, что вне насилия, помимо насилия не существует ни одно общество — начиная с первобытных и кончая самыми цивилизованными. Насилие, к сожалению, есть константа бытия человечества на земле. Его история началась с изгнания из рая, продолжилась братоубийством («восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Быт. 4, 8), а если говорить о единородстве всех людей, то братоубийство это длится и поныне. Это вполне ясно зафиксировано в Библии: «Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6, 11). Переходя же на уровень историософии, мы должны заметить, что в разных культурах и сообществах мы видим разные типы насилия. Чтобы понять специфику отечественного насилия, должно поместить ее в контекст некоей типологии. Мне уже приходилось о ней писать, но повторить в данном случае ее необходимо.

1. *Варварски-разрушительный, грабительский тип*, через который прошли все народы — исторические и неисторические. Незамиренное присутствие этого типа насилия ощущает каждая культура, вынужденная развиваться в постоянной борьбе с собственным прошлым.

2. *Разрушительно-созидательный, динамичный и продуктивный тип насилия*, постоянно преодолевающий сам себя путем договоров, правовых норм и структур, образующих костяк западноевропейской цивилизации. Способствует поискам самозащиты человека.

3. *Провокационно-охранительный тип насилия* предохраняет общество от развития, консервируя нормы и идеологию традиционного общества. Провоцируя появление насилия, подавляет его сверхнасилием, чтоб отсечь выход из стагнации.

Возможны контаминации всех трех типов насилия, тем более что первый лежит в основе двух вторых. История постоянно поставляет подобные примеры, иногда внутри одного временного отрезка и одной культуры. Но всегда можно вычленить определяющий тип. Для нашей истории характерен — с различными перерывами и отклонениями — третий тип отношений, я называю его *московским*, ибо окончательно сложился он в правление Ивана III и Ивана IV. Он то начинал преодолеваться (петровско-пушкинский период), то вновь возникал. Особенно ярко и страшно он

возродился при большевиках, достигнув кульминации в сталинизме. Проявлялся он и в других культурах (Византия, Османская империя, из близких по времени — гитлеровская Германия).

### **Провокация как принцип государственного строительства**

Но нас в данном случае интересует российская судьба. Московский тип отношений складывался под *активным воздействием насилия первого типа* — варварского. «Ломая кость, вытягивая жилы // Московский строился престол» (М. Волошин. Китеж. 1919). Уже первые московские князья противостояли типу средневекового христианского князя-рыцаря. За исключением Дмитрия Донского мы не находим святых среди московских князей. Напротив, как замечал Ключевский, «они являются зоркими наблюдателями того, что происходит вокруг них, внимательно высматривают, что лежит плохо, и прибирают это к рукам»<sup>3</sup>. Растут их сила и власть *с помощью варваров-завоевателей* — татаро-монгольского войска. *Провоцируя соседей на антиатарские выступления, московские князья руками татар беспощадно расправляются с соперниками, стараясь не оставлять их живыми.* Такова, скажем, ситуация, когда старший брат Ивана Калиты — Юрий, соперничая с благородным Михаилом Тверским, при помощи своего наперсника татарина Кавгадыя вызывает Михаила и ханскую ставку, а там Кавгадый — и обвинитель, и судья. Слуга Юрия Московского Романец умерщвляет Михаила, вырезав ему сердце, а Юрий оставляет изуродованное тело Михаила валяться обнаженным на земле. Даже Кавгадый устыдился и сказал Юрию: «Старший брат тебе вместо отца. Чего же ты смотришь, что тело его брошено нагое?»<sup>4</sup> Но Московский князь отправил его в Москву, не позволяя завозить в церкви. Тверской князь был причислен к лику святых, но ярлык на великое княжение получила Москва.

Снова вернемся к поэтической летописи России у Волошина:

Усобицы кромсали Русь ножами.  
Скупые дети Калиты  
Неправдами, насильем, праведжами  
Ее собирали лоскуты.  
В тиши ночей звездяных и морозных,  
Как лютый крестовик-паук,  
Москва пряла при Темных и при Грозных  
Свой тесный безысходный круг.

*М. Волошин. Китеж («Неопалимая купина»)*

Символ степного захватчика в русских былинах — Змей Горыныч, иными словами, *дракон*. И вот этот дракон понемногу проникал в психологию каждого московского подданного. С татарами боролись хитростью, у них учились, им подражали. Наконец в XX веке евразийцы назвали татаро-монгольское нашествие великим благом для России. Ведь татары и заботились о подданных, не уничтожали всех подряд, не желая терять дани. Вспомним опять Шварца и то, как герои его пьесы хвалят дракона: «Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии». Так длилось несколько столетий, пока не вырос собственный великий дракон — Великий Князь Московский, Иван Грозный, уже окончательно присвоивший себе титул, употреблявшийся раньше в России лишь по отношению к татарскому хану — *царь*. Царь теперь пользуется любым поводом, порой сознательно провоцирует своих будущих жертв, чтобы лишить подданных малейшей свободы. При нем окончательно устанавливается московский тип отношений.

Его суть — в выполнении обязанностей и полном отсутствии прав. На Московской Руси торжествует провокационно-охранительное насилие, *неправовое, но легитимное*. Это означает, что насилие вершит законный государь, но вершит его «неправым судом». В стране создается обстановка провокации, которая способствует расцвету доносительства и взаимной опаски среди жителей. Сошлюсь на Костомарова: «Создавши опричнину, Иван вооружил русских людей одних против других, указал им путь искать милостей или спасения в гибели своих ближних, казнями за явно вымышленные преступления приучил к ложным доносам. <...> В минуты собственной опасности всякий человек, естественно, думает только о себе; но когда такие минуты для русских продолжались целые десятилетия, понятно, что должно было вырасти поколение своекорыстных и жестокосердых себялюбцев, у которых все по-

<sup>3</sup> Ключевский В. О. Соч. В 9-ти тт. Т. II. М., 1988, с. 13

<sup>4</sup> Соловьев С. М. Соч. Книга II. История России с древнейших времен. М., 1988, с. 216.

мысли, все стремления клонились только к собственной охране»<sup>5</sup>. Господствует звериний индивидуализм, превращаясь в свою противоположность — *общинную охранительность, или коллективистское оборотничество*. То есть все одинаково преданы царю и следят, чтобы никто не выделялся выше общего ранжира. Именно этого рода псевдообщинность пробудилась в сталинский период, именно к ней, в сущности, взывают наши коммунопатриоты, именно о ней как о сути российской ментальности твердят теоретики вроде А. Зиновьева, О. Платонова и др. Но, помимо этого дьявольского коллективизма, на Руси были личности, своим примером указывавшие возможность иного пути, — русские святые.

В этот период, однако, как фиксирует Г. П. Федотов, русская святость впадает в летаргию, что «говорит об омертвлении русской жизни, душа которой отлетела»<sup>6</sup>. Уставное благочестие, обрядовое исповедничество заменяют живое личное искание Бога, способствуя расцвету насилия: «Если для Грозного самое ревностное обрядовое благочестие совместимо с утонченной жестокостью (опричина задумана как монашеский орден), то и вообще на Руси жестокость, разврат и чувственность легко уживаются с обрядовой строгостью. Те отрицательные стороны быта, в которых видели влияние татарщины, развиваются особенно с XVI века»<sup>7</sup>. Насилие, идущее сверху, от государства, влияло на народную ментальность, приучая народ к произволу. Совместными усилиями верхов и низов в России разразилась Смута, бывшая торжеством разбоя в общественной жизни страны и *следствием драконовских порядков Ивана Грозного*. По словам того же Костомарова, ужасные явления Смутного времени были выступлением наружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху Ивановых мучительств.

Святость, конечно, не замена правового строя, но любопытно, что она возрождается в постпетровский период<sup>8</sup>, когда усилием Великого Преобразователя Россия твердо вошла в Европу. *К несчастью, начиная с Николая I, русское правление пытается совместить два наследия — Ивана Грозного и Петра Великого*. Во имя общественной стабильности общество, как и при Иване, провоцируется на противоправительственные выступления, чтобы затем жесточайшими репрессиями загнать всех в казармы, добываясь всеобщего послушания. Свой корыстный интерес самодержавие прикрывает созданной добротами идеологией «православия, самодержавия, народности». Петровское же наследие требовало продолжения реформ и демократизации жизни. В царствование Николая II эти две тенденции пришли в непримиримое противоречие. С одной стороны, общественная жизнь была пронизана провокацией и общественными преступлениями (террор, экссы, поджоги дворянских усадеб). Как написал в романе «Петербург» Андрей Белый, в воздухе витало одно слово, и это слово было — *провокация*. Но с другой — втянутое в систему европейских правовых отношений государство уже не осмеливалось применить сверхнасилие для стагнации общественной жизни. Сочиненная в эпоху первого Николая идеология перестала работать, не соответствуя реалиям общественной жизни.

И режим утратил защитный слой. Вместо провокации, затеянной человеческим умом, Россия вступила в полосу *исторической провокации*, которая создается, говоря словами Пушкина, «силою вещей». Означала она одно: сумеет ли страна перейти к иному типу насилия — не государственно-легитимному, когда оно оправданно, а к насилию в пределах право устроенного общества, то есть к демократическим принципам. Но трагический парадокс исторического развития заключался в том, что творившееся снизу революционное неправовое насилие приобрело легитимный характер, ибо совершалось из высших, по сути, государственных целей, во имя лучшего устройства народа. Самодержавию нечего было предьявлять обществу, кроме своих личных интересов, которые уже не совпадали с общими интересами. Революционеры выступали *во имя идеи*. А по точному наблюдению Федора Степуна, пережившего две революции (большевистскую и нацистскую), в такой борьбе неминуема «победа мирозерцательного течения над интересократией»<sup>9</sup>. В результате этой исторической провокации не сумевшее демократически перестроиться российское самодержавие рухнуло, но и пришедшая демократия не нашла оправдывающих ее существование идей. За всеми поступками Временного правительства виделся голый

<sup>5</sup> Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3, с. 565.

<sup>6</sup> Федотов Г. П. Святые древней Руси. Paris, 1985, с. 189.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Ср. у Г. П. Федотова: «В бюрократической России, западнической по своей культуре, русская святость пробуждается от летаргии». (Там же, с. 234.)

<sup>9</sup> Степун Ф. Письма из Германии (Национал-социалисты). Современные записки. Париж, 1931, кн. 45, с. 458.



интерес «верхних десяти тысяч собственников». К власти пришли большевики, сумевшие по старому московскому рецепту (недаром перевели правительство в Москву) применением сверхнасилия выйти из ситуации исторической провокации. Оправдание своему сверхнасилию перед миром и перед собственным народом они нашли, разумеется, не в личном интересе, а в высшей идее — богоборчестве: то есть не только накормить народ, но дать ему новую идеологию. Как писал Степун, пусть большевики наплевали в лицо идеалу, но, соприкоснувшись с ним, они поднялись на уровень, с которого можно было все оправдать. В стране устанавливается тоталитарный режим.

### *Быть может, главный секрет*

О тоталитаризме написано много. Но, кажется, одно обстоятельство, о котором мне хочется сказать, находилось до сих пор в тени. Между тем оно раскрывает нам секрет этого явления.

Начну свое рассуждение с инвектив С. Говорухина, уверяющего, что у нас произошла в постперестроечный период «криминальная революция», в результате чего сложилось «уголовно-мафиозное государство». Понимая, что его могут спросить, какова же была природа сталинизма, Говорухин пытается теоретически разграничить напрашивающееся сопоставление: «Кое-кто скажет: а сталинское государство разве не было уголовно-мафиозным? Нет! Преступное государство и уголовно-мафиозное — не одно и то же. Власть Гитлера, безусловно, была преступной, но она не была уголовно-мафиозной»<sup>10</sup>. Можно было бы пренебречь этой не очень корректной манипуляцией с понятиями, если бы из подобного умозаключения не вытекало логически оправдание тоталитаризма. Ибо получается, что при тоталитарных режимах преступления совершались, но *не ради наживы, а во имя идеи*.

Что касается Гитлера, то здесь, пожалуй, достаточно свидетельства Бертольда Брехта. В пьесе «Карьера Артура Уи» он представил гитлеризм как победу уголовно-мафиозной шайки, а весь нацизм как криминальную систему, возведенную на государственный уровень. Стоит привести также и соображения одного из крупнейших русских философов XX в. — С. Л. Франка, пришедшего в результате наблюдения за советской и фашистской системами к мысли, что крушение гуманизма «привело мир к господству умонастроения и практики жизни разбойничьей шайки, потопило на наших глазах мир в море крови и слез»<sup>11</sup>.

Использование идеи для достижения своих вполне практических, без идейного оформления уголовно наказуемых целей и есть *секрет тоталитаризма*. Тоталитаризм, прикрываясь идеей, прячет свою уголовную сущность, более того, приобретает как бы законные черты высшего общественного устройства, а тем самым и социально-политическую легитимность. Этот новый тоталитарный мир ужаса и безумия начался с захвата власти в России большевиками.

Пожалуй, одна из самых страшных книг о российской судьбе (не менее страшная, чем «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицина или «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова) — это «Красный террор в России. 1918—1923» С. П. Мельгунова, русского социалиста и историка. Он собрал строго документальные свидетельства о зверствах, совершенных большевиками за первые пять лет их правления. Как показал Мельгунов, суть большевизма была *не в провозглашенных идеях, а в практике*.

Началось с *массовых* расстрелов — беззаконных, без суда и следствия — так называемых заложников, многих тысяч абсолютно неповинных мужчин, женщин, подростков, стариков и детей, начиная с шести — восьмилетнего возраста. Институт заложничества древний, но возник он во время войн: за спиной заложников родная страна, требующая и ждущая их освобождения. Большевики делают *заложниками соотечественников*, дух которых абсолютно сломлен тем обстоятельством, что они *захвачены своими*. Никогда до этого не было и массовых убийств заложников, если не считать гекатомб из рабов и пленных у варварских завоевателей.

В первые три года своего правления большевики создали «лагеря смерти»: так они и назывались (скажем, холмогорский). Случайно уцелевшие в этих лагерях заключенные «были настоящие мертвецы, еле двигавшиеся и смотревшие на вас неподвижным, непонимающим взором»<sup>12</sup>. В книге описаны многометровые желоба, наполненные кровью казненных; скальпирование; сдирание перчаток из кожи с кистей рук; сажание священников на кол; распятие на крестах; медленное поджаривание по частям в хлебных печах; выжигание на теле пятиугольных звезд; опускание в котлы с кипятком; обручи, при сдавливании дробившие череп; обливание на морозе холодной водой или мочой, что превращало заключенных в ледяные статуи; отрубание

<sup>10</sup> Говорухин С. Великая криминальная революция. С. 45.

<sup>11</sup> Франк С. Свет во тьме. Париж, 1949, с. 59 (разрядка С. Франка).

<sup>12</sup> Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918—1923. М., 1990, с. 127.

или отрывание ушей, ноздрей, губ, половых органов; запираание в ящике с разлагающимися трупами; убийства среди идущих в колоннах заключенных больных и ослабевших; насилия над женщинами, на глазах которых расстреливали мужей, заставляя обезумевших жен отмывать камеру от крови и мозгов убитых мужчин, а затем вынуждали сожигать с убийцами; сажание на раскаленную печь или сковороду; закапывание живых в землю (при раскопке врачи обнаруживали, что дыхательное горло жертв было забито землей — несчастные пытались дышать); разрывание тела колесами лебедек и т. п. и т. д.

Во имя чего это творилось? Каким словом назвать происходившее? Великий писатель Бунин это слово нашел: «С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос»<sup>13</sup> (курсив мой.— В. К.). И уже яснее ответ — кто делал и во имя чего. Социалист Мельгунов отводит обвинение от идеи, показывая *материальный интерес* сотрудников ВЧК. От вроде бы «мелочей»: палачам доставалась «одежда расстрелянных и те золотые и пр. вещи, которые оставались у заключенных; они «выламывают у своих жертв золотые зубы», собирают «золотые кресты» и пр.»<sup>14</sup>. До очень крупного и важного: образовался слой населения, который получил право не только на кровь, но и на сытную, вольготную жизнь. «В. Ч. К. в Москве,— пишет Мельгунов,— это своего рода государство в государстве. У нее целые кварталы реквизируемых домов — несколько десятков. Есть своя портяжная, прачечная, столовая, парикмахерская, сапожная, слесарная и пр. и пр. В подвалах и складах огромные запасы съестных продуктов, вин и других реквизируемых вещей, идущих на потребу служащих и часто не подвергающихся даже простому учету... В голодные дни каждый чекист имел привилегированный паек — сахар, масло, белая мука и пр. Каждый театр обязан присылать в В. Ч. К. даровые билеты и т. д.»<sup>15</sup>. Нечто подобное мы читали о гестаповских бонзах, пировавших, когда простые немцы голодали. Хотя просматривается и национальное сходство — с опричниной Ивана Грозного, тоже бывшей государством в государстве.

Но самое любопытное и культурологически показательное было то, что новые руководители страны, чтобы сохранить свою власть и оправдать массовые убийства своих подданных, прибегли к *провокации*. «Начиная с дела английского консула в Москве Локкарта, который был приглашен по инициативе Петерса на заседание фиктивного «комитета белогвардейцев» (как то впоследствии признала сама «Правда»), *вся деятельность чекистского «аппарата» строилась на самой грубой провокации, которой давалась санкция свыше*»<sup>16</sup> (курсив мой.— В. К.). Здесь явно сработал механизм культуры, воспроизводя еще дореволюционный *провокационно-охранительный принцип отношения государства к обществу*, принцип, укорененный в российской — татаро-московской и опричной — традиции.

### Сорок лет уголовного террора (1917—1956)

Провокация, однако, приобрела несколько иной характер. Новых хозяев России сильнее всего страшила независимость мысли, ибо она предполагала, что человек способен увидеть *несоответствие между провозглашенной идеей и практическими действиями*. Идеологических оппонентов ленинцы не боялись. Те выступали *против идеи*, идея же была признана и апробирована мыслителями Европы. Но не случайно устойчивая нелюбовь вождей партии к писателю Достоевскому, ибо он выявил этот принцип несоответствия как суть грядущего бесовства.

Уже в «Преступлении и наказании» он показал, как высокие идейные запросы обернулись элементарной уголовщиной. Идея служила Раскольникову как самообман, чтоб скрыть от него самого низость его преступления. В «Бесах» эта тема развернута шире. Революционер Петр Верховенский, толкающий соучастников вроде бы на политическое деяние — на политическое убийство, превращает их тем самым в обыкновенных уголовных преступников, в носителей зла, в бесов. А сам о себе он со смешком говорит: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» И тут же поясняет, кого он вербует в российское «социалистическое» движение: «Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши»<sup>17</sup>. Критерий подбора очевиден: уголовщина как приоритет. Эти речи его так откровенно провокационны, что беседующий с ним Ставрогин не

<sup>13</sup> Бунин Иван. Окаянные дни. М., 1990, с. 162.

<sup>14</sup> Мельгунов С. П. Красный террор в России, с. 141.

<sup>15</sup> Там же, с. 177.

<sup>16</sup> Там же, с. 180.

<sup>17</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. Т. 10. Л., 1974, с. 324.

выдерживает: «Слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?»<sup>18</sup>. Угадано все, вплоть до связей верхушки революционеров и с полицейской провокацией, и с уголовными элементами. И, наконец, в «Братьях Карамазовых» тема идеологии и преступления — центральная. Достоевский показывает, что идея для убийцы не более, чем камуфляж: Смердяков *использует идею Ивана как прикрытие и оправдание* своего реального уголовного преступления.

В начале этого века российский социум пытался перестроиться, в связи с этим *шло разрушение устоявшихся моделей взаимоотношений и на поверхность вылезли архетипы культуры, приглушенные было христианством, но еще не переработанные, не преобразованные в цивилизацию*. Эстетический нигилизм (как предвестие тоталитаризма) проявился в России не в меньшей степени, чем на модернизирующемся и вестернизирующемся далее Западе. Все гуманистические ценности были поставлены под сомнение. Цивилизация подверглась мощной атаке первобытных смыслов культур<sup>19</sup>. И русские художники, «символисты» и «модернисты», начинают не только искать красоту в пороке и носителях зла, но и *объявлять зло добром*. Более чем за десять лет до «Скифов» Блока Брюсов и Бальмонт написали по стихотворению с тем же названием и с той же гордостью за свое варварство. Причем мотив грабительского, бандитского пафоса господствовал. «У коней развеваются челки // Мы опять летим на добычу» (В. Брюсов, 1900). Или: «Саранчой мы летим, саранчой на чужое нагреем, // И бесстрашно насытим мы алчные души свои» (К. Бальмонт, 1904). Это был своеобразный бунт против нравственных норм и классических традиций.

Любопытно, что при этом многие клялись именем Достоевского, этот бунт угадавшего и проклявшего. Наиболее развернутое воплощение эта тенденция получила у «властителя дум» Леонида Андреева. В письме Вересаеву (апрель 1905 г.) он так резюмировал свои впечатления от первой русской революции: «Гадаю надвое: либо победят революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно-радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля. Если кадеты, — то в Европе прибавится одной дрянной конституцией больше, новым рассадником мешан. Наступит история длинная и скучная. <...> Здесь, в Европе, я понял, что значит уважение к закону, болезнь ужасная, почти такая же, как уважение к собственности»<sup>20</sup>. Итак, новая земля — это земля не только вне закона и собственности, но и вне истории. А в романе Андреева «Сашка Жегулев» (1911) революционер, сошедший с уголовниками и разбойниками, изображен вполне иконописно, как ангел Божий. И «христианской» печалью овеваны слова писателя о своем герое, напоминающем ему Христа: «Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был <...> он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил»<sup>21</sup>.

После такой *профанации подвига Христа* уже понятно блоковское приятие и оправдание «двенадцати» — разгулявшихся солдат-бандитов, простодушно понимающих социальный протест и революционную деятельность как месть и убийство. Застрелив несчастную гулящую Катюку («Что, Катяка, рада? — Ни гу-гу... // Лежи ты, падаль, на снегу!...»), провозглашают: «Революционный держите шаг! // Неугомонный не дремлет враг!» Символ русского грабежа — пожар — грозит распространиться на весь земной шар. Причем сами убийцы и разбойники вполне искренне призывают на свое дело Божью благодать:

Мы на горе всем буржуам  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —  
Господи, благослови!

Блок побаивается своих героев, и все же они *под пером поэта оказываются двенадцатью апостолами, создателями нового мира*.

Этот мир и состоялся за семьдесят лет советской власти. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын показал, что, по существу, вся страна стала большим концентрационным лагерем, где правили преступники: уголовники бытовые и прикрытые политической идеологией. Характерна *проговорка Сталина*, назвавшего бандитов *социально близкими*. Эти «социально близкие» и верховодили в стране, осуществив

<sup>18</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. Т. 10. Л., 1974, с. 300.

<sup>19</sup> См.: Кантор Владимир. Артистическая эпоха и ее последствия. По страницам Федора Степуна. Вопросы литературы, 1997, № 2.

<sup>20</sup> Вересаев В. В. Собр. соч. В 4-х тт. Т. 3, М., 1985, с. 395.

<sup>21</sup> Андреев Леонид. Собр. соч. В 6-ти тт. Т. 4, М., 1994, с. 73.

лелеемую с Бакунина мечту, что русская революция будет оплодотворена разбойничьим началом. Так и произошло, правда, если сказать точнее, она была изнасилована. У Валерия Чалидзе есть замечательная книжка «Победитель коммунизма» (New York, 1981), где он показывает, что Сталин совершил контрреволюцию не просто националистическую, но антикоммунистическую. Причины этого переворота между тем непонятны, если мы не примем в расчет, что уничтожались именно те, *кто верил в идею*. Пахану нужны были не люди с идеями, а способные к выполнению его указов *шестерки*. Но это получилось у него только потому, что *бандитское начало с первых дней Октября господствовало внутри самой революции*.

Перед Западом, однако, надо было выглядеть прилично. У Запада были деньги, которые всегда нужны бандитам. Открытая бойня первых лет революции прекращается, она приобретает характерную черту тоталитаризма — тайну. Строй назван строем *социалистической демократии*. На поверхности — вроде бы правовой подход, суды, хорошо инсценированные процессы, которым верили европейские гуманисты. Скажем, Фейхтвангер отверг как примитивное «предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены к признанию»<sup>22</sup>. Писателю это предположение казалось бульварной выдумкой, ибо степень и изощренность тоталитарного насилия еще не были осознаны. Хотя он увидел и культ личности «вождя всех народов», и то, что тот «обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь»<sup>23</sup>. Вождь и стал гениальным режиссером поставленных процессов-спектаклей, добившись того, что во время суда (по наблюдению Фейхтвангера, им самим непонятому) «судьи, прокурор, обвиняемые — и это не только казалось — были связаны между собой узами общей цели»<sup>24</sup>. Ситуация страшная — как из кошмаров Кафки. Сталин, так сказать, формализовал и запрокодирил террор, как и подобало канцеляристу партии, ее генеральному секретарю. В этом он был близок своему двойнику Гитлеру, создавшему с немецкой тщательностью чудовищную «бухгалтерию смерти».

Существенно, однако, отметить, что все процессы строились по уголовному сценарию. Политические противники обвинялись во вполне уголовных преступлениях: поджогах, убийствах, диверсиях. Привыкшая к уголовщине власть просто не понимала, что политический протест и духовное противостояние имеют иную сущность. Как замечал Варлам Шаламов, «верх юридического совершенства сталинского времени — ...заклучался в амальгамах, в склеивании двух преступлений — уголовного и политического... Найти и приписать уголовщину чистому политику и было сутью «амальгамы»<sup>25</sup>.

Политические оппоненты власти, именуемые «врагами народа», содержались в тюрьмах *вместе* с настоящими уголовниками. Уголовники верховодили в местах заключения, помыкая и заставляя себе прислуживать всех остальных, не входивших в криминальные структуры. Об этом писал академик Российской академии медицинских наук А. И. Воробьев: «Власть держала сторону уголовных, превращаемых в своеобразную аристократию лагерей и тюрем. *Сотрудничество с уголовниками разлагало охрану, администрацию и неотвратимо вело к сращиванию системы правления с уголовным миром*»<sup>26</sup> (курсив мой. — В. К.). И понятно, что это сращение происходило не только в лагерях. Об уголовных связях и коррупции членов Политбюро — вплоть до семьи генсека — написано немало. Существенно также отметить, что тоталитарно-уголовный паразитизм (когда внутренние силы народа, его самостоятельность не развивались, появление независимых личностей подавлялось) среди прочих бед привел страну к поражению в «холодной войне», а затем — «для поправки дел» — и к бездарной афганской авантюре. Тут-то режим и осознал свой крах. И начал искать выход.

### ***Имитация как преобразующая общество сила***

Когда говорят о нашей демократии, что она-де во всем виновата, то ничего, кроме иронии, это утверждение не вызывает. Когда же были у нас во власти убежденные и подлинные демократы? Может, страной руководил академик Сахаров? Приходится опять вспомнить «Дракона» Шварца, навевающего ассоциации из нашей политической жизни последнего десятилетия. Когда дракон был повержен рыцарем

<sup>22</sup> Фейхтвангер Лион. «Москва 1937». Таллинн, 1990, с. 77.

<sup>23</sup> Там же, с. 51.

<sup>24</sup> Там же, с. 83.

<sup>25</sup> Шаламов В. Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996, с. 289.

<sup>26</sup> Воробьев А. И. По обе стороны колючей проволоки. Воля. Журнал узников тоталитарных систем. 1993, № 1, с. 28.

Ланцелотом, власть захватил служивший при драконе бургомистр, объявивший себя *президентом вольного города* и уверявший горожан: «Рабство отошло в область преданий, и мы переродились». Но так ли это? Президент-бургомистр остался по сути таким же насильником, каким был дракон. Однако все горожане за него. И его бедная жертва, девушка Эльза, обращается к согражданам: «Я думала, что все вы только послушны дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники! <...> Неужели дракон не умер, а, как это бывало с ним часто, обратился в человека? Тогда превратился он на этот раз во множество людей, и вот они убивают меня».

Что же произошло на самом деле? На самом деле — попытка дракона сменить обличье. Прикрывавшая господство уголовников идеология разлезлась по швам, истлела, да к тому же номенклатура хотела жить спокойно, не опасаясь репрессий какого-нибудь нового пахана. Наворованное предыдущими поколениями партийцев добро позволяло жить более или менее спокойно. Хозяева страны уже были в возрасте, устали от тотального страха и постоянного ожидания гибели: думаю, фактор геронтократии в помягчении режима сбрасывать со счетов не стоит. Убийства сотоварищей по партмафии становятся редкими, а главное, тайными. Обществу больше не сообщается о расправах правящей верхушки. Даже выброшенные из Политбюро не расстреливаются, а отправляются на пенсию. Облик коммунистической партии становится внешне более респектабельным (объятия и поцелуи с западными политическими деятелями). Ее верхушка хочет спокойно пользоваться присвоенным богатством.

Партноменклатура вывела себя из зоны обстрела, из зоны охоты на людей, а следом волей-неволей из этой зоны было выведено и остальное общество. Ибо *партия теперь призывает все члены общественного тела, как кровеносные сосуды*. Массовый террор перестал быть необходимостью. Его заменило идеологическое принуждение. Это был следующий этап в принятии цивилизованных форм существования. Возникла и более сложная структурированность социума. Всеобщее образование — европейское по своим ценностям — способствовало появлению гигантского слоя советской интеллигенции, желавшей принять *цивилизацию как норму жизни*. Как и прежняя российская интеллигенция, этот слой европеизировался, *духовно преодолевая* эмпирию российско-советского быта. Он-то и дал первых реальных критиков режима — правозащитников и *диссидентов*. Соблюдая приличие перед цивилизованным миром, их уже не расстреливали. Хотя большинство арестовывали и «сажали», но наиболее заметных либо после нескольких лет увещаний и газетной травли, либо после нескольких лет заключения высылали на Запад (А. Солженицын, В. Буковский, А. Зиновьев и др.).

Начиная с хрущевско-брежневского периода, в воздухе носилась идея о «социализме с человеческим лицом». Горбачев вроде бы осуществил ее, объявив о перестройке. Похоже, что *имитация свободы* входила в замысел перестройщиков, чтобы развязать себе руки для юридического оправдания раздела общегосударственной собственности, распределения ее между членами верхнего звена партийного клана. Хитроумный замысел аппарата не учитывал, однако, весьма важного обстоятельства — загнанных до того времени в подполье национально-освободительных движений, заглушенной, но не замиреной борьбы провинций с центром. *Провинции пренебрегли сложившимся ритуалом произнесения фраз без их реального воплощения и потребовали действительной свободы*. На какой-то исторически важный момент их требования совпали с желанием республиканских партийных элит осуществить и «приватизацию власти», стать независимыми ханами в распадающемся большом советском улусе. И тогда центральная партноменклатура перестроечного режима прибегла к способу, классическому и не один раз испытанному в российской культуре, — *гигантской провокации насилия*, чтобы, подавляя его сверхнасилием, подавить и возникший элемент свободы. Эти провокации прошли по всем равным к самостоятельности республикам. Начиная с Сумгаита, по стране прокатились неслыханно жестокие бандитские погромы, жестокость которых акцентировалась в центральных газетах, словно бы вызывая к отмщению, к наведению порядка. И вот в Ереван входят танки. «Затикал механизм удушения народов... — так описывает события конца 80-х правозащитник Валерий Сендеров. — Перестройщики сочтут удачным ереванский эксперимент, *единый почерк провокации* (курсив мой. — В. К.) будет проступать все ясней — от Тбилиси до Вильнюса, от Риги до Баку... Потом будут появляться команды карателей из «Центра» — в свой черед (позже узнаем мы, что и команды посылались одни и те же)<sup>27</sup>. И все же Союз распался, поскольку не в интересах партноменклатуры было удерживать его целостность. Жестокости ей хватало,

<sup>27</sup> Сендеров В. Это — наша война. М., 1993, с. 17.

но идея целостности мешала идее частнособственнического присвоения. Страна, построенная по принципу войска, потерпела поражение, и партийные «воначальники», бросив ее, спасались кто как мог, набивая *свои собственные карманы* еще уцелевшим добром.

В этой ситуации неожиданную для аппарата силу проявила интеллигенция, громогласно выступившая с требованием демократически-правовых отношений. На гребне этого духовного противостояния потерявшему равновесие режиму явились так называемые реформаторы. После того как был сломлен августовский путч романтиков большевистского централизма (ГКЧП), новая власть объявила себя демократической, ориентированной на западноевропейские ценности. Перед верхушкой, как я уже говорил, давно стоял вопрос о собственной безопасности, освобождении от прямой зависимости личного преуспеяния с политическим положением во власти — иными словами, о превращении привилегий в деньги, а политического превосходства в экономическое. И *социально близкие* (партийная и уголовная верхушка) оседлали демократическую революцию начала девяностых годов, как они делали и раньше, — *использовав своих оппонентов*. Не случайна шутка сатирика Михаила Задорнова, что у власти в нынешней России ЦК и ЗК. А потом, если применять господствующий в наших политических верхах блатной жаргон, демократия была «опущена».

Партия с готовностью отказалась от надоевшей всем идеологии. Но не забудем предсказание, сделанное в 1927 году наблюдательным европейцем Вальтером Беньямином: «Если и в Россию проникнет европейское соединение власти и денег, то коммунизм в России обречен, страна же и, возможно, даже партия — нет»<sup>28</sup>.

И в самом деле, не надо ведь забывать, что в креслах «демократов» сидят прежние партийные чиновники, а стало быть, изменение фразеологии и приемов руководства не изменило ничуть цели их жизнеповедения. Суть его все та же — уголовная. Но вот идейное прикрытие ими осуществляется весьма слабо. Беззастенчивый грабеж страны, ведущийся, как говорят школьники, *вняглюю*, бесит, ибо выталкивает большинство населения за черту бедности.

Надо, однако, сказать, что *нынешняя имитация демократических институтов чревата неожиданными последствиями*. Пусть лучше бывший чиновник-партократ корчит из себя демократа с «западным оттенком», чем «социалистического демократа» — непреклонного большевика, готового перешагнуть через горы трупов. Ведь *имитация предполагает определенный тип поведения, определенные поступки*, которые в свою очередь формируют духовное состояние общества, его ценности, его устремления.

Почему это происходит? Прежде всего потому, что тоталитаризм *стал невыгоден*. Да и невозможен в России. Научные усовершенствования и новые технологии способны решить проблемы, решаемые раньше рабским трудом. Отказаться же от научных новшеств — значит поставить страну в невыгодное военно-стратегическое положение. А дракон обычно живет со своими жертвами одной жизнью. Парадокс в том, что именно этой единой жизни со своим государством и не хватает населению, привыкшему быть несамостоятельной частью целого. Опасность не в коммунистах, а в их электорате. Этот электорат на самом деле не против насилия, но за то, чтобы необходимость его диктовалась высшими соображениями государственного порядка. Как говорил у Шварца рыцарь Ланцелот про жителей освобожденного им города: «В каждом из них придется убить дракона». Необходимо изменение типа насилия как первое приближение к обществу открытого типа.

Дракон все последние годы по-прежнему продолжал паразитировать на подвластном ему народе. Невольно вспомнишь мистические интуиции Даниила Андреева (в «Розе мира»): Россией правит мрачный Уицраор, пожирающий собственных подданных. Мое предчувствие 1992 года о возврате коммунистических репрессий скорее всего было вызвано настроением, царившим между двумя путчами. Но дракон был слишком умен, чтобы снова садиться в ту же, уже прохудившуюся лодку. Даже почти пришедшей к власти нынешней КПрФ не остается ничего другого, как имитировать, насколько у них получается, демократический стиль жизни. Требование восстановить памятник Дзержинскому — явный прокол. Историческая провокация на сей раз завершается в России сравнительно мирным образом — ни у власти, ни у оппозиции нет новых глобальных идей.

Стало жить хуже или лучше? Не пытаюсь даже дать однозначный ответ, чтобы не встать в позицию всевидящего и всепонимающего судьи, могу сказать одно:

<sup>28</sup> Беньямин Вальтер. Москва. В кн.: Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996, с. 191.

произошли существенные социоструктурные изменения, которые, как и положено изменениям такого рода, создали новую конфигурацию действительности. Как показывают современные социологические исследования, из нашей жизни ушла *идеологическая тотальность*. То есть ни недавно господствовавшие партийно-коммунистические идеи, ни православие, которое государственная элита попыталась было сызнова превратить в «идеологию всего русского народа», не определяют отныне самой сути жизнеповедения российских жителей.

По крайней мере очевидна происходящая ныне *делегитимизация* насилия в посткоммунистической России. Бандитские отряды, хоть и недоступны бессильным правоохранительным органам, но *внезаконны*. Они не являются частью *официальной* государственной машины. Насилие, по удачному выражению Карла Шлёгеля, *приватизировано*<sup>29</sup>. Государственное насилие, когда каждый без вины мог оказаться арестованным, замученным, расстрелянным «органами правопорядка», нынче представляется обывателю ушедшим в прошлое. Это ощущение начало просыпаться уже со времен Брежнева, хотя дракон тоталитаризма сохранял тогда все старые повадки. Сегодня он шевелит хвостом и лапами, в состоянии провоцировать насилие и пытаться управлять общественным сознанием, но даже крайне правые и крайне левые, ностальгически вздыхающие о могучем драконе прошлого, вынуждены *публично* выступать против массового тоталитарного террора.

Это, разумеется, не означает, что общество излечилось, что к прошлому нет возврата. Пример Чечни говорит о другом. Не вдаваясь в ее оценку, замечу лишь, что против войны в Афганистане публично выступил один академик Сахаров. Его шельмовали, травили, сослали в Горький. Против чеченской бойни, называя ее преступной войной, криминальной войной, выступил позднее С. А. Ковалев, выступали газетчики, журналисты, теле- и радиокомментаторы, даже некоторые военные и политики. И слабые попытки государственной пропаганды заткнуть им рот успеха не имели. Не только о концлагерях, но по большей части даже об увольнении с работы не было и речи. И это, безусловно, говорит о том, что насилие не только делегитимизировано, но и деидеологизировано. Оно стало явным. А такое изменение типа насилия означает первое приближение к открытому обществу.

Конечно, идет борьба за приоритеты, преобладание той или иной группки, за захват рынка (литературного или нефтяного — все равно), но за этими частными поползновениями мелких мерзавцев уже не углядишь большой идеологии, которая оправдывала бы *большой террор* тоталитаризма, о котором писали Гроссман, Шаламов, Солженицын. Общество такой идеологии не принимает. И это говорит о принципиально новом отношении к насилию, переходу к насилию другого типа — европейскому. Конечно, радости мало: насилие всегда насилие. Но, став делегитимизированным и деидеологизированным, оно рано или поздно перестанет быть препятствием на пути к созданию более цивилизованных отношений.

Возможно, инъекцией европейского образа жизни, временным превращением по крайней мере части страны в «Немецкую слободу» подготавливается приход нового русского реформатора в духе Петра Великого. Явится ли он в ближайшие годы — кто знает? Во всяком случае, другого пути у распадающейся на части России нет. Все прежние уголовно-паразитические замашки власти, основанные на идеологии *драконовских порядков*, будут способствовать еще большему разложению и хаосу. И тем более не смогут вывести страну из кризиса. Вместе с тем печальный вариант развития событий представляется тоже вполне реальным, ибо, издыхая сам, дракон, разумеется, постарается утащить за собой и страну, втянув ее в новую опустошительную войну, которая приведет если и не к глобальной катастрофе, то уж наверняка к окончательному распаду.



<sup>29</sup> Шлёгель К. Новый порядок и насилие. Вопросы философии, 1995, № 5, с. 15.

## Январь, февраль

Уже составление хронологии — вещь довольно сомнительная. Как изобразить события, бывшие одновременно, однако на листе бумаги способные занять место лишь друг за другом. О писании истории и говорить не приходится, иначе почему любого историка, и самого добросовестного, обвиняют в предвзятости? Он вынужден выбирать, заполняя пустоты собственными домыслами и гипотезами. И представляется, что правильнее было бы не вести повествование год за годом, а использовать какой-нибудь иной, произвольный принцип. Не пересказывать XX век, а сгустить его до гипотетического года, и на каждый день этого года предложить по одному-единственному событию со своими не очень обширными комментариями (впрочем, и выбор, предпочтение есть безмолвный комментарий).

Поясню на конкретном примере. В разные годы 1 января произошли следующие события: открылась Транссибирская магистраль, Кастро сбросил режим Батисты на Кубе, подписана Декларация Объединенных Наций. Как размышлял составитель? В первую очередь он отверг вариант с Кастро (хотя бы потому, что иногда это событие датируется 1—2 января и, значит, не совсем подходит формально). Выбор сузился. Теперь надо решить, что важнее для культуры — декларация о намерениях или реальный экспресс, идущий через Европу и Азию. Но об Организации Объединенных Наций еще будет речь. И, главное, поезд, преодолевающий два континента, — уже символ договорившихся наций, символ стабильности и прогресса. Следовательно, выбор предпринят.

Итак, события, значение которых (большее или меньшее) для уходящего века несомненно. А если кто-то сомневается, важно ли то или другое, составитель попытается убедить скептиков. Век закончен, начинается время трактовок и каталогов.

### Январь

**1.1.1905.** Открылась Транссибирская магистраль, представляющая возможность проехать от Парижа до Владивостока за 21 день. Казалось, противостояние Запада и Востока закончилось, их шила, пронзив насквозь, дорога. Войны и революции показали, что надежда на это призрачна. На самом деле постройка такой магистрали — духовная авантюра или по крайней мере чрезвычайно преждевременна.

**2.1.1905.** Русские сдали японцам Порт-Артур — событие, значимое само по себе, но приобретающее дополнительный смысл, если вспомнить, что Транссибирская магистраль открылась только вчера.

**3.1.1988.** В газете «Известия» появилась первая реклама. Целая газетная полоса была отдана французской индустриальной компании, другую делили три компании: советская, западногерманская и бельгийская. Таким образом Россия не просто вступила в «цивилизованный рынок», где покупаются и вещи нематериальные (пространство чистого листа, то бишь, иными словами, этакое ничто). Хотя, по известному афоризму, весь мир — пропаганда, она обладала разными качествами. Слоган «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым!» или скромное «Храните деньги в сберегательной кассе» не имели ничего общего с западной рекламой. Отличительной чертой рекламы советской была вербальность, неизобразительность. Она и не скрывала, что является разновидностью пропаганды. Западная реклама эту связь старалась замаскировать. Но уже одно то, что она проникла в сакральное пространство советской газеты, возло ее в статус рекламы политической. А советская газета была сакрализована от первой строки до последней, даже программа передач своей неподвижностью, абсолютностью проходила по ведомству символики. И — парадоксально — лишь частные объявления (большей частью траурные) оказывались вне сакральности, за них платили реальные рубли и копейки, а публиковали в самом конце, будто снисходительно одалживая. Впрочем, на объявлении специализировались газеты особого типа, вроде «Вечерней Москвы», не начинавшей день, предписывая его течение в передовице, а констатировавшей факт — день прошел.

**4.1.1923.** Ленин в постскрипуме к своему «завещанию» рекомендует заменить Сталина на посту Генерального секретаря. По логике вещей такое «завещание» следовало бы выкрасить или подчистить. Сталин не сделал ни того ни другого. И во всех смыслах оказался прав. Культ ленинского бессмертия, возникший чуть позже, довел все до абсурда: завещание человека, в силу обстоятельств бессмертного, не имеет никакого значения.

**5.1.1919.** Антон Дрекслер, мюнхенский водопроводчик, образовал германскую рабочую партию, которая позднее была преобразована Гитлером в нацистскую. Вдумываясь в данный факт, следует ставить ударение не на слове «нацистская», а на слове «водопроводчик». Приход в политику непрофессионалов — своего рода знак. Довольно сомнительно, способен ли современный водопроводчик образовать свою партию, хотя люди очень схожих профессий демонстрируют, что такое возможно. Последствия известны.

**6.1.1918.** Умер Георг Кантор, немецкий математик, работавший над теорией множеств. Парадокс здесь в том, что теория множеств — один из подходов к проблеме бессмертия.

**7.1.1932.** Умер Андре Мажино — французский политик, предложивший создать укрепления на границе, которые, как ожидалось, должны были сдерживать наступление немцев при новой войне. Всего через семь лет оказалось, что жизнь его была напрас-



ной. Он попросту не понимал характера времени, как не понимали многие. **8.1.1918.** Мирная программа президента Вильсона. Среди предложений, способствующих завершению первой мировой войны, выдвинута идея о создании Лиги Наций, чтобы впредь решать конфликты мирным путем. **9.1.1929.** Александер Флеминг использовал пенициллиновый бульон, с успехом излечивший воспаление у его ассистента. Опыт проходил в Пэджингтоне, в госпитале Св. Марии. **10.1.1920.** Официальный конец первой мировой войны и ратификация Версальского договора. **11.1.1922.** Четырнадцатилетний подросток, страдавший диабетом, стал первым человеком, которому помогла инъекция инсулина. **12.1.1950.** Восстановление в СССР смертной казни для шпионов, изменников и вредителей. Исправление законодательства меняло структуру всего общества. Единство его, приобретенное в страшной войне, рушилось изнутри. **13.1.1942.** Принятие конференцией представителей союзных стран в Лондоне декларации о наказании военных преступников. **14.1.1938.** «Белоснежка и семь гномов» — первый полнометражный мультипликационный фильм на «Техноколоре» Уолта Диснея вышел на экраны США. Из развлечения мультипликация становилась частью большого кинематографа. **5.1.1912.** Итальянский самолет сбросил первые в мире пропагандистские листовки в ходе итало-турецкой войны 1911—1912 годов. Листовки предлагали золотую монету и мешок пшеницы или овса каждому арабу Триполитании (Ливии), который сдастся. Листовки, засыпавшие потом весь мир на протяжении века, ставили любого, к кому были обращены, в положение не сдавшегося араба, а политика в очередной раз продемонстрировала, что действует методами, схожими с рекламой. **16.1.1920.** Соединенные Штаты Америки ввели сухой закон. Подпольное производство спиртных напитков и их продажа привели к тому, что американцы потребляли больше алкоголя во времена сухого закона, чем когда-либо прежде. Эта история никого, кажется, ничему не научила (антиалкогольные кампании в СССР родились из клинического незнания истории). Однако Америка получила неисчерпаемую тему для кино. **17.1.1912.** Опоздав на месяц, капитан Роберт Фелтон Скотт достиг Южного полюса, опередил его норвежец Амундсен. **18.1.1939.** Умер Иван Мозжухин, русский киноактер, замечательно сыгравший в фильмах «Пиковая дама» и «Отец Сергей». Тем не менее прославился он двумя вещами чисто мифическими. Во-первых, он считается (за неизмением документов принимают в расчет внешнее сходство) отцом французского писателя Романа Гари (он же — Эмиль Ажар). Во-вторых, во всех учебниках и энциклопедиях, где упоминается «эффект Кулешова», сказано, что советский кинорежиссер, изучавший проблемы монтажа, поставил опыт, смонтировав именно лицо Мозжухина с тремя разными объектами (тарелкой супа, детским гробом и...), получив три совершенно различных монтажных эффекта. «И» с отточием присутствует потому, что на самом деле подобного опыта не было. Жизнь Мозжухина, освещенная мерцающим светом кинопроектора, оказалась совершенным мифом, и потому смерть его — единственное, что есть подлинного в его жизни. Это экзистенциальный акт еще до появления экзистенциализма. Характерно, что упомянутому Гари, умудрившемуся прожить как бы несколько жизней одновременно (под разными именами он дважды получил литературную премию, которую присуждают автору лишь единожды), расстаться с жизнью было куда труднее. Его самоубийство не стало экзистенциальным актом, и смерть наступила с опозданием — мать продолжала получать письма, заранее написанные сыном, и после его гибели. **19.1.1915.** Первый налет германских цеппелинов на Англию вызвал беспорядки. Англия оказалась не так уж сильно удаленной от материка. **20.1.1965.** Умер Алан Фрид, диск-жокей, о смерти которого вовсе не стоило бы упоминать, если бы не единственное придуманное им слово, отметившее целый период культуры. Этот человек выдумал термин «рок-н-ролл». **21.1.1924.** Со смертью В. И. Ленина завершился короткий, хотя чрезвычайно важный и трагичный отрезок советской истории. И пока перераспределялась власть, одновременно решался вопрос: что делать с телом? Какая бы то ни была форма похорон при отсутствии веры в бессмертие души означала бесповоротный конец подобной государственной формы. Смертный человек мог продолжать свое существование в существовании вечного государства, но при условии, если само государство искуплено чьим-то бессмертием. Нет души, надо возможно дольше продлить бытие тела, тем более в надежде, вдруг наука сможет когда-нибудь тело вновь оживить. Проекты саркофага и мавзолея трактовали смерть Ленина как форму сна. Так идея государственного устройства была спасена. Ленинское тело стало залогом того, что деяния его небезцельны. Ленин ждал часа своего воскресения, чтобы сделаться преемником самого себя. Выдвинутый через много лет лозунг «Сталин — это Ленин сегодня» свидетельствовал о том, что концепция государственного устройства серьезно пересмотрена. Именно тут кроется причина, почему тело Сталина впоследствии вынесли из мавзолея. За вполне искренним, пусть популистским жестом посмертного воздаяния неистолкованное чувство: мавзолей — особое место, сталинское тело в физическом бессмертии не нуждается. **22.1.1901.** В Осборн-хаусе на острове Уайт умерла восьмидесятидвухлетняя королева Виктория. Именем этой женщины названы долгий период английской истории, который действительно был, и особый художественный стиль, которого на самом деле не было. Существовал викторианский стиль жизни, викторианский роман, даже викторианская порнография (самая жуткая за все время развития этого жанра, порнобизнес не в силах даже при-

близиться к ней по изощренности). Зато подобного художественного стиля не существовало, его заменяла полная бесстыдность. По всей видимости, свершения в политике, основывающиеся на единстве цели и усилий, отрицают единство в искусстве. И наоборот. **23.1.1950.** Израильский парламент объявляет столицей страны Иерусалим, несмотря на то, что в другом секторе города, являющемся владениями Иордана, остались исторические памятники и святыни. Реальные объекты отошли на задний план, уступив место символу. **24.1.1919.** Большевицкое руководство приняло директиву о расказачивании. Трактовать этот поступок можно по-разному. Если считать казаков особым народом, перед нами факт геноцида. Если считать казачество лишь социальной группой — это реструктуризация общества. **25.1.1955.** СССР прекращает состояние войны с Германией спустя десятилетие после окончания военных действий. **26.1.1930.** Советские спецслужбы похитили в Париже белого генерала А. П. Кутепова, что свидетельствует не просто о превосходной организации дел в соответственном департаменте. В первую очередь это свидетельство об особой проницаемости грани, реорганизации пространства, еще не явного никому, кроме самых чутких. **27.1.1973.** В Париже подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Соглашение и три протокола к нему подписали представители четырех сторон, участвовавших в переговорах по Вьетнаму: ДРВ, РЮВ, США и Республика Вьетнам. А «вьетнамский синдром» уже порастил большинство американцев. Освобождаться от него они начнут только во время операции «Буря в пустыне» много лет спустя. Война с Ираком стала прививкой для нации, собирающейся жить счастливо и долго. **28.1.1986.** Американский космический корабль многоразового использования «Челленджер» взорвался на 75-й секунде после старта. Экипаж из семи человек погиб. **29.1.1916.** Покуда немецкие цеппелины впервые бомбили Париж, британские танки приняли первое сражение в Хертфордшире. Пример политического равновесия в XX веке. **30.1.1968.** Новогоднее наступление (имеется в виду лунный календарь) вьетнамских войск. Американцы в ужасе поняли, что война ими, по сути дела, проиграна. **31.1.1901.** Первое представление чеховской «Чайки» в Московском Художественном театре. Пьеса была реабилитирована после провала в столице.

### Февраль

**1.2.1979.** Ливерпульские могильщики прекратили свою забастовку, приведшую к длинной очереди гробов, ждущих погребения. Борьба за социальные привилегии иногда принимает самые причудливые формы. **2.2.1907.** Умер Д. Менделеев, знаменитый русский химик. Самое любопытное, что ученый, составивший периодическую таблицу элементов, кажется, полностью основанную на материалистическом подходе к явлениям действительности, интересовался спиритизмом и даже сочинил на этот счет несколько книг. **3.2.1970.** Лондонская полиция арестовывает фильм Энди Уорхола «Плоть». Затем начатое уголовное дело было прекращено, а копия фильма и кинопроектор возвращены. Отсутствие грани, отделяющей жизнь от искусства (или непристойности), не дает возможности юридически оценить то или иное деяние. Порою это оборачивается произволом властей или безнаказанностью творящего. **4.2.1928.** Нацисты протестуют в Мюнхене против выступлений американской певицы Жозефины Бейкер. А через год ей и вовсе было запрещено выступать из-за «бесстыдного поведения» на сцене. Хотя тут сыграла роль и расовая дискриминация (американка была чернокожей), выступления ее и вправду шокировали публику, равно как и сценические костюмы (вернее, их отсутствие). **5.2.1918.** Одно из первых распоряжений новой российской власти — отделение церкви от государства и от школы. Мера чисто конъюнктурная, но, если взглянуть на нее не с позиций политики, а с точки зрения здравого смысла, верная: человек должен сам определять собственное отношение к религии, причем определять в зрелом возрасте. Навязывать что бы то ни было — и религиозность, и атеизм — значит совершать насилие над личностью. **6.2.1928.** В Нью-Йорке тридцатипятилетняя женщина заявила, что она Анастасия, младшая дочь Николая II, и что ей удалось избежать смерти во время расстрела царской семьи. Зародился еще один современный миф. **7.2.1984.** Американский астронавт первым вышел в открытый космос без страховочного троса. Автономность и полная независимость человеческого индивидуума утверждались уже не только на Земле, а транспонировались за ее пределы. **8.2.1924.** Ги Джон, член китайской банды, удостоился чести быть первым в мире человеком, казненным в газовой камере. Казнь была совершена в американской тюрьме, штат Невада. **9.2.1979.** Умер Д. Габор, английский физик. Самое важное его изобретение — голография — имеет значение не только прикладное. Скорее голография есть торжество нового философского принципа. Образ теперь мог существовать отдельно от предмета, с которым он был связан, а связи между ними сделались опосредованными. Возникновение голографии, рожденной чисто прикладными задачами (они, кстати, не были до конца решены), означает не столько новые перспективы развития для физики, сколько новые общетеоретические и даже онтологические проблемы. Физик о том даже не подозревал. **10.2.1942.** Американский музыкант, руководитель оркестра и композитор Гленн Миллер был удостоен первого в мире золотого диска за то, что

официально было продано более одного миллиона копий пластинки «Дорога на Чаттанугу» (первой неофициально проданной пластинкой, чей тираж превысил миллион экземпляров, предположительно была пластинка Э. Карузо). Судьба Гленна Миллера также типична для нашего века: самолет, на котором он летел, бесследно исчез. Причины исчезновения остались невыясненными. **11.2.1929.** Так возникают в XX веке новые государства. На основании Латеранских соглашений между итальянским правительством, возглавляемым Б. Муссолини, и папой Пием XI Ватикан стал независимым. 109 акров земли сделалась суверенным государством. Папа признал итальянское государство, в дела которого он обязался не вмешиваться, оставляя за собой лишь вопросы религии. **12.2.1912.** В Китае последний император отрекся от трона. Времена великой империи ушли безвозвратно. **13.2.1934.** Погиб пароход «Челюскин». Экипаж высадился на льдину, началась эпопея спасения. Несколько летчиков, участвовавших в эвакуации челюскинцев, первыми в СССР были удостоены звания «Герой Советского Союза». Родился еще один миф нового века, на сей раз миф социалистический. История спасения подробно запечатлена в книге, ставшей раритетом. **14.2.1918.** В России был введен григорианский календарь. Новое государство по-прежнему вписывалось в мировое сообщество и мировую историю. Но столь своеобразным способом все предыдущее развитие страны как бы выносилось за скобки (или же было ограждено ими), теперь события, происшедшие до определенного момента, обозначались двумя датами. **15.2.1971.** В Англии введена десятичная денежная система. Страна отказалась от привычной системы исчисления. Англичанам, гордящимся собственным консерватизмом, подобное решение далось нелегко. Принесло ли это какую-либо ощутимую пользу, остается только предполагать. **16.2.1960.** Первая атомная подводная лодка, которая должна была обогнуть земной шар под водой, отправилась в путь. Это была американская субмарина «Тритон». **17.2.1987.** Группа тамил-мужчин разделась до белья в лондонском аэропорту «Хитроу». Тамилы не желали возвращаться обратно в Шри-Ланку. Борьба за свободу выбора, они использовали способ, казалось бы, совершенно неожиданный. На самом деле разоблачение, обнажение означает полную капитуляцию, бессилие перед обстоятельствами. Культурный код легко прочитывается (или по крайней мере был так прочитан). **18.2.1930.** В обсерватории Лауэлл в США открыта планета Плутон. Открытие это не стало неожиданностью. Оно являлось результатом изучения серии фотоснимков, сделанных в предыдущем месяце. Опять-таки это не было частным открытием, а знаменовало отказ от стратегий мышления, используемых в прошлом. Индукция и дедукция ушли. Планомерные эмпирические исследования и выработанные на основании их выводы — вот что явилось основой этого научного открытия. **19.2.1906.** Вильям С. Келлог образовал «Бэтл Крик Тоустед Корнфлекс Компани». Началось производство хлопьев для завтрака, которые предназначались пациентам, страдающим нервными расстройствами. Наступало время специальных, сублимированных, продуктов питания. **20.2.1932.** Л. Д. Троцкий лишен советского гражданства. Судьба его, по сути, была уже предreshена. **21.2.1988.** Место захоронения Боудикки, царицы британского племени икенов, в 61 г. н. э. сражавшейся с римлянами в Британии, обнаружено археологами под платформой железнодорожной станции «Кингс Кросс» в Лондоне. Представители британской железной дороги заявили, что они только что отремонтировали платформу, и любой, кто хочет произвести раскопки, должен иметь на то самые весомые основания. **22.2.1946.** Доктор Селман Эбрахам Уоксмен объявил об открытии стрептомицина. **23.2.1944.** Начало массовой депортации ингушей и чеченцев, которых обвинили в пособничестве врагу. Здесь одна из причин возникновения спустя многие десятилетия конфликтов. **24.2.1938.** В Нью-Джерси начали продавать нейлоновые зубные щетки — первый в мире продукт, произведенный из нейлона. Ровно год спустя в магазинах США появились первые нейлоновые носки. **25.2.1994.** Еврейский поселенец расстрелял в храме несколько десятков молившихся палестинцев. Даже храмовое пространство перестало быть сакральным. **26.2.1935.** В Англии впервые продемонстрирован радар (радиодетектор). Он был использован для определения расстояния. **27.2.1933.** Пожар в здании берлинского рейхстага. Нацисты забирали власть в свои руки, и пожар стал символом будущих перемен. **28.2.1921.** Началось Кронштадтское восстание. Обычно его толкуют как борьбу за свободу несогласных с большевистским правительством. Возможно, и так. Но какая свобода предполагалась? Чрезвычайно сомнительно, что жить в государстве матросов, украшенных женскими украшениями, с размазанными помадой губами и при этом с маузером в руке — свобода более предпочтительная, чем существование под властью большевистской. И мораль, и нравственные критерии этих матросских революционеров с моралью среднего человека несовместимы. Недаром, помещенные в камеру с профессиональными уголовниками, матросы повергали в ужас даже этих много повидавших людей. **29.2.1960.** Хью Хеффер открыл свой первый плейбой-клуб в Чикаго. Именно там появились банны-герлс — девушки-официантки, одетые как кролики, с пушистыми хвостиками на скудно прикрытых попках.

# Литературная критика

## «Это светлое имя — Пушкин»

Эдуард ШУЛЬМАН

### Весёлое имя

**М**ы, россияне, не сильны в хронологии. Но есть даты, которые помнят, наверное, все. Например, 1799—1837. Между ними — жизнь Пушкина.

Поэт родился в Москве 26 мая, а по-нынешнему — 6 июня. На Немецкой улице (покамест еще Бауманской). В ветхом домике с дырявою крышей. Двор, узкий и длинный, упирался в ручей, который впадал в Яузу. На берегу реки росли вековые деревья.

Пушкины нанимали флигель у чиновника Скворцова — сослуживца Сергея Львовича по Военному комиссариату... Что же, выходит, отец классика был военком?.. Шутим, читатель, шутим. Не зря же сказал Блок: «Веселое имя — Пушкин!»

Но приведем для внятности точную цитату:

*Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она трагическая.*

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе,  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе.

Итак, разбрасываем перед вами нашу пушкинскую мозаику — пестрое собрание баек, основательных и не основательных, без расчета на глубокомыслие, лишь с надеждою на улыбку.

### Предыстория

Записанный с малолетства в Измайловский полк, Сергей Львович Пушкин переведен был при государе Павле Петровиче в гвардейский Егерский. И не мог отстать по службе от некоторых привычек. Питал, говорят, какое-то отвращение к перчаткам, постоянно терял их или же оставлял дома.

Будучи приглашен на бал к высочайшему двору, он, по обыкновению, не позаботился об этой части своего туалета. И оробел порядком, когда государь, грозно подступая к нему, изволил осведомиться по-французски:

— Отчего не танцуете?

— Я позабыл перчатки, ваше величество... — пролепетал в смущении молодой офицер.

Государь поспешно снял собственные и, подавая, сказал с улыбкой:

— Вот вам мои! — Взял Сергея Львовича под руку и, с ободрительным видом подводя к даме, напутствовал: — А вот вам и пара!

Это была, по преданию, Надежда Осиповна Ганнибал.

### Истоки

Иван Алексеевич Бунин с удивлением вспоминал, что были такие времена, когда взхлеб читали «Песню о Буревестнике»: буря, скоро грянет буря!

Да ведь Горький идет за Некрасовым:

Душно! Без счастья и воли  
(Трам-тарарам-нам-нам-нам!)  
Буря бы грянула, что ли  
(Трам-тарарам-нам-нам-нам!)

А Некрасов, простите, за кем?

Взыграйте, ветры, взroyте воды,  
Разрушьте гибельный оплот!  
Где ты, гроза — символ свободы?  
Промчись поверх невольных вод!

То есть вод, которые в неволе... Так-то, Иван Алексеевич, все он, веселый А. С.

Располагаемый ниже текст написан рукою Пушкина, однако же выпал (по ображениям содержательного и стилистического единства) из «Путешествия в Арзрум». Время обратило его в маленький рассказ, вполне законченный и самостоятельный.

*Мы ехали из Арзрума в Тифлис. Наш конвой — тридцать человек казаков возвращались на родину. Впереди показался линейный полк. Казаки, узнавши земляков, поскакали навстречу, радостно паля из пушечек и ружей.*

*Обе толпы смешались и обнялись, не слезая с коней, в облаках дыма и пыли. Обменявшись известиями, станичники расстались. Ветер доносил выстрелы. Охрана догнала нас.*

— Какие вести? — спросил я урядника. — Все ли благополучно?

— Слава Богу, — отвечал он. — Старики живы, жена здорова.

— А давно ты из дому?

— Три года. А надлежало служить год...

— А скажи, — прервал молодой артиллерийский офицер, — жена не родила без тебя?

— Ребята говорят — нет.

— И не гуляет?

— Помаленьку, слышно, бывало...

— Что же, побьешь ее?

— Да зачем? Кто без греха...

— А у тебя, брат, — спросил я другого казака, — так ли честна хозяйка?

— Моя родила, — отвечал тот, скрывая досаду.

— И кого Бог дал?

— Сына.

— Поучишь ее?

— Да посмотрю. Коли сена припасла на зиму — может, прощу. А нет — так и побью.

Я подивился простоте нравов.

— А и побьешь, — сказал урядник, — кому хуже?.. Вон старик Черкасов смолоду был дюж да горяч. Поколотил хозяйку, а после всю жизнь с нею маялся, с калекой. А тут у сына такая ж беда. Только он руку на молодую поднял — старик к нему: «Иван, — говорит, — посмотри на мать». Так и ты, — продолжал урядник, — жену-то прости, а незаконного своего почаще пускай по дождю гулять...

— А правда, — спросил я, — что ты с ним сделаешь?

— Да что делать? Корми да отвечай, как за родного...

— Сердит! — шепнул мне урядник. — Теперь жена и не подступись — прибьет до смерти.

— А каких лет у вас женят? — спросил я.

— Да по четырнадцатому году...

— Не рано? Муж-то сладит с женой?

— Ничего! — усмехнулся урядник. — Свекор-то, если добрый, подсобит. Вот у нас старик Суслов женил сына и сделал себе внука.

Почему не женился Пушкин на Анне Алексеевне Олениной — существует специальная литература. Я ее не читал. По лености. И чтоб не сбиться с мысли. Помню лишь анекдот, что, когда сватовство расстроилось, приятели вроде бы потешались: мол, остался с оленьими рогами... Ведь рисовал уж в черновиках разные вензели и расписывался по-французски: Аннет Пушкина...

А все — будущий тесть, укоряют исследователи. Такой и сякой. Член государственного совета... Прознал, что Пушкин под тайным надзором, и отказал.

Да, человек высокой культуры. Директор Публичной библиотеки. Президент Академии художеств. Друг Фонвизина и Крылова... Но в малом теле оказалась маленькая душа...

Имеются, впрочем, и другие причины. Так или нет, Анна Алексеевна Оленина (1808—1888) надолго застряла в девичестве, вышла замуж в зрелых годах, и не знаю, обзавелась ли потомством.

Нет (поздняя сноска), знаю: обзавелась. И прямой ее внук (или правнук?) отбил невесту у молодого Набокова.

Поздней осенью Пушкин писал из Тригорского:

*...делать нечего! Все кругом говорят, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера встретилась мне знакомая баба, которой не мог не сказать я, что сильно переменялась.*

*А она:*

*— Да и ты, мой кормилец, состарелся. Да и подурнел!*

Но что это была за женщина, которой Пушкин «не мог не сказать»? То есть понимал, что говорить не следует, однако же вырвалось... Уж не та ли самая, которую в давние времена углядел лицейский приятель, когда навестил опального поэта и в девичьей собрались швеи...

*Я тотчас заметил одну фигурку, резко отличающуюся от других... Впрочем, Пушкин прозрел шаловливую мою мысль — улыбнулся значительно. Я в свою очередь мигнул ему, и все было понятно без слов.*

*...говорили, что связь Пушкина с дворовой девушкой была прочной и длительной, основанной на взаимном чувстве. Она дала поэту душевное равновесие и внутренний покой, благодаря чему появился, в частности, «Борис Годунов».*

*«J'enrage et je suis à vos pieds»*, — так Пушкин писал Анне Петровне Керн.

Вот ее перевод: «Я мучусь от бешенства и целую ваши ножки». А вот — из Собрания сочинений: «Я бешусь, и я у ваших ног». Следующая фраза: «*Mill tendreness à Ермолай Федорович*». Перевод Керн: «Тысячу любезностей Ермолаю Федоровичу». В Собрании сочинений — «тысячу нежностей».

Полагаю, что ножки и поцелуи имели место. А иначе зачем тысяча нежностей?.. Переписка велась по-французски, кстати сказать, потому, что супруг Ермолай Федорович хотя и генерал, однако не овладел галантным наречием.

Сманивая Керн в гости, Пушкин клятвенно обещал:

*Я буду весел в понедельник, неутомим во вторник, нежен в среду, проворен и ловок в четверг, а в пятницу, субботу и воскресенье — буду всем, чем прикажете.*

Нечто близкое зарифмовал Маяковский. Не оттого, наверное, что прочел Пушкина, — просто в силу поэтического сродства:

Хотите — буду от мяса бешеный  
и, как небо, меняя тона...

Хотите — буду безукоризненно нежный,  
не мужчина, а облако в штанах.

Все помнят известный рисунок: пятеро повешенных — и сбоку рукою Пушкина:

*И я бы мог... и я бы мог, как шут...*

Поэт давно уже выпущен из деревни, обласкан и прощен. Живет в Москве и забегает к Анне Петровне Керн. Та как раз трудится над письмом — сестре в Малороссию. А Пушкин, должно быть, торопится или просто ему невтерпеж, — вырывает листок и тут же дописывает от себя, даже вроде бы не присев:

Когда помилует нас Бог,  
Когда не буду я повешен,  
То буду я у ваших ног,  
В тени украинских черешен.

*И я бы мог... И я бы мог...*

*Из утерянных донесений*

— Отчего, Александр Сергеевич, философия бунтует?

— Оттого, сударыня, что народ смирно сидит.

На вопрос, зачем не уедет он за границу, сочинитель ответил:

— Представьте себе страну с населением в 100 человек, из коих 99 тронулись умом, один же вроде бы сохранил разум. И вот, коли сей последний Отчизну свою покидает, — что получается?.. Полностью сумасшедшая страна.

*Поэзия должна быть глуповата*

У Пушкина еще вставлено: *прости Господи*. Иными словами, «будто бы» глуповата. Вроде того. Такая, что ли, смешливая оговорка. Не формула, а шутка с намеком... Прибавьте: «глуповатый» — не глупый. Как «простоватый» — не простой. А «солоноватый» — не пересоленный.

Рассмотрим, однако, данное положение на классическом примере:

Город пышный, город бедный,  
Дух неволи, стройный вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит —  
Все же мне вас жаль немножко,  
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка,  
Вьется локон золотой.

Классик и сам ощущал некоторую неловкость, о чем говорит тире между строфами. И верно ведь: кому жаль? кого жаль? при чем маленькая ножка + золотой локон?

Привожу для смеха замечательный комментарий из Собрания сочинений:

*В стихотворении дана характеристика Петербурга. Последние строки относятся к Олениной.*

Дескать, вписал в альбом и забыл? А уж исследователи потом по клочкам собирали?.. Ничуть не бывало! Пушкин напечатал стихи в «Северных цветах» в 1829 году... Вот с той поры и смеется над нами. Пожимает плечами, машет рукой. Мол, действительность, как известно, состоит из жизни и смерти. И мостик меж ними — не логика, а тире.

Или, если угодно, гармония. Простенькая мелодия, добываемая из флейты.

О том же читай у Набокова:

Орлы мерцают вдоль опушки.  
Нева, лениво шелестя,  
как Лета льется. След локтя  
оставил на граните Пушкин.

Другое стихотворение:

Мой Пушкин бледной ночью, летом,  
сей отблеск объяснял своей  
Олениной, а в пенье этом  
сквозная тень грядущих дней.

Свое стихотворение (поздняя сноска) посвятил Набоков невесте. Тут-то и подвернулся внук (или правнук?) Олениной.

*Еще раз*

Город пышный, город бедный.  
Дух неволи, стройный вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит —  
Все же мне вас жаль немножко,  
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка,  
Вьется локон золотой.

Как уже установлено (и не нами), главная задача позднего классика — сочетание несочетаемого. А наследники занимались разъятием. Блок, скажем, сочинил стихотворение, развивая лишь первую строфу:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
 Бессмысленный и тусклый свет.  
 Живи еще хоть четверть века —  
 Все будет так. Исхода нет.  
 Умрешь — начнешь опять сначала,  
 И повторится все, как встарь:  
 Ночь, ледяная рябь канала,  
 Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912 года

Пушкин в отличие от Блока не датировал стихов. Но, вероятно, они совпадают месяцем: следующее стихотворение в Собрании сочинений — «19 октября 1828 года».

Занятно, что Ходасевич, который сознательно переписывал классиков, соединил оба мотива — «все повторится» и «маленькую ножку»:

И что ж? Могильный камень двигать  
 Опять придется над собой...  
 Опять любить и ножкой дрыгать  
 На сцене лунно-голубой?

А что два Александра (Пушкин и Блок) переключались — услышала Ахматова:

Он прав: опять фонарь, аптека,  
 Нева, безмолвие, гранит...

### ПИСЬМО

Александра Сергеевича Пушкина,  
 направленное

Александрю Христофоровичу Бенкендорфу  
 24 ноября 1831 года

*Генерал!*

*Пользуюсь случаем обратиться к Вам по чисто личному делу.*

*Около года назад в одной из наших газет опубликована сатирическая статья о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, тогда как его мать — мулатка, отец которой, бедный негр-ритенок, был куплен матросом за бутылку рома.*

*Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня. Ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра.*

*Ввиду того, что непристойность зашла так далеко и о моей матери говорилось в фельетоне, а наши журналисты не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, притом весьма круто. И послал свой ответ покойному Дельвигу с просьбою поместить в печати. Дельвиг отсоветовал... однако несколько списков пошли по рукам, о чем ничуть не жалею, ни от единого слова не отступаясь.*

*Поскольку стихи мои будут, возможно, приняты за косвенную сатиру на известные фамилии (в то время как это — очень сдержанный ответ на заслуживающий крайнего порицания отзыв), я счел своим долгом, Генерал, объяснить Вам, в чем дело, и приложить стихотворение, о котором идет речь.*

Речь идет о стихотворении «Моя родословная», что отыщете вы в любом почти «Избранном» или в Собрании сочинений. Если позволите, мы остановимся на отдельных упоминаемых лицах (главным образом — родственниках), поскольку Пушкин (в том же письме к Бенкендорфу) говорил: «Я чрезвычайно дорожу именем предков — единственным, что досталось в наследство».

Но предварительно — легендарный факт. Когда выпускали академического Пушкина (1937), пробный сигнальный том просмотрел товарищ С. И высказал легкое недоумение: тут, проворчал, стихов меньше, чем примечаний... В результате на долгие годы лишились мы комментариев. И кое-каких комментаторов. Но, даст Бог, со временем обретем.

### Примечания в 13 пунктах

1. О Бенкендорфе. 9 сентября 1830 года Пушкин сообщал Афанасию Николаевичу Гончарову, деду своей невесты: «Бенкендорф — человек снисходительный,



благонамеренный и чуть ли не единственный вельможа, чрез которого доходят к нам частные благодеяния Государя».

2. Стихотворение «Моя родословная» открывалось в черновике эпитафией по-французски. Из Беранже:

Я простолюдин. Просто простолюдин.  
Простолюдин. Простолюдин.  
Простой простолюдин.

3. «Что касается стихов,— заметил Николай I,— он лучше бы сделал, если бы не распространял их». В житейском плане император, возможно, и прав. Но список предположительно попал к юноше Лермонтову и отозвался в «Смерти поэта»: *вы, жадно толпой стоящие у трона... Анна Андреевна Ахматова говорила, что «Моя родословная» рассорила Пушкина с высшим обществом.*

4. «*Не торговал мой дед блинами*» (как Меншиков), «*не ваксил царских сапогов*» (как Бутурлин, Румянцев, Ягужинский и прочие денщики Петра I), «*не пел с придворными дьячками*» (А. Г. Разумовский — тайный муж Елизаветы Петровны), «*и не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин*» (Клейнмихель — дежурный генерал при Николае I; к нему, Клейнмихелю, обращалась бабушка Лермонтова, не отпустят ли внука в отставку).

5. «*Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил; его потомство гнев венчанный, Иван IV пощадил*».

Рача, или Радша. «Прииде из немцев муж честен именем Радша». Однако же современником Александра Невского не был,— поселился в Новгороде столетием раньше. «Имя предков моих,— писал Пушкин,— встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал Ивана Васильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных».

Рача,— указано Ю. В. Давыдовым,— невысокий.

6. «*Когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы к оной руку приложили*». О том же — и прозою: «Четверо Пушкиных подписались под грамотой об избрании на царство Романовых».

7. «*С Петром мой пращур не поладил и был за то повешен им*».

Федор Михайлович Пушкин, участник стрелецкого заговора, повешен 4 марта 1697 года.

8. «*Мой дед, когда мятеж поднялся средь петергофского двора, как Миних, верен оставался паденью Третьего Петра*». Мятеж — восшествие на престол Екатерины (1762). Дед — Лев Александрович Пушкин, артиллерист — два года отсидел в крепости.

9. «*Я Пушкин просто, не Мусин*». Граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин (1798—1854). Направляясь на Кавказский фронт (1829), Пушкин встретил его в Новочеркасске.

*Я сердечно обрадовался,— пишет поэт.— Он едет в огромной бричке — род укрепленного местечка. Мы прозвали ее отрадною. В северной части хранятся вина и съестные припасы, в южной — книги, мундиры, шляпы и т. д., с западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, саблями. На каждой станции выгружается часть съестных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше.*

(Две реплики в скобках: I. Как малорослый человек Пушкин со страстью уважал все обширное: широкую бричку, высокую Наталью Николаевну... II. Это письмо использовал Тьнянов в «Смерти Вазир-Мухтара» — для путешествия Грибоедова... Но к делу, к делу!)

В отрадной той бричке Пушкин-«просто» и граф Мусин-Пушкин прикатили в Тифлис.

10. «*Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкипера попал*».

Фиглярин — Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859), писатель сложной судьбы и подмоченной репутации, которую невинно слегка бы и подсушить (см.: Фаддей Булгарин. Сочинения. М, 1990).

«*Сидя дома*», то бишь высасывая из пальца, сочиняя. И вот что сотворил «вдохновенный» Фаддей:

*...какой-то поэт в Испанской Америке, происходя от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его — Негритянский Принц. В Ратуше доискались, что в старину*

*был процесс между шкипером и помощником шкипера за этого Негра, которого каждый хотел присвоить, и шкипер уверял, будто купил Негра за бутылку рома.*

«Черный дед мой Ганнибал» — Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал (1697—1787), русский военный инженер, генерал-аншеф (1759). Родился в эфиопской княжеской семье. Семи лет (как заложник) отправлен в Константинополь, откуда вывезен в Москву и подарен Петру I. Учился во Франции, занимался инженерными работами в Кронштадте, на Ладожском озере, в крепости Селенгинск. Написал книгу о военно-инженерном искусстве. Выдвинулся при Елизавете. В отставке с 1782 года. Прадед Александра Сергеевича Пушкина.

Зной Африки родил, хлад кровь его покоил,  
России он служил — путь к вечности устроил.

11. *«И был отец он Ганнибала, пред кем средь чесменских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые Наварин».*

Ганнибал Иван Абрамович (1737—1801) — генерал-поручик (1779), сын Абрама Петровича Ганнибала, дед Пушкина. Окончил морской корпус, направлен на флот. Служил в артиллерии. В Чесменском бою, командуя десантом, взял Наварин (10 апреля 1770). Второе Наваринское сражение случилось уже на памяти Пушкина, в 1827 году.

12. *«Решил Фиглярин вдохновенный: я во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? Он?.. он в Мещанской дворянин».* На Мещанской улице в Петербурге располагались веселые дома. И тут по присловью: «В корчме и в бане — все равные дворяне».

Современники укоряли Булгарина, что жену свою подобрал будто бы в тех самых развеселых домах на Мещанской улице.

13. Стихотворение «Моя родословная» напечатано через полвека после написания.

### О том же

*Пушкин изображал сестру бессарабского губернатора Мадонной и на руках у ней — младенцем — генерала Шульмана.*

В нашем классе было два Шульмана, и мы как-то заспорили, что означает эта фамилия. Шустрый Алик самостоятельно изучал немецкий и сообразил так: Schule, — говорит, — школа, а Mann — человек. И Шульман — получается — ученый человек.

Я обрадовался и вечером доложил бабушке. Она прыснула, как девчонка, опровергая Алика. Дескать, чтоб да, так нет! Schule — действительно, по-немецки школа. А на идише — родном языке наших предков — еще и храм, синагога. Дом учения. Шуль.

— А ман? — спросил я.

— А Mann — правильно, человек.

— Что ж, Шульман, выходит, поп?

— Нет! — фыркнула бабушка. — Всего лишь церковный служака.

На другой день я снова схватился с Аликом, но был побежден — и доводами, и кулаками.

Шмыгая носом, побитый припеллся домой. Бабушка накормила меня, выспросив невзначай, что приключилось. Затем принесла том Пушкина и прочитала вслух «Мою родословную»:

Смеясь жестоко над собратом,  
Писаки русские толпой  
Зовут меня аристократом...  
Поди, пожалуй, вздор какой!

Сразу же, с голоса (что звучит во мне по сей день), я выучил эти стихи и утром орал на уроке: «Не торговал мой дед блинами!..» Наша рыжая Марья Ивановна в обалдении уставилась на меня. Окна дрожали от моего ора:

Я — грамотей и стихотворец!  
Я — Пушкин просто! Не Мусин!  
Я не богач, не царедворец!  
Я сам большой! Я мещанин!

— Какая нация! — сказала Марья Ивановна, отдувая рыжую прядь. — Какая нация — жидки-то наши! В них дьявол сидит...

И Алик захохотал — единственный, кто усек, откуда что.

Потому что Марья Ивановна передавала нам «Историю моей голубятни» — рассказ Исаака Эммануиловича Бабеля. Как мальчик поступал в гимназию, декламировал на экзамене Пушкина и учитель — из негодующих и румяных московских студентов, — учитель произнес ту самую фразу, что Марья Ивановна повторила.

Потом она возвратилась к стихотворению, с подробностью объяснив, кто именно смеется над собратом, чей дед торговал блинами, чей наблещивал сапоги, чей пел с дьячками...

Тут Алик поднялся с места, излагая наш спор насчет фамилии. Кто прав — он или я? Шульман — ученый человек или церковный служака?

— Не знаю. — И Марья Ивановна тряхнула прической. — Разберитесь-ка меж собой...

С тех пор минуло много лет. А еще больше — кануло. Марья Ивановна поседела. Алик сделался крупным ученым — профессором и членкором. А я так и остался — просто Шульман.

Вот что записал Пушкин на книжной закладке:

Воды глубокие  
Плавно текут,  
Люди премудрые  
Тихо живут.

А поэт Георгий Иванов — в Париже, в кафе, на залитом вином мраморном столике:

Голубая речка,  
Зябкая волна.  
Времени утечка  
Явственно слышна.  
Голубая речка  
Предлагает мне  
Теплое местечко  
На холодном дне.

### Памяти Гумилева

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.  
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем  
медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин.

(Владимир Набоков)

«Серебряный век» угасал в августе: 7 августа не стало Блока, 11 августа — Волошина, 24 августа расстрелян Гумилев, 31 августа повесилась Марина Цветаева... А все — не иначе — потому, что 25 августа 1794 года, в процессе великой революции, сложил голову Андрей Шенье — самый русский из французских поэтов, от лица которого Пушкин воскликнул: *о, други!*

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный  
И, долго слушая, скажите: это он...  
Вот речь его... А я, забыв могильный сон,  
Взойду неведомо и сяду между вами...  
И сам заслушаюсь...

26 августа скончался Георгий Иванов. И, если помните, Пастернак на «шестое августа по-старому» запланировал свою смерть... Да ведь он явился на свет 29 января (10 февраля по-нынешнему) — в день, когда ушел классик.

Нет, не сходится: Андре Шенье казнили месяцем раньше, 25 июля.

В 1872 году князь Вяземский писал:

*Дантес был виноват перед Пушкиным, как и многие виноваты перед многими, как и сам Пушкин был не раз виноват... Участвовал ли француз в подметных письмах? Всего вероятнее — не участвовал. Потому что не имел никакой пользы.*

*Послание же Пушкина таково, что будь Дантес хоть сто раз русский, все равно обязан был драться. Остальное — дело случая. Сказано, что Пушкин искал гибели. Вовсе нет: уже смертельно раненный требовал ответного выстрела. И произвел его.*

*В первую минуту и сгоряча Лермонтов придал поединку некоторое общественное значение. Да и сам был очень молод... Но поднимать шум теперь есть не что иное, как патриотическое пустословие.*

*Когда сестры Гончаровы переехали в Петербург и поселились под одной крышей, в городе пошли пересуды. Говорили, что в доме — слезы и толчея. Наталья Николаевна нашла будто бы на супружеском ложе нателный крестик Александры Николаевны...*

Александра Николаевна Фризенгоф-Гончарова, дожив до преклонных лет — а было их восемьдесят, — пережила всех сестер и братьев, которые появлялись без передышки: в 1808 году — Дмитрий, в девятом — Екатерина, в десятом — Иван, в одиннадцатом — сама Александра Николаевна, в двенадцатом — Натали...

И как тут не вспомнить Анну Каренину, которая объясняет Долли, что детей больше не будет. Долли ужасается и как бы внутренне всплескивает руками. А все объяснение состоит из одного-единственного, во всю строку многоточия:

.....  
Вот и Наталья Николаевна, точно как Долли, за шесть лет супружества принесла четверых. А там еще дети от Ланского...

А бедная Екатерина Николаевна — она из них, кстати, самая бедная, в смысле: несчастливая, неимущая, — и за шесть лет с Дантесом тоже принесла четверых. И раньше всех, самую молодую, кончилась родами.

А сестра Александра Николаевна в сорок лет только вышла замуж, уехала к мужу в Словакию (тогда Австро-Венгрия) и в родовом баронском гнезде на склоне дней рассказывала, как Пушкин посредством княгини Веры Федоровны Вяземской передал заветное кольцо.

Как княгиня Вера Федоровна прибежала с этим кольцом и как она, Азя, Александра Николаевна, пошла к умирающему...

А Таша, измученная, спала тут же.

Она, Азя, Александра Николаевна, взяла его за руку, и Пушкин сказал по-английски, что хотел бы прожить, как Шелли. Очень страдал. Обычно дурное произношение внезапно исправилось. Ее глаза выдавали недоумение: *Шеллий?*

Ах да! Британский поэт, аристократ, древнего рода...

Женился на трактирщице, порвал с семьей, бежал в Ирландию, бунтовал. Оставил трактирщицу с двумя детьми. Нашел любимую...

А трактирщица удавилась, а детей ему не дают...

Уехал в Италию, венчался... И канул в шторм на пути в Ливорно.

— Как Шелли, — шептал классик, — как Шелли!

#### Примечания

1. Пушкин умер 29 января (10 февраля) в 2 часа 45 минут пополудни.

*Никогда на лице его, — говорил Жуковский, — не видел я такой глубокой, величественной, торжественной мысли. На устах сияла улыбка — как бы отблеск несказанного спокойствия.*

2. Доктор Вильям Гутчинсон, «умный афей», у которого Пушкин брал уроки «чистого атеизма», за что и был выслан из Одессы в северную деревню, — доктор Гутчинсон рассказывал вроде бы нашему поэту о Шелли.

3. В библиотеке Пушкина (в дошедшей до нас части) есть три книги с присутствием английского романтика. В одной (Ли Хант. Байрон и некоторые его современники. Лондон, 1828) подчеркнуто продольной чертой (не Пушкиным ли?) следующее место:

*Покинув усадьбу, Байрон нагрянул к Шелли, который был ошеломлен его появлением и дал поэту немного денег. Выглядел Байрон столь ужасно, что Шелли подумал: кто поможет ему, если не я...*

4. В тот же день, 29 января (10 февраля), в разные годы родились: Василий Андреевич Жуковский, Борис Константинович Зайцев, Борис Леонидович Пастернак, Александр Моисеевич Володин...

### Незафиксированная встреча Пушкина и Греча

14 декабря сошлись они будто бы на прежней Сенатской площади и беседовали о событиях... Греч изумлялся, что заговорщики, в большинстве военные, получая содержание от правительства, против него-то и выступали.

— Похлопочи об отставке,— укорял Греч,— а после готовь возмущение. Но, принявши денежки, грех бунтовать! Где же тут честь и совесть, Александр Сергеевич?

— Эх, Николай Иванович! — вздохнул Пушкин.— Правительство, как известно, средств своих не имеет, а распоряжается казенными суммами, взятыми у народа... А с народом они расквитались. И дай нам Бог всякому долги свои в той же мере платить.

— Нет! — засмеялся Греч.— В той же мере — увольте.

26 января 1837 года скончался сын Греча — студент Петербургского университета, мальчик семнадцати лет. На другой день, уже доставленный с поединка, Пушкин просил доктора Спасского:

— Если увидите Греча, кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

Пушкин родился, чтоб стать военным,— уверял современник.— Но непременно бы сгинул в первом сражении.

А другой:

*Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал высшей невозмутимостью... Когда дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед.*

Накануне дуэли приехала из деревни Евпраксия Николаевна Вревская — прежняя соседка по Тригорскому, и Пушкин приоткрыл ей свои планы. Вот они в изложении брата Евпраксии Николаевны, Алексея Николаевича Вульфа:

*...он не искал смерти. Напротив, надеясь застрелить Дантеса, располагал заплатить лишь новую ссылкою в Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то, на свободе, предполагал заняться составлением истории Петра Великого.*

Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Необработанный отрывок,— говорит комментатор.— В рукописи — план продолжения:

*Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу,— тогда удались он домой.*

*О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические — семья, любовь, etc.— религия, смерть.*

Похоже на перевод с английского: *It's time, my friend, it's time...  
Пора, мой друг, пора!..*

*...несколько раз подавал руку, сжимал и говорил:*

*— Ну, подымай же меня, пойдем... да выше, выше... ну, пойдем! — Опамятавшись, сказал: — Мне было пригрезилось, что лезу по этим книгам и полкам... высоко... голова закружилась..*

Так пишет Владимир Иванович Даль. Не расходится с ним и Василий Андреевич Жуковский. Ни в чем. За исключением, пожалуй, одного слова. У Даля — «лезу по книгам и полкам». У Жуковского — «лечу».

В небесном метафорическом смысле прав скорее Жуковский. Но Пушкин, наверное, прошептал «лезу»: недаром в Лицее дразнили его обезьяной.

Василий Андреевич Жуковский, обращаясь к отцу поэта, выразил чувство, от которого мы — вот уже полтора века — никак не очнемся:

*Нашего Пушкина нет... Еще по привычке продолжаешь искать, ожидать встречи... еще среди разговоров как будто отзывается голос, раздаётся живой ребячески веселый смех... и там, где он бывал ежедневно, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте... а Пушкин пропал, и навсегда. Непостижимо...*

О воскрешении классика рассказывает Набоков. История непростая. Прежде всего создан мемуарист — некто Сухощёков. Даже с инициалами — А. Н., — для достоверности не раскрытыми. И замечательной книгой под тривиальным (в целях опять же пущего правдоподобия) названием — «Очерки прошлого». Отрывок, сочиненный Набоковым, можно бы озаглавить:

### **Пушкинский отблеск**

*Говорят,— писал Сухощёков,— что человек, которому отрубили ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина.*

*До сих пор у нас в Курской губернии живет столетний старик, которого помню уже пожилым человеком, придурковатым и недобрый... а Пушкина нет. Между тем в течение долгой жизни я часто задумывался, как отнесся бы он к тому, к этому: ведь мог бы увидеть освобождение крестьян, прочитать «Анну Каренину».*

*Вспоминаю, что в юности мне было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжен с лицом, которое назову Ч. Будучи в тридцать шестом году за границей, Ч., совсем юноша, повздорил с отцом, героем, к слову, Отечественной войны, и в компании с какими-то куницами преспокойно отбыл в Бостон, а затем — в Техас, где успешно занимался скотоводством.*

*Прошло лет двадцать. Нажитое состояние Ч. проиграл, потом отыгрался, снова все просадил... вдруг заскучал по России и с той же беспечностью вернулся в Европу.*

*Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам. Глядя на этого заморского щеголя, мы с братом едва удержали смех. И тут же воспользовались тем, что он ровно ничего не слышал о родине, точно она куда-то провалилась.*

*Ч. был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем ввали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин и что пишет, я кощунственно отвечал: «Как же, на днях тиснул новую поэму». В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр.*

*«Посмотрите, кто с нами рядом,— вполголоса обратился мой братец к Ч.— Да вот, справа от нас».*

*В соседней ложе сидел старик. Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких взъерошенных волосах. Толстые губы вздрагивали. Ноздри раздуты. При иных пассажах подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями.*

*«Кто же это?» — спросил Ч.*

*«Как, не узнаете? Взглянитесь хорошенько».*

*«Не узнаю».*

*Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул:*

*«Но ведь это Пушкин!»*

*Ч. поглядел... и через минуту заинтересовался чем-то другим.*

*Теперь смешино вспомнить, какое на меня нашло настроение: шалость, как иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть. Я не в силах был оторваться от соседней ложи: резкие морщины, широкий нос, большие уши... По спине пробегали мурашки.*

*Что если это и впрямь Пушкин?.. Пушкин в шестьдесят лет. Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща. Пушкин, вступивший в*

*роскошную осень своего гения... Вот это он. Вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала «Анчар», «Графа Нулина», «Египетские ночи»...*

*Действие кончилось. Грянули рукоплескания. Седой Пушкин прывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи.*

**ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ,  
изложенные по-французски  
Петром Яковлевичем Чаадаевым  
и Александром Сергеевичем Пушкиным**

*Мы,— говорит Чаадаев,— никогда не шли вместе с другими народами. Ибо не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества. Ни к Западу, ни к Востоку. Не имеем преданий ни того, ни другого. И существуем как бы вне времени. Всемирное образование человеческого рода не коснулось нас.*

*Посмотрите вокруг себя!— говорит Чаадаев.— Всё как будто на ходу. Мы все как будто странники. Нет ничего постоянного, неизменного: все проходит, протекает, не оставляя следов ни во внешности, ни в нас самих.*

*Дома мы будто на постое,— говорит Чаадаев.— В семействах — как чужие. В городах как будто кочуем. И даже больше, чем племена, блуждающие по степям. Потому что племена эти сильнее привязаны к своим степям, чем мы к нашим городам.*

*Не воображайте,— говорит Чаадаев,— чтобы эти замечания были ничтожны. Бедные! Неужели к прочим нашим несчастьям должны мы прибавить еще новое — несчастье ложного о себе понятия.*

*В самом начале,— говорит Чаадаев,— у нас дикое варварство. Потом грубое суеверие. Затем жестокое, унижительное владычество, следы которого не изгладились и поныне.*

*Какая-то странная судьба,— говорит Чаадаев,— разбила нас от всемирной жизни человечества. Народы живут только могущественными впечатлениями прошедшего и соприкосновением с другими народами. Через это каждый человек чувствует свою связь с человечеством.*

*У нас этого нет. Мы явились на свет как незаконно рожденные. Без наследства. Без связи с другими людьми, которые нам предшествовали. И не усвоили себе ни одного из поучительных примеров минувшего.*

*Каждый из нас,— говорит Чаадаев,— должен сам связывать разорванную нить. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня. Мы, так сказать, чужды самим себе. Нам нужно молотками вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом.*

*Мы растем,— говорит Чаадаев,— но не зреем. Идем вперед... но по какому-то косвенному пути, не ведущему к цели.*

19 октября 1836 года Александр Сергеевич Пушкин отвечал Чаадаеву. Отзвываясь (опять-таки по-французски) остался в черновике — и вот, наверное, по какой причине.

Царь, как известно, объявил Чаадаева сумасшедшим, прислал медиков, дабы строжайше освидетельствовали. И оттого-то Пушкин, утверждая исследователи, не отправил письмо. Поэт не выступил на стороне правительства, но вступил с Чаадаевым в спор:

*...у нас свое предназначение. Россия, ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти западные рубежи, имея нас в тылу. Они откатились к родным пустыням, и христианская цивилизация была спасена.*

*Для достижения этой цели (спасения цивилизации) мы, оставшись христианами, вели совершенно особое существование, которое сделало нас, однако, чуждыми христианскому миру, так что на-*

*шим мученичеством... энергичное развитие Европы было избавлено от всяких препон.*

*Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство,— нечист, что Византия достойна презрения... и т. д.*

*Ах, друг мой! Разве сам Иисус Христос не родился евреем? И разве Иерусалим не был притчею во языцех?..*

*Что касается нашей исторической ничтожности, я решительно не могу согласиться. Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, движение к единству (русскому, разумеется)...*

*А Петр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр I, который привел нас в Париж?*

*..поспорив с вами, я должен признать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, наша жизнь — грустная вещь. Отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, истиной, справедливостью, циническое презрение к человеческой мысли и достоинству... Вы хорошо сделали, что громко сказали об этом.*

В тот же день, 19 октября 1836 года, Пушкин закончил «Капитанскую дочку» и отметил в кругу друзей лицейскую годовщину. Он читал стихи, не дописанные, как полагают исследователи, за неимением времени,— строчки внезапно обрываются, зависая, будто над пропастью:

И над землей сошлись новы тучи,  
И ураган...

### ***Из дневника Петра Павловича Каверина***

27 мая 1819.

*Щербинин, Олсуфьев, Пушкин — у меня в Петербурге ужинали — шампанское в лед было поставлено за сутки вперед — случайно красавица моя (для удовлетворения плотских желаний) мимо шла — ее зазвали — жар был несносный — Пушкина просили память этого вечера продолжить стихами — вот они — оригинал у меня:*

Веселый вечер в жизни нашей  
Запомним, юные друзья!  
Шампанского в стеклянной чаше  
Шипела холодная струя.  
Мы пили — и Венера с нами  
Сидела преля за столом...  
Когда ж вновь сядем вчетвером  
С блядьми, вином и чубуками?

### **Примечания**

1. Каверину — 25 лет, Щербинину — 26, Олсуфьеву — 23. Венера — богиня (без возраста). И Пушкин, стало быть, самый молодой.

2. Тире, как видите, заменяло Каверину все знаки. Не в силу избыточной пылкости, а по грамматической норме. Так писал Карамзин:

*Л. поцеловался со мною — поздравил с приездом — сделал два или три вопроса — и сказал...*

Тире — по сути — пауза и прочерк. Указано, что нечто опущено. Об этом, наверное, не следует забывать, читая, к примеру, «Повести Белкина» и протянувши мысленно (взамен точки) тире:

*Мы стояли в местечке — жизнь армейского офицера известна — утром учения, манеж — обед у полкового командира или в жидовском трактире — вечером пуни и карты.*

Каось, аккурат мой пращур держал местечковый трактир, наблюдая собственными глазами если не Александра Сергеевича Пушкина (лично), то уж Ивана Пет-



ровича Белкина (точно). И слышал живую речь — русскую ли, французскую, ритм которой (пульс и биение) передает на письме летящее, как стрела, тире:

*Граф замолчал — таким образом, узнал я конец повести, коей начало поразило меня — с героем оной я более не встречался.*

3. Разгул, или, по Пушкину, «ребяческий разврат», — поэтическая ли сторона жизни? Пускай, вам кажется, грязная, однако ж не прозаическая. Можно до хрипоты поносить де Сада, да как ни кричи, писатель-то он романтический.

Чтобы попасть в область поэзии, надобно пересечь границу. Вот для чего у Каверина пробивается рифма:

шампанское в лед  
поставлено было  
за сутки вперед.

4. Минуточку! Разберемся хронологически: 27 — дневниковая запись, 26 — событие, 25 — спустили в ледник шампанское.

5. Но что такое 26 мая по старому стилю? Вспомнили, да?.. Правильно: 6 июня по-новому — день, когда родился Александр Сергеевич. И Каверин, выходит, рассказывает нам, как справил Пушкин свое двадцатилетие.



## Волокита и завистник

Приезжай, мой милый, да влюбись в мою жену,  
а мы поговорим о газете иль альманахе.

*Из письма Пушкина Вяземскому от 2 мая 1830 года*

Если нам бросят упрек в гегельянстве, мы  
охотно примем его.

*Игорь П. Смирнов. Психодиахронологика*

Сейчас узнаю, что я пожалован кавалером  
ордена Св. Станислава 1-й степени.

*Запись Вяземского от 5 декабря 1848 года*

Осенью 1851 года Петр Иванович Бартенев, библиограф, будущий издатель «Русского архива», познакомился с ближайшим московским другом Пушкина — Нащокиным. Около двух лет Бартенев записывал рассказы своего нового знакомого о покойном поэте; записи эти были впервые опубликованы в 1925 году. Ни сам почтенный Петр Иванович, ни пушкинист Цявловский, редактор издания «Рассказов о Пушкине», ни многочисленные читатели этой книги не обратили особого внимания на одно очень странное высказывание Павла Воиновича Нащокина. Вот оно: «Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женою...»

Первое, что бросается в глаза в этой фразе, — тяжелый галлицизм «человека безнравственного». Перед нами классический ложный след. Если мы последуем за ним, то ничего, кроме нескольких банальностей, не обнаружим: пару полицейских донесений о подозрительной холостяцкой пирушке, устроенной Вяземским, Пушкиным и Жуковским у некоего Филимонова в Москве (посчитали, что дом его был «с девками»; кто знает, может быть. Только «нравственность» и «девки» — вещи вполне совместные, по крайней мере для тех счастливых времен), да фразу-другую в записных книжках того же Вяземского за 1828 год: «Мне известно, что до правительства было доведено в последний мой приезд в Петербург слово, будто сказанное Александром Пушкиным обо мне: вот приехал мой Демон!» Жаргон эпохи романтизма, не больше того. Трудно представить себе такой запретный плод, коим курносый князь впервые попотчевал бы молодого кучерявого друга.

Загадочно в нащокинском свидетельстве другое — утверждение, что Пушкин не любил Вяземского, так как Петр Андреевич-де волочился за Натальей Николаевной. Пушкин был не прочь приволокнуться за княгиней Верой Федоровной — вполне возможно, но чтобы сам князь... Можно, конечно, вслед за Бенкендорфом (и Нащокиным) посчитать Вяземского «безнравственным», только вот «порядочность» была присуща Петру Андреевичу, так сказать, на молекулярном уровне; да и эпоха символистских менаж а трау наступит еще лет через семьдесят.

Полноте, но можно ли доверять свидетельству Нащокина? Кто таков сей Павел Воинович? Пушкин (особенно с 1826 года) не любил общества литераторов, особенно первого ряда. Хорошо, конечно, выпить с Языковым или потолковать с Одоевским, но, кажется, долгих литературных разговоров (тем более с философической подкладкой) не жаловал; в беседах его занимали скорее сплетни, политика, исторические анекдоты. Поэт предпочитал «добрых малых» — неистового гуляку и странного шутника Соболевского, картежника и любителя цыганок Нащокина. Эти жить его не учили, Шлегеля не цитировали, собственными сочинениями не досаждали. Такого рода «стареющие юноши» появятся в истории русской литературы еще один раз — в свите Блока: бедный Женя Иванов, полусумасшедший Пяст, загадочный Зоргенфрей; именно в их обществе Блок предпочитал пить портер; великомудрых же Вячеслава Иванова с Зиновьевой-Аннибал (вариант: Мережковского с Гиппиус) объ-

езжал на ваньке за десять верст. «И меж детей ничтожных мира,/ Быть может, всех ничтожней он», — формулу эту Пушкин вывел и начал реализовывать; Блок довел ее до логического конца. Чтобы Аполлон не требовал более поэта к священной жертве, он расколошматил его статую кочергой. «Я просто хотел посмотреть, на сколько кусков разобьется эта гнусная рожа!» — объяснил Александр Александрович перепуганной Любви Дмитриевне.

Но вернемся к «стареющим юношам». Последний раз этот психологический тип резко проявился лет десять — пятнадцать назад. Хорошие парни с интеллигентскими словечками наготове составили среднее звено советской рок-революции; они мало что понимали в музыке, не отличали «Секс Пистолз» от «Дэд Кеннедиз», но с удовольствием тусовались, пили портвейн и произносили вкусные речи о рок-н-ролле как воплощении бахтинского карнавала. Припоминаю одного кандидата философских наук, служившего начальником кочегарки, где бросали уголь в коммунальные топки полуподпольные рок-звезды. Нащокин и был таким начальником кочегарки. Основным достоинством этих людей стала хорошая память, фатальным недостатком — фантастическое непонимание смысла запоминаемых ими событий. Как известно, Пушкин уговаривал Нащокина писать «мемории»; более того, тетрадь с нащокинскими заметками была найдена в бумагах поэта.

Павел Воинович точно запомнил, что Вяземский за чем-то пушкинским волочил, но, точно зная, что волочили все только за Натальей Николаевной, решил — за ней. Вяземский действительно волочил, но за кем? за чем?

У Петра Андреевича Вяземского, этого жанрового Колумба русской литературы, одним из самых плодотворных открытий стал жанр «приписки». Вот его рецепт. Берется собственный старый текст, давным-давно опубликованный, например, рецензия, и к ней (спустя лет двадцать — пятьдесят) «приписывается» комментарий; художественный эффект достигается тем, что автор (умудренный) комментирует сам себя (молодого). Будущее первого текста становится прошлым второго. К этому добавляется и стилистическая разница: комментируемый текст (написанный для печати) застегнут на все (или почти все) пуговицы, комментирующий (сочиненный якобы «для себя») является читателю в знаменитом вяземском халате, облитом чернилами и посыпанным сигарным пеплом. От этого жанра исходит особый аромат правды: на наших глазах «биография», «жизнь», преодолевает «литературу».

И вот в одном из лучших своих сочинений такого рода — в рецензии на пушкинских «Цыган» с позднейшей «припиской» — Вяземский рассказывает о своей почти ссоре с поэтом. Как явствует из приписки, разбор поэмы вызвал в Пушкине столь сильное раздражение, что позже оно отиснулось в эпиграмму на князя\*. Впрочем, отмечает Петр Андреевич, у Пушкина не хватило духу сказать ему в лицо, кому посвящены эти стихи:

О чем, прозаик, ты хлопчешь?  
Давай мне мысль какую хочешь:  
Ее с конца я завострю,  
Летучей мыслью оперю,  
Взложу на тетиву тугую,  
Послушный лук согну в дугу,  
А там пошлю наудалую,  
И горе нашему врагу!

Стихи, конечно, превосходные; чего стоит одно лишь гудение тетивы и жужжание эпиграммической стрелы — «у-у-у» — в строчках «Взложу на тетиву тугую./ Послушный лук согну в дугу./ А там пошлю наудалую./ И горе нашему врагу!». В этом аллитерационном гуле чувствуются даже некая формальная чрезмерность, нарочитость; автор явно выхваляется своими фонетическими трюками перед человеком, написавшим:

Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков?  
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.

В дневниковой заметке Пушкина на 1821 год читаем: «Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! ...Неожиданная рифма «Херасков» не примиряет меня с такой какофонией». Так что будь Вяземский повнимательнее, сразу понял бы, на кого сочинена эта эпиграмма с саундтреком.

Так на что же рассердился Пушкин? Вяземская статья о «Цыганах» ничем особенно не примечательна: литературный контекст, разбор характеров, мелкие погрешности против стиля. Именно последнее, по мнению князя, обидело автора.

\* Пушкинисты с фактами в руках обвиняют Вяземского в забывчивости. Князь якобы перепутал хронологию. Быть может. Пушкинисты всегда правы.

В тексте рецензии читаем: «Еще не хотелось бы видеть в поэме один вялый стих, который Бог знает как в нее вошел. После погребения двух несчастных жертв Алеко

...медленно склонился  
И с камня на траву свалился.

В «Приписке» Вяземский замечает: «Признаюсь, и ныне не люблю и "травы" и "свалился"». Пушкин, несмотря на ничтожность замечания, рассерчал. Почему? Разве тот же Александр Сергеевич не баловался разного рода лексической казуистикой по отношению к стихам и Батюшкова, и того же Вяземского? Разве не было это занятие естественным для молодой русской словесности, тщательно отбирающей, оценивающей, взвешивающей слова-кирпичики для возведения стен будущего своего великолепного дома? Проблема здесь скорее в духе романтической психологии.

В «Уединенном домике на Васильевском», «жуткой истории», рассказанной Пушкиным и записанной Титовым, есть любопытный эпизод. Главный герой Павел повздорил со своим другом Варфоломеем. Он бросается на него, получает удар, падает, но, когда приходит в себя, приятеля уже нет; в ушах Павла звучат лишь слова Варфоломея: «Потише, молодой человек, ты не с своим братом связался». В дальнейшем выясняется, что Варфоломей есть не кто иной, как черт. Пушкин, конечно, не черт, но пытался дать знать Вяземскому, что тот «не с своим братом связался». Литература «связалась» с Поэзией и получила от нее зуботычину.

Пушкин был (и воспринимался) как Поэзия в значении романтической эпохи; то есть не как Литература. Вспомним знаменитую фразу Верлена «все прочее — литература». То, что Пушкин оставил на бумаге, есть моменты снисхождения Поэзии к Литературе, отсюда — незавершенность значительной части его сочинений. Сам Вяземский это понимал. Он называл Пушкина «Эоловой арфой, которая трепетала под налетом всех четырех ветров с неба и отзывалась на них песнью». Разве такие «песни» подлежат стилистической правке?

В рецензии на «Цыган» Вяземский явно «не с своим братом связался». Он, изобретатель жанров, поэт, критик, переводчик, мемуарист — не только воплощение Литературы; он (перефразируя Борхеса) и есть Литература. Вяземский, чувствуя это, осознал, что в некоей небесной иерархии они с Пушкиным занимают разные ступени. Об этом свидетельствуют и такие его записи, как эта (о реакции Пушкина на сочиняемого им «Фонвизина»): «...скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение». Но «скромный работник» знал и свои права: Литература умнее Поэзии («Поэзия должна быть глуповатой», — признает в письме к Литературе Поэзия). Смирнова-Россет свидетельствует: «Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним (с Пушкиным. — К. К.) не могли — бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был умнее, надуется и уж молчит». Вяземский надувался потому, что в этом случае уже Пушкин «не с своим братом связывался».

Чувствуя невозможность жить без Поэзии, Литература ухаживала за ней, обхаживала ее, «волочилась». Не физический князь Петр Андреевич Вяземский волочился за физической красавицей Натальей Николаевной Пушкиной (как посчитал душа-Нащокин), а русская Литература волочилась за Поэзией, нотная грамота волочилась за Эоловой арфой. Смерть Пушкина оборвала эти ухаживания. Поэзия умерла, осталась Литература; во время отпевания Пушкина некто Федоров сказал Александру Тургеневу о Вяземском: «Он еще не мертвый». Поэзия — вне истории литературы, в то время как Литература, имея историю, тем и жива. Не очень благозвучные вирши Вяземского отзывались в строчках и строфах Некрасова, Ходасевича, Бродского; Поэзия литературного потомства не имела и, будучи самодостаточной (андрогинной), не могла иметь. В следующий раз Поэзия снизошла к русской Литературе в образе Блока, как заметила чуждая всякой мистики Лидия Гинзбург: «Для русского XX века... Блок — как для XIX-го Пушкин, — и никто другой в такой мере. Можно больше любить стихи других современников Блока. Не в том дело. Блок вообще не поэт отдельных стихов, он явление в целом». Дополним цитату. Явление Поэзии Литературе.

**Приписка.** Попробую скорректировать мистическое гегельянство вышенаписанного вполне бытовым соображением. За что Пушкин все-таки не любил Вяземского? За что один «литературный аристократ» (пользуясь третьесословной терминологией) не любил другого?

Вся «аристократичность» Пушкина укладывается в странную формулу, высказанную им в письме к Вяземскому (июль 1825 года): «Я всегда был склонен аристократичествовать, а с тех пор, как пошел мор на Пушкиных, я и пуще зачуфырился: стихами торгую en gros, а свою мелочную лавку № 1 запираю». Безусловно, стран-

ные представления об «аристократичности» (литературно-бытовой, в эйхенбаумовом смысле?), зависящие от «мора» и превратностей оптово-розничной торговли стихами. На самом деле в этой фразе к «аристократизму» (социальному, литературному) отношение имеет только фырк простуженного извозчика — «зачуфырился». Сей простолюдин в армяке в компании фрачного «en gros»а забрел в это письмо из глоссария самого адресата письма, князя Вяземского, аристократа настоящего. Родовитость князя Петра Андреевича и, как следствие, возможность быстрой придворной карьеры, видимо, раздражали Пушкина. В заметках поэта находим: «Читал сегодня послание кн. Вяземского». Сам Вяземский замечает в позднейших скобках: «Видно, он сердит, что величает меня княжеством».

Почему бы и не осерчать бедному дворянину? Вспомним, например, историю с придворными чинами. Вяземский в 1821 году, после увольнения его с государственной службы, сам подал прошение об исключении его из камер-юнкеров. В начале тридцатых, когда Пушкина сделали камер-юнкером, Вяземского одарили «камергерством». Как тут Пушкину не злиться? Он давал клятвы Николаю I, писал шинельные стихи, а в результате был выставлен на посмешище. Своевольный князь сквозь зубы пробормотал императору нечто невразумительно-примиряющее, и вот уже он: «Любезный Вяземский, поэт и камергер!» Что оставалось бедному Пушкину? Язвить, прикрывая горечь дружеским похабством: «На заднице твоей сияет тот же ключ».



Павел БАСИНСКИЙ

## Проплаченная культура

Конец минувшего года в российской культуре ознаменовался событием, на которое в горячке финансового кризиса не обратили должного внимания. Между тем оно очень даже заслуживает того, чтобы задуматься над ним всерьез.

В конце прошлого года в России тихо и незаметно *издох постмодернизм*. «Зачем же так грубо?» — скажут. Однако, говоря «издох», я вовсе не желаю еще раз оскорбить постмодернизм и постмодернистов, хотя никогда не скрывал и не скрываю враждебности своего отношения к этому явлению. Но в данном случае слово «издох» не содержит в себе никакого эмоционального наполнения. Это всего только цитата из шуточной эпитафии Владимира Соловьева:

В лесу болото,  
в болоте мох.  
Родился кто-то,  
потом издох.

Постмодернизм в России и был этим «кем-то», чье рождение и смерть не имели решительно никакого смысла. Однако отсутствие смысла также в своем роде содержательно. Оно хотя бы обозначает такие места, где искателям смысла искать нечего.

О русском постмодернизме как культурном явлении написаны сотни статей и статейчек. Есть и вполне солидная книга Марка Липовецкого — «Русский постмодернизм», сочиненная в Штатах и оттого, вероятно, несущая на себе печать филологического благодушия. О русском постмодернизме как жизненном явлении не сказано почти ничего. Между тем не на голом же месте он возник! О русском постмодернизме как жизненном явлении лучше, откровеннее, бесстрашнее всех писал его наиболее преданный «агент» Вячеслав Курицын. Но Курицына никогда не читали «прямо». За его словами искали подвоха, провокации. И напрасно: как летописец русского постмодернизма он чистейшей воды «реалист».

Осенью прошлого года в «Литературной газете» появилась статья Курицына о последней книге стихов Тимура Кибирова. Сам Кибиров не считает себя постмодернистом, но Курицын полагает его таковым. Прав он или не прав, в нашем случае не очень важно: не о Кибирове сейчас речь. Подметив (и справедливо!) в «веселеньких» стихках Кибирова строгие, грустные и даже страшные темы и интонации, Курицын неожиданно повернул разговор... в сторону денег. Суть его высказывания была такой. Мол, в жизни смысла нет — это-то ясно! Нет, не было и не будет. Но раньше по крайней мере были деньги. Теперь и денег не будет.

На первый взгляд, слова крайне циничные. Напомню: они были сказаны на пике финансового «обвала» (простите за невольный оксюморон), когда в столичной культуре началась жестокая депрессия: закрывались либо съезживались, как шагреновая кожа, модные «глянцевые» издания, сворачивались многие книжные программы, вместе с ростом курса доллара втрое снижались гонорары.

Владельцы кредитных и прочих пластиковых карточек шалели от невозможности вынуть свои доллары из банкоматов. Журналисты, привыкшие информировать нас о бедах «этой страны» за тысячу долларов в месяц как минимум, в одночасье оказались на улице, по которой метались в поисках работы и заработка злые и вовсе не благорасположенные к журналистам граждане. Литераторы, привыкшие отдыхать где-нибудь в Египте на гонорар от единственного рассказа, тиснутого в «Плейбое», вдруг задумались о том, не пора ли перейти с импортных сигарет на отечественные.

Когда выйдут в свет эти заметки, ситуация в стране может быть хуже, а может быть и лучше. Но в любом случае память о судороге тех дней останется. В частности, для маленькой, но очень влиятельной кучки людей, называемой *столичной культурой*, это будет память о днях, когда они впервые задумались о том, что «лафа» не бесконечна, что «проплата» закончилась, что «реализм», который они третировали и презирали, искренне не любя его эстетически и столь же искренне не принимая философски, содержит еще один неприятный для них смысл, мудро выраженный Кутузовым в «Войне и мире»: «Вот и получили! Мордой и в г...!»

О последней материальной субстанции наиболее «классические» постмодернисты вроде Курицына или Сорокина почему-то писали особенно часто и сладко. Курицын просто-таки носился с идеей, будто «г...» — это именно то, что «всех нас объединяет», то есть нечто наиболее человеческое и демократичное. Любопытно, однако, что за словесное «г...», напечатанное где-нибудь в «ОМе» или «Птюче», платили совсем не демократичные деньги, в то самое время как остальные людишки пребывали в «г...» вполне натуральном. «Постмодернизм — культура мягкая, добрая, гуттаперчевая», — ворковал Курицын. И в самом деле — постмодернизм в России возник из той простой идеи, что «искусства нет, а художники остались, и им надо же как-то существовать». Но почему-то это «как-то» выразалось в солидных и для подавляющей части населения России совершенно астрономических суммах конкретных денег, о которых Дмитрий Быков однажды пошутил: «Я знаю, откуда в этих ребятах столько мягкости и вальяжности. У них же только одна проблема: зарплата такая большая, что всю ее пропить они не в состоянии». Почему-то существование художника «в отсутствие искусства» обернулось поразительным жизненным феноменом: чем больше «отсутствия», тем круче его финансирование. Чем бессмысленнее и бесполезнее сотворенные художником вещи (будь то проза и стихи, картины и скульптуры, выставки и перформансы), тем они и *дороже*.

Есть замечательный анекдот о мужике, который на Птичьем рынке продавал своего пса за миллион долларов. «Сколько-сколько?» «Миллион». «Да ты с ума сошел!» «А вот посмотрим!» В конце дня спрашивают: «Ну что, продал за миллион?» «Продать не продал, но зато обменял на двух котов — по полмиллиона каждый».

Истинный смысл анекдота обнаруживается в перспективе. В сущности, мужик действительно «продал» пса за миллион долларов (как и неизвестный — своих котов). Но только — в постмодернистском смысле. Дело оставалось за малым: перевести постмодернистский смысл в реалистический. Для этого необходим «третий», который бы согласился *реально* проплатить *виртуальную* сделку. Поиски этого «третьего» и были настоящим искусством русского постмодерна, который навсегда останется в нашей истории феноменом *проплаченной культуры*. Существование этой культуры было возможно до того времени, покуда находился «третий», соглашавшийся на проплату. Она закончилась тогда, когда «третий» от проплаты отказался. Пес лишился символической стоимости в миллион и вернулся к стоимости в символический трояк.

Зачем нужно было «третьему» проплачивать заведомо бессмысленную сделку, объяснять скучно и тоскливо. Тем более что все и так всё понимают. Все читали и сказку о голом короле, и то чудесное место в «Приключениях Гекльберри Финна», где фиктивные «король» и «герцог» устраивают для наивных поселян фиктивный спектакль «Королевский жираф», который все хвалят для того, чтобы не выглядеть окончательными дураками (сами ведь согласились на проплату!). Но некоторые механизмы искусства постмодернизма заслуживают того, чтобы всмотреться внимательней...

Наряжали в пестрые блузы, штаны и платье «Рабочего и колхозницу». Объяснение вроде бы простое: пусть народ повеселится, а то жизнь такая серая... Но жизнь не серая, а страшно напряженная, с массой раздражающих и даже разрушающих психику моментов. Чего стоило одно чеченское «телешоу», где натурально показывали (чуть ли не транслировали!), как солдаты ложатся под пулями. Серой жизнь могла казаться только людям, которым надоело отдыхать на Гаваях, надоело каждый вечер посещать казино и рестораны, надоело слышать ровное воркование моторов своих «мерседесов». Впрочем, в реальности таких идеальных «новых русских» не было или были совсем уж единицы. «Демократическое» шоу с одеванием и раздеванием «Рабочего и колхозницы» было рассчитано на среднеобеспеченного и среднеблагополучного буржуазного скота, которого в России, слава Богу, пока еще не существует. Есть нервные и очень взвинченные горожане и смирившийся со своей судьбой деревенский народ. И для первого, и для второго шоу с «Рабочим и колхозницей» — нечто бесконечно чужое. Это шоу для кого-то «третьего». Того самого «третьего», кто проплатил это шоу.

Вроде бы бессмыслица, замкнутый круг. Вовсе нет! Если посчитать, сколько людей реально заработали на этой бессмыслице, сколько художников «в отсутствие искусства» могли позволить себе жировать на как бы ничей счет на фоне обсыпавшейся штукатурки и перегорающих лампочек отнюдь не отсутствующих районных и сельских библиотек, провинциальных театров и музеев, умирающих в нищете замечательных поэтов и проч. и проч. и проч...

«Да это деньги-то в основном иностранные! — скажут.— И притом не такие большие, чтобы их хватило на всех». Это верно. Но тогда и давайте признаем, что искусство русского постмодернизма заключалось в планомерном создании таких «культурных очагов», где небольшие «на всех» деньги оказывались большими деньгами «не на всех». Вот еще механизм. Приходит журналист наниматься на работу. «Сколько вы хотите?» — интересуется редактор. «Две тысячи долларов», — без ложной скромности отвечает журналист. (Мне вспомнилось: заведующий отделением центральной клинической больницы г. Волгограда и до и после кризиса получает в месяц 800 рублей.) Но редактор не гонит нахала в шею. Расчет тут очень простой. Если какой-то рядовой обозреватель будет получать 2000 в валюте, то редактор с чистой совестью может брать в три, четыре раза больше.

Этими деньгами всех, разумеется, не накормишь. Но их хватит на сотовый телефон, на содержание иномарки, на хороший отпуск...

Культура русского постмодернизма была не цинической, но элементарно *бессовестной* культурой. «Мучительный», по Иннокентию Анненскому, вопрос («Наша совесть! Наша совесть!») был этой культурой отправлен в отставку. И вот тогда эта культура действительно смогла стать «мягкой, доброй и гуттаперчевой». Незлобивой. Чуждающейся всякой агрессии. Скоморошистой, как стихи Пригова. Чисто словесной и отстраненной от морали, как проза Сорокина. Мило артистичной и необязательной, как статьи Курицына. Нежной, как стихи А. Шаталова.

Кстати, о «нежности»... Недавно в питерском издательстве Ивана Лимбаха вышел отдельной книгой дневник Михаила Кузмина 1934 года. Кузмин был очень нежный и соответственно очень гомосексуальный поэт (можно доказать и обратную связь). Однако в 30-е годы тот самый «реализм» нашей жизни, о котором я сказал в начале заметки в связи с Кутузовым, крепко зацепил и его. Болезнь, денежные трудности, странное положение «чужого» в своей стране — об этом читать больно, как бы ни относиться к иным, скажем так, неприятным моментам бурной молодости Кузмина.

Но вот он в больнице и любуется голубями за окном...

«Я приучил их хлебом. Голубей и воробьев. Они с утра уж долбили носами и писали. Знали часы приема пищи. Сиделка говорила, что их не позволено кормить, т<ак> к<ак> они пачкают окна, а лучше отдавать куски какой-то женщине, которая специально их кормит на дворе».

Далее следует поразительная фраза:

«Очень мне интересно, чтобы голуби были сыты! Мне интересно, чтоб они прилетали специально ко мне на окно. Эстетика, отнюдь не филантропия...»

Не правда ли, слова эти блестяще проясняют ситуацию с культурой отечественного постмодернизма?

Очень *им* интересно, чтобы *мы* были сыты! Но давайте хотя бы не лететь к ним на окно...





**Н. С. ГУМИЛЕВ. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ. Тома первый и второй. М., «Воскресенье», 1998. Тир. 7000 экз.**

Когда настанет время, и уже не тот период, который ныне длится, посчитают периодом подведения итогов, а ему самому подведут долгожданный итог, Николая Гумилева, наверное, назовут литератором, сильнее других пострадавшим от пересмотра культурных концепций. То, что сделали доброхоты и мародеры (отличить первых от вторых чрезвычайно трудно), распечатавшие его произведения неисчислимыми тиражами, не удалось даже советской власти. Она убила Гумилева-человека, не тронув его стихи, эти уничтожили Гумилева-поэта. А введение в школьную программу и вовсе сродни унижению, которому подвергались тела казненных,— их медленно расклеивали птицы. Если завершится издание этого десятитомника, подготовленного ИРЛИ, гумилевские стихи навсегда станут достоянием доцента и будут плодотворны новых критиков (по точному слову А. Блока, вечного соперника Н. Гумилева. Кстати, характерно, что почти одновременно затеяно издание и блоковского полного собрания сочинений, и даже полного собрания Георгия Адамовича — если уж казнь, так массовая, если могила, так братская. Всех в общую яму, привязав к ноге фанерную бирку с литерами «ПСС»). Обсуждать плюсы и минусы издания лишне, ибо затеяно оно не вовремя.

**Роберт ГРЕЙВЗ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ. Тома первый — пятый. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 1998. Тираж не указан.**

Вряд ли справедливо называть собранные здесь прозаические произведения «Я, Клавдий», «Божественный Клавдий», «Князь Велизарий», «Жена господина Мильтона» и «Золотое руно» романами. Сюжет их — только предлог для того, чтобы как-то ввести в берега необъятные познания автора из области филологии, истории и мифологии и дать ему возможность построить собственную версию развития культуры, не во всем правдоподобную. Но в своем роде произведения эти — образцовые.

**Константин ВАГИНОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. Томск, «Водолей», 1998. Тир. 1000 экз.**

В жизни каждого человека есть то, ради чего он живет, и то, что оправдывает его существование. Кажется, ВагинOV считал писание стихов главным делом жизни, однако в литературе он останется как прозаик. После чужих стихотворных опытов вагиновские «опыты соединения слóв посредством ритма» выглядят безжизненными, несостоятельными. Цитата, извлеченная наугад, вызовет в памяти чье-нибудь другое, отнюдь не вагиновское имя. Но ведь должно быть что-то, что помогает жить, в противном случае человек просто не сможет исполнить предназначенное ему.

**Мишель ФУКО. РОЖДЕНИЕ КЛИНИКИ. М., «Смысл», 1998. Тир. 5000 экз.**

Очередная попытка сопоставить слово и предмет, словом описываемый. Доказывается, что из нового соотношения языка и предмета, на сей раз человеческого тела, выросла современная медицина. Примеры, заимствованные из медицинских книг и пособий, куда любопытней самих рассуждений автора.

**Ролан ВИЛЬНЕВ. ШАБАШ И КОЛДОВСТВО. М., «КРОН-ПРЕСС», 1998. Тир. 15 000 экз.**

Изгой общества, маргиналы, вышедшие из сельской среды или с городских окраин, часто уродливые, отмеченные тайными знаками и тайными пороками, управляющие свои шабашы, — из черт, перечисленных автором, возникает ясный портрет. Но портрет не колдуна и последователя Сатаны, а до боли знакомый. Вспомнить хотя бы недавно бродившие по стране бригады строителей: с неясным прошлым, в наколках, со своим темным полуматерным языком, они как по мановению волшебного жезла за сутки воздвигали здание коровника или клуба, которое через сутки рассыпалось в прах, переставало существовать. А строители к тому времени уже пропивали заработанные деньги, угарно гуляли, и это был их праздник. И называли их, пусть и не связывая название со старым словом, но точно — шабашники. Колдунов

будто бы и не осталось, а маргиналы пребудут всегда. Они приумножаются пропорционально развитию общественного прогресса.

**Стивен КРЕЙН. ГОЛУБОЙ ОТЕЛЬ. М., «Текст», 1998. Тир. 7000 экз.**

Молодые сочинители от избытка сил иногда столько вкладывают в свои произведения, что их надежды сбываются, они делаются классиками, канонизируются. Но не сразу, а после ранней и неожиданной смерти. Так и вышло со Стивеном Крейном, стихи и проза которого многое предвосхитили в американской литературе. Впрочем, когда сейчас читаешь эти строки, раздражают именно избыточность, игра сил, которая сродни отсутствию мастерства. Да и что спрашивать с человека, умершего столь молодым.

**Вальтер БИМЕЛЬ. MARTIN ХАЙДЕГГЕР. [Б. м.], «Урал LTD», 1998. Тир. 10 000 экз.**

Собственно, книга переведена ради предисловия переводчика, в котором он доказывает, что следует философской стратегии самого Хайдеггера, тем и порождены выражения типа «вос-точное мировоззрение» и «за-падная мысль». Тут надо бы узреть особую глубину, да вот только переводчик напрочь лишен и здравого смысла, и чувства юмора. Слово — оно и есть слово, членить его можно сколько угодно. И вернее было бы писать «во-сточное мировоззрение» и «зап-адная мысль». По крайней мере для нас.

**Варлам ШАЛАМОВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ. Тт. 1—4. М., «Художественная литература», «Вагриус», 1998. Тир. 10 000 экз.**

«Неужели для массового читателя достаточно простого упоминания о событиях, чтобы сейчас же возвести это произведение в рамки художественной литературы, художественной прозы», — догадка из шаламовского письма, догадка очень точная. Здесь описан механизм массовой культуры. Тематика вытесняет философствование, тематизм делает решение «проклятых вопросов», над которыми билась русская классическая литература, излишним, нелепым. Трагический личный опыт Шаламова умножен на трагичность его писательского опыта.

**ПЕРЕПИСКА Г. М. КОЗИНЦЕВА. 1922—1973. М., «Артист. Режиссер. Театр», 1998. Тир. 1000 экз.**

Хорош или плох Козинцев как режиссер — вопрос отдельный. Но умен и талантлив он был необыкновенно. О козинцевских письмах надобно сочинить специальное исследование, столько тут неожиданной игры. Чего стоит хотя бы фраза, относящаяся к съемкам нового фильма: «Может, что-нибудь выйдет, а может, выйдет лирический жанр». Ни в мыслях, ни в выражениях он не стеснялся.

**Михаил ГРОЗОВСКИЙ. СТАЯ БЕЛЫХ ВОРОН. М., «Х.Г.С.», 1998. Тир. 1000 экз.**

Когда за пятнадцать лет поэтические строчки стареют и стихи, прежде читанные на семинарах в Литинституте, шуршат, как пустая бумага, это, может быть, и не слишком плохо. Стихи отжили свое и если кого-то удивили, порадовали, значит, были сложены не напрасно. Плохо, когда к тому времени стихотворец обжился в литературе, словно в собственном доме, по привычке. Ведь и примечание, набранное курсивом, что на обложке книги помещен рисунок «Сашеньки Боголюбовой, дочери поэта», показывает — автор самодоволен, будто истинный домовладелец, между тем он только временный жилец и время вышло, а за свет не плачено.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



---

*Читайте в №№ 3, 4*

НОВЫЙ РОМАН  
АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА  
«КУПОЛ»

«И тогда я понял, чего от меня хотят и что я должен сделать. Из ущелья несло сыростью — оно не казалось страшным. Я начал медленно спускаться, но не видел никаких путей, которые вели в пропасть, — от туда шел поток воздуха и тумана, настолько сильный, что не давал возможности ни опуститься, ни броситься вниз. Я кувыркался в этом потоке, заставлял себя погрузиться, проклинал: Божечка, да неужели я настолько легок, что и этого не могу? Или здесь тоже кто-то повесил гигантский пододеяльник, и я в нем теперь барахтаюсь, и вообще весь Купол — это только гигантское полотнище, парус, призванный удерживать тех, кто хотел покончить с собою, доведенный до отчаяния город, который ничем иным уже нельзя было спасти?»

---

---

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1999 году

*«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Павел БАСИНСКИЙ. **Гражданин мира.** Повесть.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Купол.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Владимир КРАКОВСКИЙ. **Стрельба холостыми из самопала и револьвера.** Повесть.

Михаил ЛЕВИТИН. **Чешский студент.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Григория КАНОВИЧА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Валерия ПИСИГИНА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.

---